ДНЕВНИКИ СОФЬИ АНДРЕЕВНЫ ТОЛСТОЙ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1891—1897

ЗАПИСИ ПРОШЛОГО

ВОСПОМИНАНИЯ И ПИСЬМА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

С. БАХРУШИНА и М. ЦЯВЛОВСКОГО

ДНЕВНИКИ
СОФЬИ АНДРЕЕВНЫ
ТОЛСТОЙ

1891 — 1897

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Редакция С. Л. ТОЛСТОГО
Примечания С. Л. ТОЛСТОГО и Г. А. ВОЛКОВА
Предисловие М. А. ЦЯВЛОВСКОГО

ИЗДАНИЕ М. и С. САБАШНИКОВЫХ
1929

1343791

Обложка гравирована
на дереве А. Кравченко

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Уральского Госуниверситета
г.Екатеринбург

Главлит № А 24749. Заказ № 991. Тираж 7.000—16 п. л.
Центральная Типография Наркомвоенмора, Ленинград, пл. Урицкого, 10.

Пр. 2010

Настоящая часть дневников Софьи Андреевны Толстой представляет собой записи только за два года: 1891 и 1897. На первый из этих годов приходится семьдесят денных записей и особо выделенный эпизод: „Моя поездка в Петербург", на второй, 1897 год,—сто четыре записи. В годы же 1892—1896 дневник, в сущности, не велся: за 1892 год сделана одна запись, за 1893 г.—две (и отдельный эпизод из воспоминаний „Мой роман с Львом Николаевичем"), за 1894 г.—три, за 1895 г.—двадцать одна и за 1896 г. ни одной записи.

Таким образом, говорить о „дневнике" за те семь лет и десять месяцев (с 25 января 1891 г. по 19 ноября 1897 г.), в которые входят публикуемые записи, конечно, не приходится. Более или менее непрерывной цепи их за указанный период мы не имеем.

Не случайно перерыв записей в два с лишним года (с 23 февраля 1895 г. до 1 июня 1897 г.) падает на самый тяжелый период в жизни Софьи Андреевны, время неизбывного, сверхмерного горя после смерти младшего сына Ванечки. Страдания ее воистину так невыразимы, что не до писания дневника было. Всё же остается в силе утверждение наше, высказанное в предисловии к первой части дневников, что к писанию их С. А. Толстая обращалась в периоды особенно неспокойные, как к средству излить накопившиеся чувства, безрадостные и недобрые, к средству самооправдаться, а порой и покаяться. Отсюда тяжелое впечатление, какое выносишь от чтения этих записей. Главная тема их — Лев Николаевич, или, вернее, непрекращающиеся обвинения по его адресу. По дневнику Софьи Андреевны выходит, что история отношений ее к мужу,—это история ссор, больших и малых. Многое объясняется нервным расстройством Софьи Андреевны, ее истерией, признаки которой и не специалист увидит в дневнике. Но это только обостряло, гипертрофировало (порой до чудовищных размеров) ее реакцию на окружающее и в первую очередь на действия и слова Льва Николаевича, по существу же корни „ссор" и „историй" лежат глубже.

Человек крепких буржуазных взглядов и привычек, Софья Андреевна с ее идеалами „семейного счастья", светских приличий, умеренного христианства и политической благонадежности органически была чужда взглядам своего мужа. Получив в 1884 г. полную формальную доверенность на ведение всякого рода имущественных дел и отдавшись, с присущей ей страстностью, этой деятельности, по ее глубочайшему убеждению, совершенно необходимой для благополучия, как она его понимала, семьи, Софья Андреевна и слышать не хотела о том, чему учил ее муж. В 1890-е годы расхождение между ними вполне определилось, и непродолжительные периоды духовной близости со Львом Николаевичем,—участие ее в сборе пожертвований в пользу голодающих и общее горе, смерть Ванички—лишь перемирия двух людей, глубоко различных по своему миропониманию.

Эти перипетии взаимоотношений нашли довольно полное отражение и в дневнике Толстого 1890-х годов. Вот одна из записей:

„4 февраля 1897 г.

С[оня] без меня читала этот дневник и ее очень огорчило то, что из него могут *потом* заключить о том, что она была нехорошей женой. Я старался успокоить ее; вся жизнь наша и мое последнее отношение к ней покажет, какой она была женой. Если она опять заглянет в этот дневник, пускай сделает с ним, что хочет, а я не могу писать, имея в виду ее или последующих читателей, и писать ей как будто свидетельство. Одно знаю, что нынче ночью ясно представил себе, что она умрет раньше меня и ужасно стало страшно за себя. Третьего дня я писал ей, что мы особенно—вновь и понемногу (что всегда бывает особенно твердо) начали сближаться лет 5 или 4 тому назад, и хорошо было бы, чтобы это сближение всё увеличивалось до смерти одного из нас,—моей, которая, я чувствую, очень близка. Ну довольно об этом."

Цифры в прямых скобках (в сорока семи местах) означают число выпущенных слов.

М. Цявловский.

27 декабря 1928 г.

ДНЕВНИК

1891 — 1897

25 января 1891.

Утром рано встала, насморок и нездоровилось. Поехала в Тулу,[1] было ясно, тепло. У мостика встретила Левочку, уже возвращающегося с прогулки, веселого и такого ясного, и мне всегда везде приятно его увидать, особенно неожиданно. — В Туле дела разные: деньги получила за дрова, с священником Овсянникова [2] пришла, уступая все, почти к соглашению, насчет раздела. Была у Раевской[3], Свербеевых[4] и Зиновьевой[5], где встретила Арсеньева[6]—губернского предводителя дворянства. Второй год я стала замечать, что ко мне стали относиться как к старой женщине. Это непривычно, но мало меня огорчает. Как сильна эта привычка, что ты чувствуешь, как в твоей власти то, что отнесутся все к тебе с некоторой симпатией, если не сказать— любованием. Теперь же больше хочется уважения и ласковости от людей.

Поправляя „Крейцерову сонату“[7] (корректуру), вечером мне пришло в голову, что женщина в молодости любит прямо сердцем и отдается охотно любимому человеку, потому что видит, какое это для него наслажденье. Женщина в зрелых летах вдруг поймет, оглянувшись назад, что мужчина любил ее всегда только тогда, когда она ему была нужна, и вдруг из ласкового тона переходил в строго-суровый или брюзгливый, немедленно после удовлетворения.

И тут уже, когда женщина, закрывавшая долго на все это глаза, сама начинает испытывать эту потребность, та сердечная, сентиментальная любовь проходит, и она делается такою же, т.-е. в известные периоды относится страстно к мужу и требует от него удовлетворения. Горе ей, если он разлюбил ее к тому времени; и горе ему, если он не в состоянии уже удовлетворить ее требованиям. — Вот отчего все семейные драмы

и разводы столь неожиданные в старости и столь некрасивые. Там только останется счастье, где дух и воля поборят тело и страсти. — И неверна „Крейцерова соната“ во всем, что касается женщины в ее молодых годах. У молодой женщины нет этой половой страсти, особенно у женщины, рожающей и кормящей. Ведь она женщина-то только в два года раз! Страсть просыпается к 30 годам.

Вернулась я из Тулы часов в шесть и обедала одна. Левочка выходил меня встречать, но не встретил, что мне было очень жаль. Он стал ласковее последнее время, но хотя и опять и опять хочется поддаваться прежнему обману, но я не могу уже не подумать, что это все от того же, — оттого, что он стал здоровее и проснулась прежняя, привычная страстность.

Весь вечер усиленно работала над корректурой „Крейцеровой сонаты“, „Послесловия“,[7] и занималась счетами. Записывала все в Москву: семена, покупки, дела.

26 января.

Встала в 10 часов. Ваничка[8] взошел, его одели, повели гулять. — Просмотрела вчерашнюю корректуру еще раз, кончила ее; еще просмотрела каталог семян и кое-что записала. Учила Андрюшу[9] и Мишу[10] музыке. Андрюша страшно упрям и неприятен во время урока; и теперь тон такой взял, трудно отвыкнуть. — Приехали дети Свербеевы[4] с англичанкой, два Раевских[11] и Бергер Сережа[12]. Играли в разные игры, ходили кататься с горы. Я проведала Ивана Александровича[13], он жалок своей слабостью при страдании, как дети. — Пошла к Левочке прочесть вместе письмо старика Ге[14], и стала ему говорить, что из его последователей люблю сына Ге[15], Николая Николаевича и кн. Хилкова[16]. Но прибавила, что это люди еще воспитанные университетом и старыми традициями, и в этом их и сила, и прелесть, и вся подкладка, а вот увидим, как их дети вырастут, и что с н и м и будет. Левочка немедленно принял брюзгливый и раздражительный тон, разговор перешел в неприятный, я ему тихо это заметила, но ушла с дурным чувством на него. — Если б кто знал, как мало в нем нежной, истинной доброты и как много деланной п о п р и н ц и п у, а н е п о с е р д ц у.

Все разошлись спать, иду и я. Спаси, бог, эту ночь от тех грешных снов, которые сегодня утром разбудили меня.

4 февраля 1891.

Много пережила я все это время. 27-го в ночь поехала я в Москву по делам. Похождения мои там мало интересны. Обедала первый день у Мамоновых [17], вечер была с Урусовым [18], Таней [19] и Левой [20] в концерте. Играли Крейцерову сонату (Гржимали [21] и Познанская [22]), и весь концерт был на фортепиано Познанской. Крайне было утомительно, жарко, за игрой я следить не могла, хотя и чувствовала, что играли хорошо. На другой день утром выкупила Гриневку [23] за 7.600 рублей в Московском банке, подала заявление заложить в Дворянский банк. Обедала у Фета [24] и много лишнего болтала, главное, глупо и дурно жаловалась на недостаточную любовь Левочки ко мне. Вечером дома застала Дунаева [25], и вместе сводили счеты с артельщиком.—Дядя Костя [25] сказал раз про Дунаева: „Этот, [1] который по тебе вздыхает“ [26], и мне это испортило раз навсегда Дунаева, хотя он такой простодушный и добрый человек. — Утром во вторник приезжал Кузминский [27] с Машей [28]; они из Ясной, и я рада была узнать о доме. Мы часа три сидели, весело болтали, завтракали, смеялись. Были тут еще Таня, Лева, Вера Петровна [29] с Лили Оболенской [30] и я. Потом пришел и Урусов, и мы отправились к Шидловским [31]. В среду была у Северцовых [32], там дядя Костя, Мещериновы [33], и разговор о браке и любви. Потом в четверг была у Дьякова [34], где Лиза [35], Варя [36], Маша Колокольцева [37]—и мне было очень там хорошо, просто дружественно, как дома. — Дела я окончила успешно, но ни люди, ни дела меня волновали, а Лева [38], весь, какой он есть, с своей сложной умственной жизнью, с своими попытками писательства и все нерадостным отношением к жизни. Он прочел мне свой рассказ „Монтекристо“, очень трогательный и сильно действующий на чувство— рассказ полу-детский. Другой он послал в „Неделю“ [39], где Гайдебуров [40] обещает его напечатать в мартовской книге. Это секрет, о котором он просил никому не говорить. Мне стала вдруг так радостна мысль, что то, чем я привыкла жить всю свою жизнь — эта художественная и умственная атмосфера, окружавшая меня — не уничтожится, если я переживу Левочку, а я буду в сыне продолжать интересоваться и следить за тем, что наполняло так интересно и хорошо мое существование.

Я в нем буду продолжать любить и его, и из-за него, и свою жизнь, и его отца. Но что-то еще бог даст!

Другое взволновавшее меня обстоятельство то, что когда я вернулась домой и застала Мишу Стаховича[41], я впервые выслушала от него довольно неожиданную исповедь о том, как он всегда восхищался Таней: j'ai longtemps taché de meriter Татьяна Львовна, mais elle ne m'a jamais donné aucun espoir* — Мы всегда думали, что он метит на Машу[42], и когда я рассказала Тане это обстоятельство, я видела, что ее это сильно взволновало. Я счастлива бы была, если-б она вышла за Мишу Стаховича. Я его очень люблю, он мне нравится так, как ни один из молодых людей, которых я знаю, и кому же могу я желать моего любимца, как не любимой дочери?

Мы все были очень веселы эти дни: приезжали еще Керн с женой[43], мальчики Раевские, Дунаев с Алмазовым[44]; но все веселье вносил один Стахович. Дети катались эти два праздника, 2-е и воскресенье, на скамейках по всей деревне, я ходила проведать слепую Евланью[45], мать Митрохи, который у Левы, и все ей про него рассказывала; мне радостно было ей сделать этим удовольствие.

Сегодня учила детей; Андрюша в мое отсутствие не делал ничего и уроков не знал. Я вышла из себя и прогнала его. Боже! как он меня мучает и огорчает! Левочка не очень свеж, но ездил сегодня верхом в Ясенки[46], а после обеда разыгрывал Шопена, и ничья игра меня не трогает больше игры Левочки; удивительно много чувства у него, и именно всегда то выражение, которое должно быть. Он говорил Тане, что задумывает художественное и большое сочинение. То же он подтвердил и Стаховичу. Маша вдруг решительно собралась в Пирогово[47], но холодно, и я не пускаю, потому что она охрипла, а 15 градусов мороза. Не огорчило ли ее известие о том, что Стахович любит Таню больше ее; ей так давно все внушают обратное.

Таня была в Туле с miss Lydia[48] и переснималась; для Стаховича она поспешила, так как он просил ее карточку. Она взволнована, это верно. Но опять и тут... что бог даст!

* [Я долго старался заслужить Татьяну Львовну, но она никогда не подавала мне надежды].

6 февраля.

Встала в 10-м часу, видела во сне Петю[49] своего покойного маленького, что Маша его откуда-то привезла разбитого и растерзанного, он уже большой, как Миша, и похож на него. Мы друг другу обрадовались, и весь день я его вижу в той полутьме, в которой он лежал больной. Весь день кроила, шила и ладила панталоны Андрюше и Мише и кончила к вечеру обе пары. Вечером читал Левочка „Дон-Карлоса" Шиллера[50], я вязала. Теперь 11-й час, он уехал на Козловку[51] верхом за письмами. Девочки ушли спать, они обе взволнованы и даже несчастливы со времени известия о чувствах М. Стаховича. Читаю Physiologie de l'amour moderne[52] и еще не пойму в чем дело, только начала, но мне не нравится.

Левочка любуется на Ваничку и возится с ним. Нынче вечером он его и Сашу[53] поочередно клал в пустую корзинку, закрывал крышу и таскал по комнатам, с Андрюшей и Мишей. Он забавляется детьми всеми, но совсем не занимается ими.

7 февраля.

Таня больна, у ней жар 39 и 3, ломят ноги, болит спина и живот. — Много было уроков с Андрюшей и Мишей. У Миши все голова болит, и это меня тревожит. От Левы что-то нет известий, это очень грустно не болен ли он. Письмо от Манички Стахович,[54] а ждала от Миши. Второй вечер хотелось проехаться на Козловку с Левочкой, а он все ездит верхом, точно нарочно. Он опять суров, ненатурален и неприятен. Вчера вечером я так сердилась молча на него. До двух часов ночи он все не давал мне спать. Сначала был внизу и мылся долго, я уж думала, что он заболел. Мытье для него—событие. Он мне рассказывал, что у него до того закорузли ноги, что под корками болеть стало. И меня всю коробило от отвращения [22]. Затем он лег и долго читал. Я для него мешающая вещь, когда я не нужна для его же удовлетворения.—Мне страшно тяжелы эти дни моего отвращения к физической стороне жизни моего мужа,—но я не могу, не могу привыкнуть—я никогда не привыкну к грязи, запаху [12]. Я стараюсь всеми силами видеть только его духовную сторону и достигаю, когда он бывает добр.

9 февраля.

Вчера вечером, наконец, исполнилась моя мечта—прокатиться в санках, при лунном свете, на Козловку. Мы ездили с Левочкой вдвоем на Козловку. Но писем не было, и от Левы известий нет. Тане как-будто лучше, хотя все еще был жар 38 и 6. Заболел и мой миленький Ваничка: тоже жар. Погода—ветер и 1 градус мороза. Сегодня я ленива и грустна. Сшила Ване матросский костюм, два часа учила музыке, читала брошюру Бекетова [55] „О настоящем и будущем питании человека". Он предсказывает всемирное вегетарианство, и он, пожалуй, прав. Ваничка кашляет и мне больно его слушать.

10 февраля, воскресенье.

Таня с утра стонала до обеда от страшной головной боли, потом опять был жар 38 и 5. Ваничка с утра горит, утром было 39 и 3. Странная, неопределенная болезнь! Не могу сказать, чтоб я очень тревожилась, но жалко своих больных. Самой тоже не совсем здоровится, всю ночь не спала, и такая теперь всегда тоска каждый месяц перед известными обстоятельствами. Переписывала дневники севастопольские Левочки [56], очень интересно, вязала и с больными сидела.—Андрюшу спросила урок, который он не знал на неделе. У Маши в том доме школа [57] из разного сброда, и все дети туда бегают. Саша, по случаю болезни Тани, тоже ходит туда учиться. У Миши новые часы, и он страшно доволен, как только дети умеют быть. Левочку видела мало. Он пишет опять о науке и искусстве. Он показал мне сегодня статью в Open Court [58], где поминают о нем, что он говорит одно, а живет по-другому, ссылаясь на то, что состояние взяла жена: „Знаем мы, как относятся люди вообще, а русские в особенности, к женам", — пишут там.—„Жены воли не имеют". Левочке было неприятно, а мне все равно; я обстреляна.

11 февраля.

Заболел еще Андрюша; Ваничке днем было лучше, теперь, ночью, опять жар. Приехала Анненкова [59]. Тане гораздо лучше. Письмо короткое от Левы. Много переписала сегодня интересного из Севастопольской войны в дневнике Левочки.

Работала, учила детей.

12 февраля.

Весь день все дети нездоровы: у кого что: у Маши [2] боли в животе; у Тани желудочные боли, у Миши зубы, у Ванички сыпь, у Андрюши жар, рвота, — одна Саша весела и здорова. Переписывала дневник Левочки; он взял вечером свой дневник и начал читать. Несколько раз он говорил мне, что ему неприятно, что я их переписываю, а я себе думала: „Ну терпи, что неприятно, если жил так безобразно". Сегодня же он поднял целую историю, начал говорить, что я ему делаю больно и не чувствую это, что он хотел даже уничтожить эти дневники, упрекал мне, спрашивал, приятно ли бы мне было если-б мне напоминали то, что меня мучает, как дурной поступок, и многое другое. Я ему на это сказала, что если ему больно, мне не жаль его, что если он хочет жечь дневники, пусть жжет, я не дорожу своими трудами; а если считаться, кто кому что больно делает, то он своей последней повестью перед лицом всего мира т а к больно мне сделал, что счесться нам трудно. Его орудия сильнее и вернее. Ему бы хотелось перед лицом всего мира остаться на том пьедестале, который он себе воздвиг страшными усилиями, а дневники его прежние свергают его в ту грязь, в которой он жил, и ему досадно.

Не знаю, как и почему связали „Крейцерову сонату" с нашей замужней жизнью, но это факт, и всякий, начиная с государя [60] и кончая братом [61] Льва Николаевича и его приятелем лучшим — Дьяковым, все пожалели меня. Да что искать в других — я сама в сердце своем почувствовала, что эта повесть направлена в меня, что она сразу нанесла мне рану, унизила меня в глазах всего мира и разрушила последнюю любовь между нами. И все это, не быв виноватой перед мужем ни в одном движении, ни в одном взгляде на кого бы то ни было во всю мою замужнюю жизнь! Была ли в сердце моем возможность любить другого, была ли борьба — это вопрос другой — это дело только м о е, это моя святая святых, — и до нее коснуться не имеет права никто в мире, если я осталась чиста.

Не знаю почему именно сегодня в первый раз я высказала Льву Николаевичу свои чувства относительно „Крейцеровой сонаты". Она так давно написана [62]. Но, рано или поздно, он должен был их знать, а сказала я по поводу упреков, „что

я ему больно делаю". Вот я ему и показала свою боль.

Рожденье Маши[42]. Как было тяжелое, так и нынче, через 20 лет, тяжелое.

13 февраля.

Вчерашний разговор, перевернувший мне душу, заключился спокойным договором доживать вместе жизнь как можно дружнее и спокойнее.

Дети все еще нездоровы: у Андрюши весь день жар, Таня и Маша слабы и головы болят, у Миши невралгия. Сидела весь день с детьми и Анненковой и работала. Скроила Андрюше халат, чинила чулки, сшила наволоку. Вечером Левочка читал нам „Дон-Карлоса" Шиллера и кончил; получили письма: я—от Левы, Левочка—от гр. Александры Андреевны Толстой[63], оба хорошие. Таня что-то странна и истерична.—Моя обыденная жизнь, заботы, дети, болезни — опять как бы парализировали всю мою духовную сторону, и я мучительно сплю душой.

15 февраля.

Левочка почти запрётил мне переписывать свои дневники— и мне досадно, я так много уже переписала и так мало осталось той тетради, из которой я переписывала теперь. Тихонько от него продолжаю писать — и кончу непременно; слишком я давно и твердо решила, что это нужно.[64]— Дети все здоровы. От Левы телеграмма, что завтра он не едет в Гриневку, есть дело в Москве. От Миши Стаховича письмо о дуэли Ломоносова и Вадбольского[65] и его рассуждения по поводу этому — совершенно верны, что это убийство как и всякое другое. Еще он меня вызывает в Петербург для переговоров с государем о цензурном отношении к Левочке, и возлагает на мой приезд и мой разговор с государем огромные надежды. Если-б я могла быть спокойна о доме и детях, если б я любила „Крейцерову сонату", если-б я верила в будущую художественную работу Левочки — я бы поехала. А теперь — где взять энергию, где взять тот подъем духа, которым можно умно, с властью и убеждением повлиять своей личностью на довольно устойчивого в своих убеждениях государя? Не чувствую я больше этой личной власти на людей, которую еще недавно так сильно я чувствовала.

Ездили на Козловку за письмами: Левочка верхом, Таня, Маша, Иван Александрович и я в санях.

Чудная лунная ночь, снег блестит гладкий, ровный, дорога чудесная, мороз и тишина. У нас 12 градусов мороза, в поле всегда больше. Ехала домой и с ужасом думала о городской жизни. Как опять жить без этой красоты природы, без простора и досуга, которыми так балуешься в деревне?

16 февраля.

Однако письмо Стаховича меня смутило, так как все видела во сне царя и императрицу и все думаю о поездке в Петербург. Тщеславие играет самую главную роль, и я не попадусь на это, и не поеду. — Левочка хотел ехать с Машей в Пирогово и остался. Я знаю, почему он остался, я чувствую это по всему его тону со мной.

Весь день усиленно кроила и шила на машине белье. Читаю все Physiologie de l'amour moderne и меня заинтересовал этот анализ чувственной любви. — Учила детей — музыке; двигаемся тихими шагами, но двигаемся; Андрюша играет сонату Бетховена, Миша—Гайдена. У Миши несравненно больше способности.— Маша, Андрюша и Алексей Митрофанович [66] учили девок и наших горничных вечером, в том доме; Маша бледна, жалка, худа, но есть в ней что-то трогательное. — Таня расстроена, неспокойна и чего-то ждет.

17 февраля.

От Левы письмо: он заболел, у него в Москве сделалось, видно, то же, что было у детей здесь, в Ясной. А, может быть, и другое что. Во всяком случае не могу уже быть спокойна, хоть пишет он сам, и по тону правдиво и не опасно. Илья [67] тоже в Москве, продавал клевер. Написала письма Леве, Тане-сестре [68], и М. Стаховичу. Все плохие письма.—Приехал Николай Николаевич Ге, с женой, привез свою новую картину: Иуда Предатель [69] смотрит на удаляющуюся группу. Лунный свет хорош, мысль и сюжет хороши, но исполнение бедно и не удовлетворяет совсем, точно одно полотно, а не картина. При сильном освещении лучше.—Весь день провела с Анной Петровной Ге и утомилась без своих обычных занятий.—Левочка ездил верхом в Тулу, вернулся очень скоро, не застав дома Давыдовых [70], и

пригласив через человека, посмотреть картину. Левочка бодр, но на него нашла тревога. То в Пирогово, то в Тулу; то суп мясной перестал опять есть, то кофе надо пить овсяный—видно наскучило быть здоровым. А мне эта суетливость страшна и неприятна. Все говорит, что не пишется.—У Маши был опять вечерний класс и она учила одна и утомилась.

18 февраля.

От Левы известия плохие. Телеграмма, что доктор сказал, что у него обычное его лихорадочное нездоровье, как было 2 года назад, письмо от него, что лучше, а по словам приехавшего из Москвы Ильи—у Левы то же нездоровье, которое было у всех в Ясной. Дай бог, чтоб не затянулось. Таня едет к нему завтра, а я еду в Тулу по делу раздела с Овсянниковским попом. Страшно неприятно и надоело.

Читали вслух с Ге и Буткевичем [71] рассказ „Часы" какого-то мало известного писателя. С Ильей неприятные хозяйственные и имущественные разговоры. Маша вянет и беспокоит меня, и очень ее жаль. Дни проходят бесцветно и беспокойно. Учила сегодня закон божий, идет плохо, вышивала полосы одеяла и сидела с Анной Петровной.

Ветер страшный, жутко слушать.

19 февраля.

Была в Туле; кроме лавок, нотариуса, попа, улицы и Губернского правления—никого и ничего не видала. Шли с попом разговоры о разделе, но ничем не кончили. Иван Александрович ездил со мной.—Таня уехала в Москву походить за больным Левой, я рада за него; но я что-то мало беспокоюсь, мне кажется, что ему сегодня будет лучше. Я так его люблю, что о плохом не могу думать.

Вышивала, ела, тупо разговаривала, вообще глупа. Был Раевский [72], смотрел картину Ге.—На улице, на минутку видела Давыдова и было очень приятно его видеть; он один из тех, которые мне особенно симпатичны; да он и действительно особенный, из немногих.

20 февраля.

Сейчас проводили стариков Ге на Козловку. Получила два письма: от Тани и от Левы карандашом, ему лучше, утром 37

вечером 38 и 6 градусов. Была и телеграмма. Меня встревожило то, что с Мишей во время ученья делается иногда вроде истерики: и смех, и слезы, но скоро проходит. И правда, не слишком ли их много учим? Андрюша тоже вял. — Ездили на Козловку: Левочка, Маша и я; тепло и ветер. — Вечером между нами четырьмя: Левочкой, двумя Ге и мной были больные разговоры о наших супружеских отношениях и о болях, которые испытывают мужья, когда их не понимают жены. Левочка говорил: „тут, как ребенок, с страданиями рождается в тебе новая мысль, целая душевная перемена, а тебе же упрекают твою боль, и знать не хотят ее". А я говорила, что пока рождаются все эти вымышленные ими самими духовные дети, у нас рождаются с реальной болью живые дети, которых надо и кормить, и воспитывать, и имущества охранять, когда же еще и как ломать свою сложную жизнь для тех душевных перемен мужей, за которыми поспеть невозможно, и о которых можно только жалеть.—Впрочем, мы многое говорили, чтоб упрекать друг друга, а в душе всякий желал одного, по крайней мере я это теперь всегда желаю,— чтоб не бить по старым больным местам, и жить как можно дружнее. А что люди, не только любимые мужья, говорят и делают хорошо и с добром, то всегда встретят сочувствие, и не может быть иначе, хотя медленно, со временем,—если это действительно добро.

23 февраля.

У нас Горбунов [73] и приехала Анненкова. Больна Саша, жар и кашель; я особенно старательно ухаживаю за ней и мне за нее страшно.—Анненкова говорила, что видела в Москве Леву и Таню; Лева выздоровел, но боится еще выехать.—Получили письмо от Полонского [74] и стихотворение: „Вечерний звон". — Левочка шил вечером сапоги и жаловался, что его знобит. На дворе просто буря, такой страшный ветер. Весь день ухаживала за Сашей, возилась с Ваничкой, дала 2 часа урока музыки Андрюше и Мише и вышивала одеяло. Грешные мысли меня мучают. И странно, точно они не касаются меня, моей жизни и даже души, а что-то постороннее, рядом со мной, не могущее,—как и во всю мою жизнь—ни коснуться меня, ни испортить меня.

Очень порадовал меня сегодня Миша, играл хорошо; стали разбирать „Серенаду“ из „Дон Жуана“ в четыре руки, и он вдруг просиял от звуков этой мелодии.

Но у них с Андрюшей завелись секреты, и меня это страшно беспокоит. Не развратил бы их Borel [75], кто его знает!— Чистота,—святая чистота, всегда была мне дороже всего в мире.

25 февраля.

Все уехали на Козловку провожать Анненкову, т.-е. Левочка, Маша, Петя Раевский и Горбунов. Маша повеселела с Петей: ее радует, что он к ней неравнодушен, и молодая жизнь заиграла, чему я очень рада.

Вчера было письмо от Левы, довольно мрачное о его нездоровье и от Тани—более утешительное. Они боятся еще ехать.— Вчера ночью, часа в 4, меня разбудил лающий кашель Ванички. Мы с Машей вскочили, дали ему горячей сельтерской воды выпить и вскипятили воду с скипидаром, налили в полоскательницу, накрылись с ним простынкой и дали ему дышать этими парами. Удушие скоро прекратилось, но сделался жар, 40 градусов и кашель. Я думала: пойдет надолго, но ровно через сутки, т.-е. уже к сегодняшнему дню, все прошло и он уже пел в зале: „Гуселъки“. Саше тоже гораздо лучше, и она встала.

Учила детей закону божию и долго толковала Мише понятие о боге. Его уже спутали отрицаниями разными, особенно церкви, но я старалась объяснить ему истинное значение церкви, как я понимаю, как собрание верующих, как хранилище святыни, веры и созерцания бога, а не как обрядность. У меня болит м., и я очень мучаюсь [39]. Левочка спокоен, здоров и весел. У нас простые, дружеские отношения, но не глубокие, а поверхностные. Все-таки лучше, чем были в начале зимы.— Все ветер гудит. На деревне умерла девочка у Ольги Ершовой [76], лет 7-ми, очень миленькая и слишком любимая матерью. Мне ее страшно жаль. Левочка и Анненкова ходили туда, а я не могла от больной м.

28 февраля.

Эти дни прошли незаметно. Ваничка хворал, работала, учила, читала и болела женской болезнью. Сегодня лучше; Ваничка все сильно кашляет.—Вчера вечером приехали Таня, Лева и

Соня Мамонова[77]. — Лева похудел, но не имеет больного вида. Он мнителен, и действительно у него слабый организм.—Таня очень оживлена и как будто похорошела. — Приехали все три брата Раевские[78], с Козловки. Все дети ездили встречать. Дорога портится, стоят ясные дни с южным ветром и около 2 градусов тепла.—Левочка ездил в Тулу, отвозил Ивана Ивановича Горбунова на железную дорогу, был у Раевских. Он в оживленном расположении духа, но что-то есть весеннее, эгоистическое и материальное в его жизнерадостности. Давно не было у него такого здорового и бодрого вида. Не знаю над чем он работает; он не любит говорить. — Из Москвы известие, что арестован весь XIII том[79]. Не знаю, чем это кончится, и ничего не решила.

Вечером Левочка читал рассказ Нефедова[80] „Евлампиева дочь", вслух. Плохо и не весело. Иду спать. Что-то грустно и вяло.

2 марта.

Вчера провели день праздно и празднично. Все дети ходили с Раевскими в Ровские казармы[81] пить чай. Брали все с собой. После обеда играли в игры, и Ваничка был удивительно мил и серьезно вникал и исполнял все игры. Между этими большими, крупными людьми—особенно Раевскими—эта маленькая беленькая и умная крошка очень трогательна. Сегодня приехали Сережа[82], Илья и Цуриков[83], сослуживец Сережи и их сосед. Илья всякий раз просит на что-нибудь денег и это очень неприятно. У него легкомысленное отношение к деньгам, а жизнь устроил слишком широко. Левочка грустен; я спросила почему, он говорит: не идет писание.—А о чем?—О непротивлении[84].

Еще бы шло! Этот вопрос всем, и ему самому, оскомину набил, и перевернут, и обсужен он уже со всех сторон. Ему хочется художественной работы и приступить трудно. Там резонерство уже не годится. Как попрет из него поток правдивого, художественного творчества—он его уже не остановит, а там вдруг непротивление окажется неудобным, а остановить поток невозможно,—вот и страшно его пустить, а душа тоскует.

Лева огорчился сегодня, что и Сережа и я ему сказали, что он плох.—Я хотела его приласкать, потому что мне его жаль, а вышло, что обидела.

Кончила сегодня читать Бурже „Физиологию современной любви", по-французски, конечно. Очень умно, но надоело, все вокруг одного вертится и быт мне чуждый.

3 марта.

Последний день масляницы. Андрюша ездил на Козловку верхом, Миша с Машей еще в санках, к больным в Ясенки и в Телятинки [85], где лежит уже несколько месяцев мужик с страшной раной. Это хорошо, что Маша им занялась и утешает его; это доброе, настоящее дело. Лева немножко веселей, но его больной вид мучает меня. Соня Мамонова пела, Сережа и Лева играли; потом болтовня с Цуриковым, и я всегда раскаиваюсь что много говорю. Шила весь день, благо другого при этой суете ничего делать нельзя. Радовалась на собравшихся всех 9 детей [86] вокруг стола за обедом.

6 марта.

Сережа уехал в Никольское, Маша ездила в Тулу с больной бабой и с девочкой Сашкой [87] для компании. Наладилась будничная жизнь. Но мне очень приятно было в субботу и воскресенье за столом видеть всех вместе моих 9-х детей при нас двух стариках.—Я все сижу дома и работаю разную работу. После обеда, для движенья, присоединилась к Левочке играть с самыми маленькими: Сашей, Ваней и Кузькой. Левочка каждое после обеда ходит с ними по всему дому, сажает в корзину пустую и носит по дому закрытую, потом останавливается где-нибудь и велит тому, кто в корзине, угадывать в какой они комнате.— Лева очень худ, кожа к костям пристала, и у меня на него сердце болит; но он повеселел, надо ему летом строго кумыс пить.

Читали вслух повесть русскую „На закате" [88]; одна я читала Спинозу [89]. Его интерес к истории еврейского народа меня не захватывает, увидим, что будет в части, где Ethique. Я люблю все отвлеченное, и просто общие мысли, а не разборы какой-нибудь отрасли.

Говорили за чаем о еде, о роскоши, о вегетарианстве, которое все проповедует Левочка. Он рассказывал, что в расписании кушаний вегетарианских в немецкой газете назначено на обед: хлеб и миндаль. Наверное, проповедующий это исполняет этот régime так же как Левочка, проповедующий в „Крейцеровой сонате" целомудрие, а поступающий [37].

8 марта.

Получили мартовскую книгу „Недели“ [90] с Левиной повестью. В первый раз напечатали что-нибудь его, под именем Л. Львова. Я еще не перечла рассказа вторично, потому что книга получена сегодня, а я была в Туле. Меня очень волнует писательство Левы, особенно в его будущем. Есть ли это явление случайное от впечатлительности и новости явлений жизни, которую он не знал, или это есть начало его литературной деятельности? Хорошо бы еслиб это стало делом его жизни, тогда он полюбил бы и самую жизнь.—Здоровье его и вид стали лучше, но все он очень худ.

В Туле опять дела: по залогу Гриневки, деньги с завода за дрова, нянины деньги в Государственном банке, покупки, и, наконец, Зиновьевы и Давыдовы. Вся поездка всегда тяжела. Езда в гости должна быть очень коротка, т.-е. надо ездить на часок; а то, очевидно, всякое посещение посторонних нарушает семейную и внутреннюю жизнь и бывает в тягость, и все это чувствуют.

10 марта. Воскресенье.

Нынче Левочка сидит, завтракает, принесли с Козловки газеты и письма, я говорю: „а мне все нет известий о XIII томе“.—Левочка мне на это говорит: „да ты что хлопочешь, ведь я принужден буду напечатать, что я отказываюсь от всех прав на эти сочинения XIII тома“. Я ему на это сказала: „только погоди, когда он выйдет“.—Он сказал: „разумеется“. Потом он ушел, а я стала злиться, что опять он хочет отнять у меня возможность получить немного лишних денег, которые так нужны всем моим детям. И придумала злобное сказать Левочке; когда он шел гулять, я ему и сказала: „Ты напечатаешь, что отказываешься от прав, а я тут же напечатаю, что я надеюсь, что публика настолько деликатна, что не воспользуется правами, принадлежащими детям твоим“.—Он стал доказывать мою неделикатность, но мягко; я молчала. Потом он сказал, что если я люблю его, то сама напечатаю это отречение от прав на его новые произведения.—Он ушел, а мне стало его жаль, и так ничтожны показались мне имущественные интересы сравнительно с той болью, которую я испытываю от нашей обоюдной отчужденности друг от друга.—После обеда я ему

сказала, что жалею о том, что я сказала ему неприятное, и что ничего не напечатаю, а что мне дороже всего его не огорчить. Мы оба прослезились, тут стоял Ваничка и испуганно спрашивал: что? что? Я ему сказала: „мама обидела папу и мы помирились". Он удовлетворился и издал звук: а!

Холодно, ветер. Был рисовальный учитель, просил взаймы денег, я не дала, очень уж плохой учитель.

Болит спина и грудь, и слабость ужасная. После обеда Таня, Соня Мамонова, Маша, Ваня, и немножко Миша, плясали под гармонию и фортепиано. Соня нарядилась бабой.— Алексей Митрофанович пошел с 4 ребятами, которых он учит, в Тулу.

Читала статью „По поводу Крейцеровой сонаты" М. де Вогюё [91], удивительно тонко и умно. Он говорит, между прочим, что Толстой дошел до крайности анализа (analyse creusèante), убившего всякую жизнь личную и литературную. Вечером Левочка читал вслух повесть Потапенко [92] „Генеральская дочь",— недурно.—Вязала, кроила и шила с Соней кофту Агафье Михайловне.

Левочка переправляет и опять переписывает „О непротивлении", Маша ему переписывает. Эти тяжеловесные статьи даются художнику трудно, а за свое, художественное дело не берется.

11 марта.

Приехал Вячеслав [93], уехала Соня Мамонова. Я рада Вячеславу и в нем вижу и живо вспоминаю мать [94] и ее к нему любовь.

Таня провожала Соню в Тулу и там обедала у губернатора. Левочка тоже ездил в Тулу верхом, к Давыдову и Зиновьеву, по делам разных крестьян. Я весь день провела с братом. Вечером читали вслух.

12 марта.

Приехал американец, редактор газеты Harold [95], из Нью-Йорка. Еще темный, Никифоров [96]. Разговоры, разговоры без конца. Получила известие из московской цензуры, что XIII том арестован бесповоротно. Еду в Петербург хлопотать. Это меня страшно расстраивает. Чувствую, что ничего не сделаю, что счастье и веру в свои силы—утратила. А, может быть, бог поможет. Снег, ветер, мороз, хоть на санях ездить опять.

13 марта.

Была в Туле, никого не видела, кроме деловых людей. Все раздел с священником. Вечером разговоры с американцем; ему нужны для газеты сведения о Левочке, которые я ему и дала, но очень осторожно, так как учена уже многими. Вячеслав уехал рано утром; он оторвался от нас, жаль.—Получила письмо от гр. Александры Андреевны Толстой, пишет, что государь не принимает дам, но чтобы я подождала неделю или дней десять ответа.

Еду в Москву, выпущу 12 частей [97] с объявлением о задержке XIII.—Как не хочется двигаться, как тяжело хлопотать! А кому же?

Холодно, ветер, выпал снег и опять все на санях.

20 марта.

Провела в Москве 15 и 16 число. Оба дня была с Левой. Он в восторге, что напечатают еще его рассказ „Монтекристо“ в „Роднике“ [98] апрельской книжки. Я тоже в восторге. Меня радует и интересует его попытка писательства, и его удача с издателями, так сочувственно отнесшимися к его первым трудам. В Москве узнала, что XIII часть запретили в Петербурге. В Москве была арестована только „Крейцерова соната“. Еду в Петербург, употреблю все старания, чтобы увидать государя и отвоевать XIII том.—Видела в Москве двух Олсуфьевых [99] и Всеволожского [100], и рада была им, очень хорошие ребята все трое.—Дунаев совсем странен и болен.—Привезла в Ясную Вареньку Нагорнову, это милое, светлое создание. Ей все были рады и она сегодня только уехала. Таня и Маша в новых катках сейчас уехали ее провожать до Тулы, ночевать у Зиновьевых и видеть передвижную выставку картин. Поеду и я с мальчиками в воскресенье.—Ничего не интересует и ни о чем не могу думать, пока не решится судьба XIII тома. Сочиняю речи и письма государю, думаю, соображаю и жду только письма А. А. Толстой, которая должна известить меня, примет ли меня государь и когда.—Левочка говорит, что он умственно заснул и плохо пишется. У него побаливает под ложкой, но на вид он бодр.

Ветер, тает, 5 градусов тепла, грязь и езда на колесах.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Уральского Госуниверситета
г. Екатеринбург

— 143794 —

21 марта.

Читала Спинозу; поразили меня два рассуждения: первое о власти и законах; что власть должна подчинять людей не страхом карать их за проступки, а тем, что поставив идеалы, заставила бы людей понять свою собственную пользу и стремиться к этим идеалам, в которые они бы поверили, как в свое же общее благо.—Другое рассуждение о чудесах. Что люди (le vulgaire) * неразвитые, видят руку божию только в том, что вне законов природы и вероятности, а совсем не видят бога во всей природе, во всем мироздании. И вот они ждут от бога чудес, т.-е. нечто такого, что вне природы.

Девочки вернулись из Тулы, ночевали они у Давыдовых, видели выставку прошлогоднюю, передвижную, картин, и очень озябли. Ветер страшный, совсем буря; на точке замерзания и все-таки тает. С Андрюшей нынче опять было неприятно во время урока музыки. Он не может помнить самого дела, а помнит все, что вокруг него; неприятно отдергивает руку, когда я дотронусь до его руки, отвертывается, когда я останавливаю его, и т. п. Я терплю, терплю, наконец накипит, и я или крикну на него, или ударю его по руке, и страшно расстроюсь.

Было письмо от Левы к Тане.—Левочка необыкновенно мил, весел и ласков. И все это, увы! все от одной и той же причины. Если бы те, которые с благоговением читали „Крейцерову сонату", заглянули на минуту в ту любовную жизнь, которой живет Левочка, и при одной которой он бывает весел и добр,—то как свергли бы они свое божество с того пьедестала, на который его поставили! А я люблю его такого, нормального, слабого в привычках и доброго. Не надо быть животным, но не надо быть насильно тем проповедником истин, которых не вмещаешь в себе.

22 марта.

Весь день примеряла и возилась с детскими летними платьями. После обеда мы с Левочкой поиграли в 4 руки. Вечером, он, вместо пасьянса, мотал мне суровые нитки, очень спутанные и очень этим увлекся.—Написала письмо Соне. Нездоровится и устала.

---

* [Толпа].

23 марта.

В первый раз сегодня почувствовала я весну; хотя подмораживало, но солнце садилось так ясно, птицы пели, и особенно красиво, по весеннему обрисовывались стволы молодых березок в Чепыже [101]. После обеда взяла Андрюшу и Сашу и мы чистили снег с каменной террассы.—Левочка съездил в Тулу верхом, был только у Давыдова, и вернулся в 8-м часу вечера. Он здоров и весел. Сегодня утром сидит завтракает, а я работаю в зале, он и говорит: „а я вот как глуп, что придумал „Quand est-ce-qu'on se porte bien?—Quand on a une bonne et qu'on ne lui donne pas du thé, s'est à dire qu'on a une bonne sans thé (bonne santé) *.—Это он ел шоколадный кисель, а я говорю: шоколад безвредный, не Ваниль, а Санте.—Ему и пришел в голову каламбур.

Учила детей музыке, играли в 4 руки Gavotte Bach'a **, аранжированный для детей.—Приехал Петя Раевский.—Из Петербурга все нет известий и я томлюсь неизвестностью и ожиданием.

24 марта. Воскресение.

Утром написала 3 письма: 2 в ответ на полученные от Левы и Дунаева, и одно гр. А. А. Толстой. Ожидания меня замучили и я решилась еще раз сделать запрос. Письмо Левы длинно, подробно, и хорошо тем, что он не прекращает сношений с семьей, и откровенно все о себе пишет. Потом сидела одна и читала. Прекрасная статья в „Русских Ведомостях" „Мысли Шопенгауэра [102] о писательстве". Он делит писателей на 3 разряда: „одни пишут мысли прямо взятые из других книг; другие садятся писать и тогда придумывают что им написать. Третьи прежде много думали, и когда мыслей много, тогда пишут. Эти самые редкие". Очень это умно.

Дети все ходили в Ровские казармы чай пить. Часа в 3 приехал Давыдов с дочерью [103] и маленьким Бухманом [104]. После обеда гуляли, смотрели коров, свиней, ходили на гумно, лазили на солому. Вернувшись, я играла с Давыдовым в 4 руки,

* [Непереводимый французский каламбур. Когда человек здоров? Когда у него есть няня, которой не дают чаю, тогда у него хорошее здоровье].

** [Гавот Баха].

а потом все играли в игры, и все были очень оживлены. С Левочкой дружно и просто. Он здоров, гулял, немного писал свою статью; когда то он ее кончит и сам себе развяжет руки! 2 градуса тепла, к вечеру подморозило. Снегу еще везде много, особенно в лесу.

27-марта.

Ездила 25-го с Андрюшей и Мишей в Тулу. Ходили на передвижную выставку картин; мне всегда доставляют картины большое наслажденье, но мало было хороших: прекрасные пейзажи Волкова [105] и Шишкина [106].—После выставки зашли в кондитерскую, в магазин учебных пособий и поехали к Раевским. Иван Иванович и Елена Павловна ехали обедать к Свербеевой, Софье Дмитриевне [107], и я поехала с ними; мальчики, 6 человек, [108] обедали одни. Потом у Свербеевых оказался лишний билет в концерт, я и поехала с одной из милых девочек, Любой, [4] и Раевский, забрав всех мальчиков, поехал тоже. Концерт и чтение были, как всегда в провинции, очень посредственные, но я не скучала, только устала, а дети были очень довольны.

Из концерта вернулась к Давыдовым ночевать, дети же ночевали у Раевских. На другое утро они уехали домой, я же, встав рано, отправилась по делам. Иду по Киевской, вдруг Илюша стоит. Я очень удивилась, попросила его поехать посмотреть со мной коляски продажные. Это было долго и скучно. Потом я пошла к старшему нотариусу за залоговым свидетельством, и потом уехала с Ильей домой. Он приезжал собрать сведения о продающемся конкурсом именьи, просил у меня 35 тысяч денег, я отказала, вышло неприятно, но обошлось. После обеда я сошла в комнату Тани, хотела с детьми посидеть; Илья вдруг говорит: „а я вам кобыл для кумыса не дам".— Я вспыхнула и говорю: „я тебя и не спрошу, а прикажу управляющему". Он тоже вспыхнул и говорит: „управляющий—я".— „А хозяйка—я". Была ли я уставши, или уж очень он меня намучил разговором о деньгах и именьи, только я страшно рассердилась, говорю: „до чего дошел, отцу на кумыс кобыл пожалел, зачем ты ездишь, убирайся к чорту, ты меня измучил!" Хлопнула дверью и ушла. И больно, и стыдно, и досадно на сына—вообще отвратительно.

Потом пошли, в первый раз серьезно, разговоры о том, что так оставаться не может и надо всем делиться. Я очень этому рада, только согласна делить детей только по жеребию; на это, повидимому, Илья тоже не согласится, ему хочется остаться в Гриневке и Никольском [109], а мне не хочется обижать беззащитных маленьких детей. Собственно трудно с одним Ильей [14]. Остальные дети все деликатны и на все будут согласны. Левочка всегда имел слабость к Илье и не видал его недостатков; на этот раз тоже ему хочется сделать все по желанию Ильи, и я боюсь, что будут еще неприятности без конца. К счастью Гриневка на мое имя, и если не согласятся делить всех детей по жеребью, я не соглашусь отдать Гриневки и Овсянникова. Но маленьких в обиду не дам ни за что.— Левочке все эти разговоры тяжелы, а мне еще вдесятеро тяжеле, так как приходится защищать меньших детей от старших. Таня все время за Илью и мне это неприятно.—Завтра еду в Петербург, страшно не хочется, жутко и предчувствие неудачи. Теплее стало, но ветер. 7 градусов тепла было днем.

22 апреля 1891.

Почти месяц не писала журнала. Месяц особенно интересный и полный событий. Но это всегда так: времени было мало нервы были натянуты до последней степени и писать приходилось много писем домой, так что журнал и не писала.

Сегодня второй день пасхи и второй день жаркой, совсем летней погоды. В два дня из бурых, сделались нежно-зелеными все кусты и деревья, и первый день соловей поет во всю с утра. Вчера еще вечером он только налаживался.

Вернулась я из Петербурга в вербное воскресенье, утром. Страстную неделю вначале отдыхала, болела, дала несколько уроков детям, наслаждалась тишиной и семейным кружком, а потом у нас были разговоры о разделе, за который дети очень горячо ухватились, особенно Илья. Разделили так: Илье Гриневку и часть Никольского, Сереже другую часть Никольского, Тане или Маше третью, большую часть Никольского с обязательством выплатить деньги. Леве дом в Москве [110] и Бобровский участок в Самаре, Тане или Маше Овсянниково и 40.000 денег. Андрюше, Мише и Саше по 2000 десятин земли

в Самарской губернии [111], Ваничке и мне Ясную Поляну. Сначала я требовала жеребия на все, потом Лев Николаевич и дети протестовали, и пришлось согласиться. Самарские земли для маленьких потому хороши, что для них поднимутся в цене; кроме того, украсть, срубить или испортить—там ничего нельзя, и управление в одних руках; Ясную дали мне и Ваничке потому, что нельзя же удалить отца; а там где я, там и Лев Николаевич, там и Ваничка [112].

Илья пробыл три дня, привозили они и Цурикова с Нарышкиным [113]. Сережа и теперь у нас, и Лева тоже. Сережа очень оторвался от семьи и опять уж хочет уходить в земские начальники в Москву [114], ему надоело в Никольском, да и понятно, одному? Лева уезжает сегодня, чтоб в Москве готовиться к экзамену. Он все худ, но все очень хорош нравственно. Напечатали его рассказ „Монте-кристо“ в „Роднике“ апрельской книжки и прислали за него 26 рублей денег. В „Неделе“ мартовской книги напечатали его рассказ „Любовь“ и заплатили 65 рублей. Первые его заработанные деньги! „Монте-кристо“ Левочка и все очень хвалят.

На страстной я посылала Андрюшу и Мишу говеть, но сама не могла по случаю женского нездоровья, особенно тяжело выразившегося этот раз. Проделали они говенье равнодушно и стихийно, вместе с народом. В субботу служили у нас заутреню по просьбе всей прислуги, Левочка не был дома, и когда я его утром спросила: не будет ли ему неприятно, если будут служить в зале заутреню, он отвечал: „нисколько“.

Вчера после утреннего чая и завтрака, я велела заложить новые катки и мы ездили со всеми детьми, Лидой [48] и няней [115], Таней, Машей и двумя девочками (Сашками) в Засеку [116] на шоссе, за сморчками. Я все ходила с Ваничкой и Сашей, и хотя близорукие глаза мои не видели почти сморчков, но я люблю и лес, и распускающуюся, просыпающуюся весеннюю природу, и тишину в глуши деревьев, и потому очень наслаждалась Лева с Андрюшей ходили рыбу ловить, но даже не клевала, а Лева убил утку. Сегодня все ребята, как и вчера, на лугу, перед домом, бегают на pas-de-géant, играют и толкутся при жамочнице.

Вчера вечером играли наши ребята с деревенскими в разные игры, и странно, но уже теперь эти 11 и 13 летние мальчики относятся к девочкам крестьянским как мальчики уже, а не как товарищи. Как это противно и жалко!

Гостит Дунаев. Левочка что-то грустен, и когда я его спросила: „отчего?“ он говорил, что: „так, плохо пишется“ [117].—Но конечно, моя поездка в Петербург, говенье детей, заутреня—все это не по его вере, и ему грустно.—Странно мое отношение ко всему этому. Я не могу не относиться с самым искренним сочувствием ко всем тем нравственным правилам, которые поставил сам себе и другим—Левочка. Но я не вижу и не нахожу возможности провести их в жизни. На полдороге останавливаться я не могу, это не в моем характере;—идти до конца, сил нет.

Вместе с тем дети растут совсем без религии; для детей и для народа необходимы формы, необходимо что-нибудь, в чем бы хранилось и выражалось отношение к богу. Для этого церковь; и от церкви, людям вне самых высших нравственных и отвлеченных верований, отлучаться невозможно, ибо очутишься в самой безнадежной пустоте.

Сейчас проводила Леву в Москву; Таня с Ваничкой поехали его провожать до Ясенков.

Постараюсь теперь восстановить в моей памяти и добросовестно описать все мои хлопоты в Петербурге по арестованной XIII части Полного собрания сочинений и мой разговор с государем 13 апреля 1891 г.

Моя поездка в Петербург.

Выехала я из Ясной Поляны в ночь с 28 на 29 марта. Утром, приехавши в Москву, я посидела с Левой и поехала в Государственный банк совершить конверсию 5% банковских билетов на 4%. В 4 часа я была уже на Николаевском вокзале и, найдя очень удобное купе 2-го класса, доехала с одной дамой, могилевской помещицей, женой предводителя какого-то уезда, спокойно и хорошо. У Кузминских только вставали. Саша был на ревизии Балтийских губерний, Таня одевалась [118], Маша и дети [119] причащались. Мы друг другу с Таней очень обрадовались, и она поместила меня в своей спальне. Выписали мы немедленно Мишу Стаховича; он говорил, что писал мне, вы-

зывая меня для свиданья с государем, так как Елена Григорьевна Шереметева [120], двоюродная сестра государя, рожденная Строгонова, дочь Марии Николаевны (Лихтенбергской), выхлопотала согласие государя принять меня. Предлогом просьбы моей об аудиенции государя служило то, что я прошу, чтобы цензура для произведений Льва Николаевича была бы лично самого царя. Письмо это, посланное мне М. Стаховичем или пропало, или он и не писал его. Человек он не очень правдивый, и потому я позволяю себе сомневаться. М. Стахович показал мне набросанную им форму письма к государю, которая мне очень не понравилась. Но я взяла ее. Надо еще оговориться для ясности, что Шереметева хлопотала о моей аудиенции у государя по просьбе Зоси Стахович [121], которую Шереметева очень любит. На другое утро моего приезда я поехала к Николаю Николаевичу Страхову [122], на его квартиру, всю занятую прекрасной библиотекой, им составленной. Он удивился и обрадовался мне. И вот мы начали с ним обсуждать письмо и мой предполагаемый разговор с государем. Ему не понравилось, так же как и мне, письмо, набросанное Стаховичем, и к 5 часам он прислал мне свой вариант. Но и этот мне не понравился, я написала с двух—еще свой, третий. Пришел брат мой, Вячеслав, и окончательно выправил и мое письмо. Его вариант и был послан 31 марта. Вот письмо:

„Ваше императорское величество, принимаю на себя смелость всеподданейше просить ваше величество о назначении мне всемилостивейшего приема для принесения личного перед вашим величеством ходатайства ради моего мужа, графа Л. Н. Толстого. Милостивое внимание вашего величества даст мне возможность изложить условия, могущие содействовать возвращению моего мужа к прежним художественным, литературным трудам и разъяснить, что некоторые обвинения, возводимые на его деятельность, бывают ошибочны и столь тяжелы, что отнимают последние духовные силы у потерявшего уже свое здоровье русского писателя, могущего, [может быть, еще служить своими произведениями на славу своего отечества.

Вашего императорского величества верноподданная

графиня София Толстая".

31 марта 1891 г.

Не зная, каким способом послать это письмо, Таня-сестра сделала запрос своему хорошему знакомому, Скальковскому [123], служащему на высоком посту при почте, через телефон, и на другое утро Скальковский прислал своего курьера с запиской и обещанием, что мое письмо будет доставлено государю в Гатчину [124] в тот же вечер. Письмо дошло 1 апреля, и в тот же день умерла вел. кн. Ольга Федоровна [125] на пути в Крым, в Харькове, от острого плеврита и болезни сердца. Смерть эта, в связи с женитьбой ее сына, Михаила Михайловича на графине Меренберг [126], без согласия государя и его родителей, заняла весь Петербург. Везде только об этом и говорили. Девять дней, по обычаю и по этикету, при дворе не было никаких действий, и вся царская фамилия погрузилась в траур и уединение. Мы смотрели из окна кузминской квартиры, как по Невскому провезли тело вел. кн. с железной дороги в Петропавловскую крепость [127]. Государь и Михаил Николаевич [128] шли прямо за гробом. Войска и духовенство (особенно много было последнего) поразили своей солидарностью. Например, остановились для литии перед церковью Знаменья и для молитвы ударили в барабаны, и началась странная музыка с присвистом. Я этого никогда прежде не видала. Это язычество напоминает.

Чтоб знать приблизительно, как говорить с государем и как просить о разрешении XIII части „Полного собрания сочинений", я решилась заехать в цензурный комитет, к Феоктистову [129], узнать о мотивах запрещения. Со мной была сестра Таня. Мы вошли. Поздоровавшись с Феоктистовым, которого я знала еще в Москве молодым, только что увезшим тогда свою красавицу жену [129] тайком от матери,—я спросила его, почему запретили весь XIII том? Он сухо и машинально открыл какую-то книгу и прочел монотонным голосом: „Книга о жизни" [130] запрещена духовной цензурой по приказанию св. синода". Статья „Так что ж нам делать?" [131] запрещена полицейским управлением. А „Крейцерова соната" запрещена по высочайшему повелению, — прибавил он. На все это я горячо начала доказывать, что главы из книги „О жизни", которые напечатала

я, были уже напечатаны в „Неделе“ и не вызвали даже неудовольствия со стороны цензуры, что главы из „Что ж нам делать“ им же были пропущены в XII части,—и что остается только „Крейцерова соната“, которую надеюсь выпросить у царя.

Феоктистов очень был сконфужен, когда узнал, что „О жизни“ и „Что ж нам делать“ напечатаны не целиком. Он позвал секретаря, велел пересмотреть дело и обещал через два дня ответ. Я очень его упрекала за то, что так небрежно и невнимательно относится цензура к такому автору как Лев Толстой; упрекала, что в цензуре даже оглавления не прочли и так смутили и огорчили и меня и самого автора. Он, видимо, понял, что сделал глупость, и 3 апреля привез мне сам XIII часть и сказал, что ее можно пропустить.

Еще в газете „Новое Время“ [132] в то же время был напечатан репертуар пьес, которые будут играться в будущий сезон на императорских театрах, и в числе других значатся „Плоды просвещения“ [133] гр. Л. Н. Толстого. Зная, что пьеса эта запрещена на им. театрах, я заехала в театральный комитет узнать, в чем дело? Оказалось правда. Я спрашиваю там, было ли с их стороны какое-нибудь отношение к автору и спрос желает ли он? Говорят, что нет. Я рассердилась, говорю там чиновнику, что очень уж бесцеремонно и неделикатно относятся к автору, и заявила, между прочим, что прошу теперь обращаться со всеми переговорами не к нему, а ко мне. На другой день явился режиссер с бумагой, в которой напечатаны условия: я принимаю на себя все возможные обязательства, например, что ручаюсь, что пьесы не будут играть на частных сценах, обязуюсь 2000 штрафом за неисполнение и т. д. Меня взбесили эти обязательства, и на другое утро я заехала опять в театральный комитет и заявила чиновнику, что я не согласна принять на себя никаких обязательств и пусть лучше пьеса не идет, но я не подпишусь ни за что. Он говорит, что это надо директору сказать. Я велела доложить о себе директору Всеволожскому [134]. Он, было, отказался. Я говорю: „Странные у вас порядки, государя можно видеть, а директора, обязанного принимать, видеть нельзя“. Мое высокомерие его смутило, и он пошел докладывать. В душе я все повторяла: „Хамы, на вас только кричать можно“. Все-

воложский принял меня развязно, представил мне какого-то Погожева [135], своего помощника, и заговорил: „Вы не хотите дать нам пьесы, графиня!“ Я говорю: „Я не хочу только брать на себя обязательств, которых не могу исполнить“.— „Но это только форма“.—„Для кого форма, а для меня—дело совести, и я не подпишу ничего“. Погожев вмешался тут и начал говорить: „Если вы не подпишите условий, вы получите вместо 10% только 5 с валового сбора“. Я вспыхнула и, обращаясь к нему, сказала: „Я не в Гостином ряду и торговаться как с купцами не привыкла. Прошу оставить всякие денежные вопросы в стороне, они не интересуют ни меня ни, тем более, графа, и пьесу я не дам“. Потом обратилась к Всеволожскому и сказала: „Как? вы, человек нашего круга, вы не понимаете, что Льва Николаевича нельзя ставить на одну степень с водевильными авторами, что все мы, а прежде всех я, как жена и как порядочная женщина должны считаться с его идеями, и потому я не могу подписать обязательства, что нигде на частных сценах пьесу эту играть не будут; что главную радость Льва Николаевича составляло то, что комедия эта не дала ему до сих пор ни копейки, а обязательство это лишает права играть эту пьесу на всех благотворительных спектаклях...“ Я очень горячилась, Всеволожский предложил вычеркнуть некоторые обязательства. Я и на это не согласилась, и, наконец, он предложил написать письмо частное, что я предоставляю право играть на императорских театрах пьесу с 10% с валового сбора, что я и сделала.

Сережа, мой сын, предлагает эти деньги отдавать на благотворительные заведения императрицы Марии. [136] Я бы охотно это сделала, да им же, моим 9 детям, так много нужно денег, а где я их буду брать?

Пользуясь свободным временем, я была на двух выставках: на передвижной [137] и на академической [138]. Дурно ли я была настроена или устала очень, но выставки на меня произвели мало впечатления. Потом ездила с Таней по покупкам, шила себе платья и сидела много с своими и их гостями. Видела радостно три раза гр. Александру Андреевну Толстую, много с ней беседовала о религии, о Левочке, о детях и моем положении в семье. Она очень ласково и сочувственно относилась

все время ко мне. Обедала раз у Стаховичей [139], раз у Менгден [140], раз у Трохимовских [141], раз у Ауэрбах [142] и раз у гр. Александры Андреевны. А то все дома. Соблазняли меня ехать смотреть итальянскую знаменитую актрису—Дузе [143], но я была слишком разбита нервами и денег пожалела. Спала я все время не больше 5 часов.

Наконец, в пятницу 12 апреля я потеряла терпение ждать приема государя. Тоска по дому и предстоящая Страстная неделя, мое нервное состояние—все это привело меня к решению ехать в воскресение домой. Я оделась и поехала благодарить Шереметеву за ее хлопоты и сказать, что я ждать больше не могу. Шереметева, у которой была в то время принцесса Мекленбургская [144] и которая думала, что это гр. Софья Андреевна Толстая [145], девушка, сестра Александры Андреевны, меня не приняла. Тогда я заехала к Зосе Стахович и сказала ей, что уезжаю в воскресение и прошу это передать Шереметевой, чтоб она сказала государю. Оттуда проехала я к Александре Андреевне проститься с ней.

В 11 часов вечера, только что я легла, приносят записку Зоси, что государь через Шереметеву же, просит меня на другой день, в $11^1/_2$ часов утра, в Аничков дворец [146].

Главная моя радость была в первую минуту, что я могу завтра же уехать. Сейчас же я начала все укладывать, написала записки разные, послала попросить у m-me Ауэрбах карету и лакея, и легла в 3-м часу ночи, взволнованная. Но спать я не могла и все придумывала и твердила то, что я имею сказать государю.

Утром наскоро я распорядилась, кому что заплатить, попросила Таню уложить остальное, оделась и села дожидаться срока, когда ехать. Платье сшила траурное, черное, вуаль и черную кружевную шляпу. В 15 минут 12-го я поехала. Сердце немного билось, когда мы въехали на двор Аничкова дворца. Все отдавали мне честь у ворот и крыльца, а я кланялась. Когда я вошла в переднюю, я спросила швейцара, приказано ли государем принять графиню Толстую? Говорит: нет. Спросили еще кого-то,—тот же ответ. У меня так сердце и упало. Тогда позвали скорохода государя. Явился молодой, благообразный человек в ярком красное с золотом одеянии, в огром-

ной трехугольной шляпе. Спрашиваю его: „Есть ли распоряжение от государя принять графиню Толстую?“ Он говорит: „Как же, пожалуйте, ваше сиятельство, государь, вернувшись из церкви, уже спрашивал о вас“. А в этот день государь был на крестинах вел. кн. Елисаветы Феодоровны[147], перешедшей в православие. Скороход побежал по крутой лестнице, обитой ярко-зеленым очень некрасивым ковром, наверх. Я за ним. Не соразмерив своих сил, я бежала слишком скоро, и когда скороход, поклонившись, ушел, оставив меня в гостиной, я почувствовала такой прилив крови к сердцу, что думала, что сейчас умру. Состояние было ужасное. Первое, что мне пришло в голову было то, что дело мое все-таки не стоило моей жизни: что сейчас скороход придет звать меня к государю и найдет мой труп, или что я все-таки ни слова не могу выговорить. Сердце билось так, что дышать, говорить или крикнуть было буквально невозможно. Посидев немного, я хотела спросить воды у кого-нибудь, и не могла. Тогда я вспомнила, что лошадей, когда их загоняют, начинают тихо водить. Я встала с дивана и начала тихо ходить. Но лучше долго не было. Я развязала осторожно и незаметно под лифом корсет и опять села, растирая грудь рукою и думая о своих детях, о том, как они примут известие о моей смерти. К счастью, государь, узнав, что меня еще нет, принял кого-то еще, и у меня было достаточно времени, чтоб опомниться и отдохнуть. Я оправилась, вздохнула, и в это время пришел опять скороход и провозгласил: „Его величество просит ее сиятельство, графиню Толстую к себе“. Я пошла за ним. У кабинета государя он поклонился и ушел. Государь встретил меня у самой двери, подал руку, я ему поклонилась, слегка присев, и он начал словами:

— Извините меня, графиня, что я так долго заставил вас ждать, но обстоятельства так сложились, что я раньше не мог.

На это я ему отвечала:

— Я и так глубоко благодарна, что ваше величество оказали мне милость приняв меня.

Тут государь начал говорить, не помню какими словами, о моем муже, о том, что я собственно желаю от него. Я начала говорить уже совершенно твердо и спокойно:

— Ваше величество, последнее время я стала замечать в муже моем расположение писать в прежнем художественном роде, он недавно говорил: „Я настолько отодвинулся от своих религиозно-философских работ, что могу писать художественно, и в моей голове складывается нечто в форме и объеме „Войны и мир“. А между тем предубеждение против него все возрастает. Вот, например, XIII часть арестовали, теперь нашли возможным пропустить, „Плоды просвещения“ запретили, теперь велели играть на имп. театр. „Крейцерова соната“ арестована...

На это государь мне сказал:

— Да ведь она написана так, что вы, вероятно, детям вашим не дали бы ее читать.

Я говорю:

— К сожалению, форма этого рассказа слишком крайняя, но мысль основная такова: идеал всегда недостижим; если идеалом поставлено крайнее целомудрие, то люди будут только чисты в брачной жизни.

Еще я помню, что когда я сказала государю, что Лев Николаевич как-будто расположен к художественной деятельности, государь сказал: „Ах, как это было бы хорошо! как он пишет, как он пишет!“

После моего определения идеала в „Крейцеровой сонате“, я прибавила:

— Как я была бы счастлива, если б возможно было снять арест с „Крейцеровой сонаты“ в полном собрании сочинений. Это было бы явное милостивое отношение к Льву Николаевичу и, кто знает *, могло бы очень поощрить его к работе.

Государь на это сказал:

— Да, в полном собрании можно ее пропустить, не всякий в состоянии его купить, и большого распространения быть не может.

Не помню, в какие промежутки разговора, но государь раза два повторил сожаление о том, что Лев Николаевич отстал от церкви. Он еще прибавил:

— И так много ересей возникает в простом народе и вредно на него действует.

---

* „Кто знает“—вписано позднее, другими чернилами.

На это я сказала:

— Могу уверить *, ваше величество, что муж мой никогда ни в народе ни где-либо не проповедует ничего; он ни слова не говорил никогда мужикам, и не только не распространяет ничего из своих рукописей, но часто в отчаянии, что их распространяют. Так, например, раз один молодой человек украл рукопись из портфёля моего мужа, переписал из дневника его и через два года начал литографировать и распространять. (Я говорила, не называя его, о Новоселове [148] и его поступке с Николаем Палкиным [149]).

Государь удивился и выразил свое негодование:

— Неужели! Как это дурно, это просто ужасно! Всякий может в дневнике писать, что он хочет, но украсть рукопись— это очень дурной поступок!

Государь говорит робко, очень приятным, певучим голосом. Глаза у него ласковые и очень добрые, улыбка конфузливая и тоже добрая. Рост очень большой; государь скорее толст, но крепок и видно силен. Волос совсем почти нет; от одного виска до другого скорее слишком узко, точно немного сдавлено. Он мне напомнил немного Владимира Григорьевича Черткова, [150] особенно голосом и манерой говорить. Потом государь спросил меня, как дети относятся к учению отца? Я отвечала, что к тем высоконравственным правилам, которые проповедует отец, они не могут относиться иначе, как с уважением, но что я считаю нужным воспитывать их в церковной вере, что я говела с детьми в августе, но в Туле, а не в деревне, так как из наших священников, которые должны быть нашими духовными отцами, сделали шпионов, которые написали на нас ложный донос.

Государь на это сказал: „Я это слышал“. Затем я рассказала, что старший сын—земский начальник, второй—женат и хозяйничает, третий—студент, а остальные дома.

Еще я забыла написать, что когда был разговор о „Крейцеровой сонате“, государь сказал:

— Не может ли ваш муж переделать ее немного?

---

* „Могу уверить“ — надписано позднее, другими чернилами, над зачеркнутым „Клянусь честью“.

Я говорю:

— Нет, ваше величество, он никогда не может поправлять свои произведения, и про эту повесть говорил, что она ему противна стала, что он не может ее слышать.

Потом государь спросил меня:

— А часто ли вы видаете Черткова, сына Григория Ивановича [151] и Елизаветы Ивановны [151]? Вот его ваш муж совсем обратил.

К этому вопросу я не приготовилась и замялась на минуту. Но потом нашлась и ответила.

— Черткова мы более двух лет не видали. У него больная жена [152], которую он не может оставлять. Почва же, на которой Чертков сошелся с моим мужем была сначала * не религиозная, а другая. Заметив, что в народной литературе встречаются множество глупых и безнравственных книг, мой муж дал мысль Черткову переобразовать народную литературу, дав ей нравственное и образовательное направление. Муж мой написал несколько рассказов для народа, которые после того как разошлись в нескольких миллионах экземпляров, найдены теперь вредными, не довольно церковными, и тоже запрещены. Кроме того изданы ** много научных, философских, исторических и других книг. Дело это очень хорошее и очень подвинулось; но и это встретило гонение [153].

На это государь ничего не сказал. Под конец я решилась сказать:

— Ваше величество, если мой муж будет опять писать в художественной форме и я буду печатать его произведения, то для меня было бы высшим счастьем, если б приговор над его сочинением был выражением личной воли вашего величества.

На это государь мне ответил:

— Я буду очень рад; присылайте его сочинения прямо на мое рассмотрение.

Не помню хорошенько было ли еще что сказано, кажется, я все записала. Помню, что он прибавил:

---

* „Сначала"—вписано другими чернилами.

** Слово „изданы" надписано другими чернилами над зачеркнутым „вышло".

— Будьте покойны, все устроится. Я очень рад,—и затем встал и подал мне руку. — Я опять поклонилась и сказала:

— Мне очень жаль, что я не успела просить о представлении императрице [154], мне сказали, что она нездорова.

— Нет, императрица сегодня здорова и примет вас; вы скажите, чтоб о вас доложили.

После этого я вышла, и в дверях, выходя в маленькую комнатку возле кабинета государя, государь остановил меня и спросил:

— Вы долго еще пробудете в Петербурге?

— Нет, ваше величество, я уезжаю сегодня.

— Так скоро? Отчего же?

— У меня ребенок не совсем здоров.

— Что с ним?

— Ветреная оспа.

— Это совсем не опасно, только бы не простудить.

— Вот я и боюсь, ваше величество, что без меня простудят, такие холода стоят *.

И я ушла, поклонившись еще раз, и после пожатия, очень ласкового, моей руки государем.

И вот я пришла опять в ту же гостиную, с красной атласной мебелью, статуя женщины в середине, две статуи мальчиков по бокам, два зеркала в простенках тех арк, которые отделяли гостиную от залы. Везде пропасть растений и цветов. Никогда я не забуду этих ярко-красных азалий в роскошнейшем цвету, глядя на которые я думала, что умираю. Вид из окон скучный **, на мощеный двор, где стояли две кареты и ходили солдаты.

Немолодой лакей с иностранным лицом и выговором, стоял у двери приемной государыни. С другой стороны стоял негр в национальном мундире. Около кабинета государя тоже стояли негры, три, кажется. Я попросила лакея доложить государыне обо мне, прибавив, что с разрешения государя.

---

* Слова „такие“ и „стоят“ приписаны позднее другими чернилами. Прежде было написано „холодно очень“, слово „очень“ зачеркнуто.

** Слово „скучный“ вписано другими чернилами.

Он сказал, что там дама сидит, и что он доложит, когда та уйдет.

Я подождала минут 15—20. Вышла дама, лакей сказал мне, что государь был у императрицы и сказал ей, что я желаю ей представиться. Я вошла. Тоненькая, быстрая и легкая на ногах, подошла ко мне навстречу императрица. Цвет лица очень красивый, волосы удивительно аккуратно прибраны, точно наклеены, красивого каштанового цвета, платье черное шерстяное, талия очень тонкая, также руки и шея. Ростом не большая, но и не очень маленькая. Голос поражает своими гортанными и громкими звуками. Она подала мне руку и так же, как государь, сейчас же пригласила меня сесть.

— Je vous ai déjá vu une fois, n'est ce pas?—спросила она.

— J'ai eu le bonheur d'etre présentée à votre magesté il y a de cela quelques années à l'Institut de St. Nicolas, chez m-me Schostag [155].

— Ah, certainement, et votre fille aussi. Dites moi est ce vraiment on vole les manuscrits du comte et on les imprime sans mander la permission. Mais c'est une horreur, c'est trés mal, c'est impossible.

— C'est vrai, votre magesté, et c'est bien triste. Mais que faire! *

Потом императрица спросила сколько у меня детей, чем заняты. Я выразила ей свою радость, что сыну ее, Георгию Александровичу [156] лучше, что я очень за нее страдала, зная, как ей тяжело было в разлуке с двумя сыновьями [157] знать, что один так нездоров. Она сказала, что он теперь совсем поправился; но что у него было воспаление в легких, что запустили болезнь, сам он не берегся, и что она очень тревожилась. Я ей выразила сожаление, что не видала никогда ее детей [158], на что государыня сказала, что они все в Гатчине.

---

* [— Я уже однажды встречалась с вами, неправда ли?

— Я имела счастье быть представленной вашему величеству несколько лет тому назад в Николаевском институте у г-жи Шостак.

— Да, конечно, также и ваша дочь. Скажите мне: правда ли рукописи графа крадут и печатают не спрося его позволения? Но это ужасно, отвратительно, невозможно!

— Правда, ваше величество, это очень печально. Но что делать!]

— Ils sont tous si heureux, si bien portants, — прибавила государыня. Je tiens qu'ils aient des souvenirs heureux de leur enfance. *

Я сказала:

— Dans une famille comme cella de sa magesté, tout le monde doit se sentir heureux. **

Императрица продолжала.

— Ce petit Michel aux joues roses, il joue une grande fille a 16 ans. ***

Потом государыня встала, подала мне руку и ласково сказала:

— Je suis très contente de vous avoir revu encore une fois. ****

Я поклонилась и ушла.

Карета Ауэрбах довезла меня до дому Кузминских, и я, не чувствуя четырех этажей, довольная взбежала на верх.

Встретила меня сестра Таня, потом Зося, Маня и Миша Стахович, Эрдели [150], Александр Михайлович и все дети Кузминские. Я принуждена была все рассказать. Все сочувствовали, все поздравляли. Я написала 2 телеграммы: одну Леве в Москву, другую домой, позавтракала и села на поезд в 3 часа того же дня. Провожали меня все те же, и мне ужасно жаль было расставаться с сестрой Таней, когда я взглянула на ее измученное лицо, и вспомнила, сколько я ей доставила хлопот и сколько вызывала в ней сочувствия к моим делам.

Одно еще я забыла написать из разговора с государем. Он упомянул после вопроса о влиянии Льва Николаевича на народ, об обращенной им молодежи. Я сказала ему, что все это почти те люди, которые находились на ложном пути политического зла, и что Лев Николаевич обратил их к земле, к непротивлению злу, к любви. И что во всяком случае, если они не в истине, то на стороне порядка.

---

* [— Они все так счастливы, так здоровы.—Я хочу, чтобы у них были счастливые воспоминания детства].

** [— Все должны считать себя счастливыми в такой семье, какова семья вашего величества.]

*** [Маленький краснощекий Миша играл роль взрослой девушки. Ему 16 лет].

**** [Я очень довольна тем, что еще раз вас увидела].

1891 г.

В Москве, на Курском вокзале, воскресение 14-го апреля встретил меня Лева, Дмитрий Алексеевич Дьяков и Дунаев. Мы завтракали, и я им опять все рассказывала. Лева и Дмитрий Алексеевич очень интересовались. На платформе, при отходе поезда, я встретила Надю Зиновьеву [160], шедшую тоже в вагон. Она пригласила нас в свое отделение на семейный билет, и мы ехали очень весело: Лева, Надя, я и две дамы, мать и дочь, харьковские помещицы. Дочь сначала плакала, потому что только что рассталась с женихом.

Дома встретили нас Таня и меньшие дети [161]. Левочка ушел в Чепыж, потом вышел в сад меня поджидать, и долго не приходил. А я проехала раньше. Маша была в своей комнате. Я очень счастлива была быть дома. Но Левочка был недоволен моими похождениями и свиданием с государем. Он говорил, что теперь мы как будто приняли на себя какие-то обязательства, которые не можем исполнить, а что прежде он и государь игнорировали друг друга, и что теперь все это может повредить нам и вызвать неприятное [162].

1891 г. 23 апреля.

С утра я отправилась сажать выкопанные вчера в Чепыже и в ёлочках деревья и желуди, собранные мне Ваничкой и няней. Со мной все время был Ваничка и Лидия, и Дунаев помогал все сажать в саду, около нижнего пруда. Мне жаль, что падает и погибает старый сад и хочется, чтоб рос молодой. К Дунаеву у меня странное, какое-то брезгливое отношение, хотя он хороший человек.

К обеду приехали все Зиновьевы [5]; гуляли, разговаривали. Вечером пели две Зиновьевы, играли, и Сережа сыграл очень хорошо балладу Шопена.

Вспомнила я нынче вечером (всегда вспоминаю когда лето близко) покойного Урусова [163]. И так невыносимо жаль стало, что его нет и не может никогда больше быть. Как он умел наполнять собой жизнь других, как избаловал меня этим вечным участием и убеждением, что я всего лучшего достойна, что я все могу, что захочу, что все, что я делаю, — прекрасно. А рядом с этим — меня свои презирали и относились ко мне бе-

зучастно, эгоистично и ревниво. Отчего это всегда с в о и строже всех? Как это жаль и как портят этим обоюдно свои отношения и жизнь.—Холодно и ясно.—Сейчас прошла Таня и сказала, что Левочка велел мне сказать, что он лег и потушил свечу.—Невинными устами были переданы совсем не невинные слова. Знаю я, что они значат, и мне досадно.

24 а п р е л я.

Проводила сегодня Зиновьевых девочек и Сережу в Ясенки, они ехали все в Тулу; а девочки наши, Таня и Маша, уехали оттуда же в Пирогово. Я брала в Ясенки Сашу и Ваничку. Пошел дождь, подул северный ветер, и на меня напал ужас, что я простужу детей. Потом писала письма: Леве, Гайдебурову, ответ на запрос о новом издании, Зосе Стахович и Фету. Обед был тихий, Левочка, Дунаев, Лида, я и 4 маленьких. После обеда Левочка вдруг собрался пешком в Тулу, с Дунаевым. Северный ветер так был силен, что я умоляла не ходить. Но он упрям, и не было еще случая в моей жизни, чтоб он исполнил мою просьбу, особенно касательно е г о здоровья. Так он и ушел с Дунаевым в одном легком пальто. Я пошла с детьми немного погулять и вдруг увидала на том самом месте, где я вчера сажала дубки и елочки, целое стадо деревенских коров внизу, в саду, у нижнего пруда. Девки и бабы спокойно их стерегли, пока я не подняла страшного крика. Мне жаль стало моих трудов и деревцов. Потом пошла к Василию и ему приказала загонять коров, если будут ходить по усадьбе. Трудно здесь с народом, очень избаловал их Левочка. Вернувшись, сделала ванну Ваничке, сама присутствовала и уложила его; потом переписывала дневники Левочки. Теперь 11-й час, ветер гудит, и мне жутко за всех отсутствующих. Послала за Левочкой на Козловку; но вряд ли он успеет дойти до Тулы и попасть на поезд. Левочка и Дунаев вернулись с поездом и было так холодно, что Левочка обрадовался полушубку.

29 а п р е л я.

Несколько дней не писала дневника. Третьего дня вечером опять сделался со мной припадок удушья, точно что-то закупорило меня. При этом страшное сердцебиение, прилив крови

к голове. Я бросилась к няне, говорю: я умираю. Поцеловала Ваничку и побежала вниз, к Левочке, проститься с ним перед смертью. Физически было жутко, нравственно — нисколько. Левочки внизу не было. Я перекрестилась, и без дыханья, ждала смерти. Потом опять пошла к себе и проходом успела попросить скорей горчицу на грудь и пульверизатор. Когда я легла и вдышала пары, мне стало полегче. Но до сих пор в груди что-то неладно, и я думаю, что я долго не проживу. Есть что-то во мне надорванное. Такая трата энергии и жизненных сил, которая досталась мне на долю—теперь мне уже не по годам.

Второй день у нас старики Ге [164], возвращающиеся из Петербурга. Написала я письмо министру внутренних дел [165], чтоб он напомнил государю о его личном позволении мне, печатать „Крейцерову сонату“ в полном собрании сочинений. От Левы было грустное письмо, что он не хочет держать экзамен и выходит из университета [166]. И Левочка и я, мы написали ему, что не советуем бросать университета, не определив себе ясно, что́ он будет делать, когда выйдет. Не думаю, чтоб он послушался. Пусть делает, что ему лучше, а поддержать всегда надо. Послезавтра Таня едет в Москву. У нас все бодры и веселы; дети принялись сегодня за учение. Дождь шел весь день и холодно. Три дня больная, сижу дома, а на дворе все зазеленело, травы и листья на деревьях и соловьи поют.

30 апреля.

Ге уехали, мы одни, в семье, и это очень приятно. Холод и мороз по ночам. Сидела дома весь день и все больше одна. И давно я не чувствовала себя в таком обширном пространстве, как сегодня. Просторно в уме, духом свободна, все понимаю и мысленно облетела необозримое пространство. Бывают дни, когда совершенно обратно: чувствуешь себя тесно, подавленной и точно в заключении. Читала „La vie Eternelle“ [167], чудесная книга, не новая. Левочка ездил верхом в Ясенки и получил эту книгу с почты; посылает ее ему Никифоров.

Как дурно, что я молодость жила в таком уединении. Вспоминаю, как всякое ничтожество, вроде переваренного или недоваренного кушанья, принимало большие размеры; как всякое

горе было преувеличено; как все хорошее, не имея сравнений, проходило незаметно; как всякий гость имел особенный интерес; как однообразно, беспросыпа, шли дни за днями, не пробуждая ни энергии, ни интереса к чему бы то ни было. Нет, я не создана была для уединения, и это подавило все мои душевные силы.

1 мая.

Таня уехала утром в Москву. Илья приезжал, поехал в Тулу по делам раздела. К обеду приехал Давыдов с дочерью и кн. Львов [168]. Оба люди мне очень приятные, и был бы хорошо проведенный день, если б не нездоровье. Катарр всех дыхательных путей и ночью лихорадка, и очень как-то тяжко.

Переписывала дневник Левочки, читала „La vie Eternelle". Очень хорошо и интересно. После обеда все гуляли, а я часа два играла „Lieder ohne Worte" Mendelson'a * и сонату Бетховена. Как всегда досадно, что плохо играю, иногда просто учиться хочется, чтоб овладеть музыкой. Левочка ходил встречать Давыдова. Он все ходит и пишет статью [169]. За чаем был разговор о воспитании. Мне не хочется отдавать детей в гимназию, но я не вижу другого исхода, и вообще не знаю, что делать. Одна я их не сумею образовать, а Левочка всю жизнь очень хорошо обо всем р а с с у ж д а е т, но ровно ничего (в этой области) ** н е д е л а е т. Приехал какой-то господин с письмом Орлова [170], и сейчас уезжает. Стало теплее, все приносят свежие, светлые фиалки. Ели сморчки, соловей поет и туго распускается лист. Весна вообще не веселая, медленная, ленивая и холодная. Как симпатичен Давыдов своей тонкостью чувств.

15 мая.

Опять давно не писала журнала, и опять было много событий. Приезжала 2-го или 3-го Моня Урусова (рожд. Мальцева [171]) с двумя старшими дочерями: Мэри и Ира. Их присутствие так страшно болезненно напомнило мне самого князя Урусова, умершего, что я не могла отделаться от этого чувства. Сидя

---

* [„Песня без слов" Мендельсона].

** Слова „в этой области" написаны другими чернилами над строкой.

за обедом, я все видела его, сидящим против меня, около Левочки, или возле меня, и просившего меня, когда мы ждали приезда его семьи: „Вы будете их любить, графиня, неправда ли? Вы будете любить мою б э д н у ю жену?“ Он выговаривал б е д н у ю с иностранным акцентом.—И я люблю действительно его бедную жену и его детей, особенно Мэри, которая поразительно напоминает его, и которая так сыграла сонату Бетховена, что в таланте ее исключительном и прекрасном, сомнения быть не может. И такие они обе наивные и вместе цивилизованные! Княгиня очень переменилась к лучшему, смирилась и во многом раскаялась. Не знаю, зачем она мне всякий раз говорит, и этот раз так серьезно и спокойно, что муж ее меня любил исключительно и больше Левочки*, что я дала ему и семейную радость в своей семье, и то, что должна бы была дать ему она, его жена,—участие, дружбу, ласку, заботу.—Я ей сказала, что она ошибается, что ее муж так любил меня; что он мне этого никогда не сказал, и что мы были только очень дружны. Она мне на это сказала: „jamais il n'aurait osé vous avouer son amour, et il aimait trop le comte pour se l'avouer même à soi-méme“.**

Мы провели хорошие 3 дня вместе и дружно расстались.

Они уехали в Крым, а я была вызвана Таней в Москву для экзаменов Андрюши и Миши, и мы поехали в Москву с Алексеем Митрофановичем 6-го курьерским. Было жарко, я вязала, дети лазили и дружились с пассажирами, которые их угощали.—Вечером приехали в Хамовники, я поехала к Поливанову [172] и узнала все об экзаменах. Андрюша не спал всю ночь и волновался, Миша был спокоен и заснул скоро. Первый экзамен из закона божия прошел благополучно в смысле, что страх стал меньше. Мы жили во флигеле 5 дней, в свободные минуты пользуясь нашим чудесным садом. Дети держали экзамены плохо, не знаю чему это приписать, дурным ли их способностям или плохим преподавателям. Андрюшу приняли в 3-й класс, Мишу во 2-й, и я до сих пор не решила, отдам ли я их в гимназию, и жалко,

* Вместо слов „исключительно и больше Левочки“ раньше было написано другое, что С. А. выскоблила ножом.

** [Он никогда не посмел бы признаться в своей любви, и он слишком любил графа, чтобы признаться в ней самому себе].

и страшно; но страшно и не отдать. Все предоставляю судьбе. Как разны Андрюша и Миша! Первый робок, нервен, во все вглядывается; второй возбужден разговорчив, любит пользоваться всеми благами жизни.

Были мы на французской выставке; видели светящийся фонтан, но выставка еще не совсем готова и была закрыта; только бронзу видели и фарфор.

Проезжая Кремлем, я видела множество экипажей у Малого дворца. Это вел. кн. Сергей Александрович [173] принимал всю Москву, вступив в должность московского генерал-губернатора.

XIII часть не выпускают из цензуры; придрались к трем фразам приблизительно таким: „От Эйфелевой башни до общей воинской повинности"... Еще: „Когда все европейские народы заняты тем, чтоб обучать молодых людей убийству"... и еще: „что все совершается и управляется людьми не в трезвом состоянии".—Но эти фразы были уже напечатаны в этой же статье под формой предисловия к книге Алексеева: „О пьянстве" [174]. Я написала об этом последнем и в московскую цензуру и в Петербург Феоктистову.—Во время моего отсутствия из Ясной, туда пришло письмо министра [165] с разрешением в полном собрании сочинений „Крейцеровой сонаты" и „Послесловия". В Москве я это узнала в типографии, где печатали ее. Не могу не чувствовать внутреннего торжества, что помимо всех в мире, было дело у меня с царем, и я, женщина, выпросила то, чего никто другой не мог бы добиться.—И влияние мое, личное, несомненно, играло в этом деле главную роль. Я всем говорила, что если на меня найдет на минуту то вдохновение, которым я сумею завладеть нравственно царем, как человеком, я добьюсь своего, и вот это вдохновение на меня нашло, и я склонила волю царя, хотя он очень добрый и способный подпасть хорошему влиянию.—Кто прочтет это, сочтет за хвастовство мои слова,—но ошибется и будет несправедлив.

На днях выйдет XIII том и мне очень хотелось бы послать его государю, приложив к нему группу всей моей семьи, которой он так интересовался. И он, и государыня меня подробно спрашивали о детях.

Весна во всем разгаре. Яблони цветут необыкновенно. Что-то волшебное, безумное в их цветении. Я никогда ничего по-

добного не видала. Взглянешь в окно в сад, и всякий раз поразишься этим воздушным, белым облакам цветов в воздухе, с розовым оттенком местами, и с свежим зеленым фоном вдали.

Очень жарко и сухо. Во всех комнатах одуряющий запах от букетов ландышей.

У бедного Левочки воспаление век, и он сидит один внизу, в темной комнате уже двое суток. Сегодня ему немного лучше. Вчера посылала к доктору Рудневу [175] за советом, и он велел примачивать свинцовой примочкой, которую и прислал. — Вчера Левочка написал через Машу письмо Алехину [176] (темному) о религиозных вопросах, и так хорошо, так согласно с моими взглядами, что я поразилась. Вопрос о бессмертии и будущей жизни, о которой мы не должны тревожиться, раз мы предоставили себя в руки бога и сказали: „да будет воля твоя!“ А узнать ее нельзя, как ни тревожься об этом вопросе.

Завтра приезжают Кузминские, и дети сегодня за обедом огорчались, что кончается наша тихая, чисто семейная и счастливая жизнь, и что хотя родной, но посторонний, суетящий нас элемент, взойдет в нашу жизнь. Я настолько люблю сестру, что мне никто никогда из ее семьи не в тягость, и ей я рада ужасно. Сережа тут и уехал в Тулу. Вчера вечером Таня, Сережа и Лева до 2-х часов ночи втроем говорили и что-то хорошо, все довольны.

Левочка диктовал вчера Тане какое-то романическое начало — она не говорит мне, что именно, и я не хочу ни ее ни Левочку вызывать на рассказ того, что едва возрождается; это всегда неприятно рассказывать.

22 мая.

Еще прошла неделя суеты. Кузминские приехали, приезжал и Машин жених Эрдели. Летняя жизнь установилась с купаньем, толпою шумящих и суетящихся без дела детей, с ленью, жарой и красотой природы. Был Фет с женой [177], читал стихи — все любовь и любовь, и восхищался всем, что видел в Ясной Поляне, и остался, кажется, доволен своим посещением, и Левочкой, и мной. Ему 70 лет, но своей вечно живой и вечно поющей лирикой он всегда пробуждает во мне поэтические и несвоевременно молодые, сомнительные мысли и чувства. Но пусть

несвоевременно, все же хорошо и совсем невинно, так как остается в области отвлеченности.

Маша уехала с девочками Философовыми [178] к ним в Паники. Пусть рассеется, а то она бедная, такая невеселая и немолодая в 20 лет. Ходили гулять, но дождь помешал, и постепенно все вернулись домой. Вечером хотели читать, но хорошо разговорились о повестях, о любви, искусстве и живописи. Левочка говорил, что нет ничего противнее как картины, выражающей сладострастие в обыденной жизни, как, например, монах, смотрящий на женщину, татарин с барыней верхом едут в Крыму, свекор, глядящий на невестку дурными глазами и т. п.; что все это противно в жизни, а ты смотри в е ч н о на эту мерзость на картине.—Я с ним вполне согласна, и люблю картины только где красота, природа или возвышенная мысль.

Сегодня рожденье Ильи. Как-то он, бедный, живет в своей неясной, бестолковой среде хозяйства, семьи и вечного сомнения и недовольства судьбой. Мне жаль, что из-за имущественных вопросов у нас расстроились отношения. Но я надеюсь, что это со временем пройдет. В нем есть та неясность, которая заслоняет его поступки [20].

27 м а я.

У нас Анненкова, привезла с собой девицу, которую сулит учительницей Саше и Ване вместо няни. Но мне не нравится: болезненная и ненатуральная. Приезжал Илюша за планом Никольского; он лучше и мягче. Он увез с собой Леву. Лева вчера спрашивал меня, когда были эти чудные зимние дни, когда солнце и луна сходились и было такое красивое освещение. Я переписала ему страничку из своего дневника 9 декабря 1890 года и дала: как раз там описан такой день. Верно он что-нибудь пишет и ему это нужно было. — Вчера ходили гулять с Анненковой, Левочкой и этой барышней на Козловку, встретили Зиновьева с дочерьми, которые везли к нам домой Таню и двух девочек Кузминских [179]. Зиновьевы девочки пели и было очень приятно. Пела и Таня сестра, и ничей timbre * голоса не может сравниться с ее голосом...

* [Тембр].

Сегодня пришли из Тулы к обеду Раевские: отец и сын. После обеда мы их провожали; на шоссе встретили издателя „Курского Листка“ [180], который подошел к Льву Николаевичу, держа в руке велосипед, и объявил, что мечтал с ним познакомиться и просит позволенья притти к нам.—Приближаясь к дому, встретили кучера Михайлу [181] в телеге с горничными, едущими на детской лошади вскачь. Я очень рассердилась, что без меня распорядились и вернула их всех домой. А распорядилась Таня, и я ей сделала выговор.—Вернувшись, поправляла корректуру „Крейцеровой сонаты“, которую не люблю, и она мне всегда неприятна. Как неверно то начало, в котором говорится от лица о б о и х супругов, что на них находили п е р и о д ы влюбленности и охлажденья, после удовлетворенья. Это совершенно неверно, это не в женской натуре, и тем более не может быть в только что вышедшей замуж молоденькой женщине. Для очень молодой п е р и о д о в этих не бывает; всегда равно тяжело и стыдно, пока не привыкнешь, и одно утешенье, что это е м у, тому, кого любишь, доставляет удовольствие. В период же зрелости женской, опять-таки периодов любовности и охлажденья не бывает. Женщина, испорченная этими отношениями, только больше возбуждается от частых сношений и пресыщения не бывает; бывает спокойствие только в таком случае, если долго ее совсем не трогают, бывает озлобление от неудовлетворения, а не от пресыщения, озлобление стыда за свою страсть. А неровность любви мужа всегда с его стороны, и всегда в зависимости от е г о пресыщения или желания.

Очень холодно и пасмурно. Дня три был такой сильный северный ветер, что все сидели дома. Вася Кузминский из детского пистолета подстрелил Саше глаз и сделал кровяное пятно. Прошлую всю ночь Ваничка не спал, у него живот болел, и я возилась с ним до 3 часов, и потом до 5-го не спала.—Сирень, ландыши—отцвели. Ваничка с няней принесли ночные фиалки. Пошли белые грибы.—Очень сухо, трава плоха. Раевский говорил, что у них голод в Епифанском уезде [182]. — От Маши письмо, ей, видно, весело у Философовых, и я этому очень рада.

1 июня.

Все были гости. Приезжал муж Анненковой [183], помещик, занятый юридическими науками, вульгарный, странный человек, но, говорят, доброты и деликатности бесконечной. Привозил с собой Нелюбова, судебного следователя из Льгова [184], их города уездного, худого, черного идеалиста, восторженного и мрачного. Потом провел вечер Суворин [185] „Новое Время". Он производит впечатление человека робкого и очень интересующегося всем. Он просил позволения привезть или прислать скульптора—еврея из Парижа, лепить всю фигуру Льва Николаевича, и я просила присылать, а Левочка отмалчивался, как всегда. Ему, наверное, это приятно. Вчера вечером были Самарин П. Ф. [186], Бестужев [187], генерал, и Давыдов. Левочка ходил в Тулу пешком, хотел видеть бойню скотины, но вчера не били, и он только видел самое место. Из Тулы привез его на извозчике Давыдов. — Ходили вечером гулять, с Давыдовым все легче и лучше отношения, он очень приятный человек. — Пришлось Самарину и Бестужеву рассказывать о моем посещении государя и весь разговор. Как страшно все этим интересуются! А настоящего мотива, самого глубокого всей моей поездки в Петербург никто не угадывает. — Всему причиной „Крейцерова соната". — Эта повесть бросила на меня тень; одни подозревают, что она взята из нашей жизни, другие меня жалели. Государь и тот сказал: „Мне жаль его бедную жену". Дядя Костя мне сказал в Москве, что я сделалась une victime * и что меня все жалеют. Вот мне и захотелось показать себя, как я мало похожа на жертву и заставить о себе говорить; это сделалось инстинктивно. Успех свой у государя я знала вперед: еще не утратила я ту силу, которую имела, чтоб привлечь людей стороной симпатии, и я увлекла его и речью и симпатией. Но мне еще нужно было для публики выхлопотать эту повесть. Все знают, что я ее выпросила у царя. Если б вся эта повесть была написана с меня и наших отношений, то, конечно, я не стала бы ее выпрашивать для распространения. Это поймет и подумает всякий. Отзывы государя обо мне со всех сторон крайне лестные. Он сказал Шереметевой, что жалеет, что у него в этот день было спешное дело

* [Жертва].

и что он не мог продлить со мной столь интересную и приятную для него беседу. Гр. Толстая, Александра Андреевна, писала мне, что я произвела отличное впечатление. Кн. Урусова [171] сказала, что ей Жуковский [188] говорил, будто государь нашел меня очень искренней, простой, симпатичной, и что не думал, что я еще так молода и красива. — Все это пища моему женскому тщеславию и месть за то, что мой собственный муж не только никогда не старался поднять меня общественно, но, напротив, всегда старался унизить. Никогда не могла понять, почему?— Дождь с утра, холод, ветер, сидим все дома. Сейчас иду давать 1-й летний урок музыки детям. Лева и Маша еще не возвращались. Но дома все хорошо; с Левочкой просто и дружно; дети все тихи и приятны.—Приехали дня три тому назад кумысники, но не прошлогодние, а мать с двумя сыновьями; тихие и бедные, повидимому. Левочка все говорит, что кумысу не хочется, и что он пить не будет; но желудок эти дни у него расстроен [189].

3 июня.

Вчера провел у нас день немец из Берлина, приезжал смотреть на Толстого и выпрашивать для своих немецких жидов—Левенфельда [190] и других какой-нибудь статьи Льва Николаевича для перевода. Сам купец, шерсть скупает по России, льстивый и неприятный, весь день испортил. Вечером говорили Левочка, сестра Таня и я об отвлеченных предметах. Левочка говорил, что есть поступки, которые невозможно ни за что сделать, и потому были мученики, христиане; они не могли возлить идольские жертвы, крестьянин не может выплюнуть причастие и т. д. Я стала говорить, что просто так, подобных поступков нельзя делать, но если для чего-нибудь, для спасенья или добра ближнему—то все можно. Он говорит: „ну, а убить ребенка". Я говорю: „этого нельзя, потому что хуже этого поступка не может быть, и для чего бы это ни нужно было — этого сделать нельзя, это хуже всего". — Ему это не понравилось, он начал возражать с страшным раздражением в голосе; начал хрипло кричать: ах, ах, ах,—меня взорвал этот тон, и я наговорила ему пропасть неприятного: что с ним нельзя говорить, это все его друзья давно решили, что он любит только проповедывать, а что я не могу говорить под звуки его злых

аханий, как не могла бы говорить под лай собаки... Это было слишком дурно с моей стороны, но я очень вспыльчива, и мне вдруг вспомнились его [1] отношения последних дней, я вспомнила из „Крейцеровой сонаты“ слова: период любовности, период пресыщения [41].

Сегодня все прошло; я ни за что не буду с ним жить брачно как можно долее; я не могу скоро забыть этого последнего времени с его результатом.—Была в Туле, говорила с нотариусом много о разделе, мне ненавистном. Заезжала к Раевской, обедала у Давыдовых. Вечером пришел Зиновьев (губернатор) с братом инженером [191].

У Левочки теперь две темы его крайних речей: опровергать наследственность и проповедывать вегетарианство. Третья тема его, но он о ней ничего не говорит, а, кажется, пишет—это опровержение церкви более, чем когда-либо.

Дети мои весь день гуляют, ездят верхом и где-то пропадают. Я с ними мало общаюсь, и мне это жаль.—Ваничка, Саша, Таня и две девочки Кузминские выходили нас с сестрой Таней встречать.—Приехал молодой Цингер [192]. Все холодно и не полетнему.

5 июня.

Теплый ясный день, лунная ночь. Духом очень не спокойна; я не удовлетворяюсь своей деятельностью, и все, что я делаю, мне кажется не настоящим, а нужно что-то еще, чего я не умею и не могу.—С утра читали с сестрой Таней вслух повесть Потапенко „Генеральская дочь“, которая нравится Левочке. После завтрака Лева, Таня и Маша с Верой—Кузминские начали говорить о путешествии по России; им очень хочется. Я сочувствовала, так как сама мало видела. Сестра Таня сердилась и говорила, что это „от пресыщения всякими благами“, что „с жиру бесятся“. Потом молодежь уехала к Зиновьевым, а я пошла с Левочкой по деревне, к сапожнику и проведать больного Тимофея Фоканова [193]. Мне иногда так хочется общения с Левочкой, поговорить с ним, сойтись не телом мерзким, а душой.—Но с ним это невозможно теперь. Он и всегда был суров, а теперь беспрестанно, как сегодня вечером, натыкаешься на что-нибудь уже наболевшее давно. Стали говорить о путешествии детей, он стал доказывать, что эти желания их от

излишества, от дурного воспитания, и начались пререкания о том, кто в этом воспитании виноват? Я говорила, что то, как повели его сначала и какой дали ход жизни всей семье. Он говорил, что 12 лет тому назад он переменился, и я должна была перемениться и остальных детей воспитывать по его новым убеждениям. Я на это сказала, что я никогда одна не могла бы и не сумела бы, а что он много говорил и целыми годами писал, но сам детей не только не воспитывал, а часто забывал о их существовании.

Но кончилось все благополучно и расстались мы дружелюбно. Лева и Андрюша уехали верхом в Пирогово. Сейчас кончила корректуру еще одного листа „Крейцеровой сонаты". 2-й час ночи.

6 июня.

Была в Туле с Сашей, Ваней, Мишей, няней и Лидией. Последней нужен был паспорт, детей меньших я фотографировала, а сама хлопотала по делам раздела. Какое сложное, трудное и тяжелое дело и в принципе и на практике [194]. Огорчилась я очень, что два тысячных билета два года тому назад вышли в тираж и пролежали без процентов.

Купалась вечером в первый раз с Таней, Машей и Машей Кузминской. Лева и Андрюша вернулись в 11 часов ночи из Пирогова. День жарко, ночь свежо. Думала очень о смерти и ясно ее представила. У нас Петя Раевский, кончил сегодня гимназический курс, очень счастлив, и Александр Васильевич Цингер.

7 июня.

Миша Кузминский болен, похоже на дифтерит, и у меня камень на сердце: страшно и за него и за всех других детей. Сестра Таня отгоняет от себя мысли об опасности, а я не могу этого делать. И когда приходит горе, она, не приготовленная к нему, впадает в крайнее отчаяние. Послали за доктором Рудневым,

Левочка был в Туле, хотел проведать по просьбе одного темного, сожительницу этого господина, мне неизвестного, последователя Левочки по фамилии Дудченко [195]; она едет по этапу с места, откуда ее выслали, в Тверь. Ей предлагали ехать на свой счет, на воле, а она не захотела, и едет с аре-

стантами. Что это? фанфаронство, щегольство своими идеями, или убеждение? Не берусь решать, не видав. Девушки этой не оказалось в Туле, и Левочка, повидимому, был рад, что долг исполнил, а ее не видал. Он еще ходил на бойню быков и рассказывал нам с большим волнением, какое это ужасное зрелище, как быки боятся, когда их ведут и как с них дерут уже с головы кожу, когда они еще дергают ногами и не издохли. Поистине это ужасно, но и всякая смерть ужасна! Приехала сестра Левочки, Марья Николаевна [196]. Только и говорит, что о монастырях, отце Амвросие [197], Иоанне Кронштадтском [198], о действии того или иного образочка, о священниках и монашенках, а сама любит и хорошо поесть и посердиться, и любви у ней нет ни к кому. Вечером купались, жара страшная днем. Обстригла Ваничку, нечаянно пырнула ему в головку ножницами. Брызнула кровь, он очень плакал. Я говорю: „прости маму, мама нечаянно.“ Он все плачет. Я говорю: „на, побей меня.“ Он схватил мою руку и начал страстно целовать, а сам плачет. Какой миленький ребенок, боюсь, что жив не будет.

9 июня.

Троицын день. Ясный, жаркий, чудесный, красивый летний день, и такой же прелестный, теплый, лунный вечер. Сколько лет повторяется это обычное празднество! С утра, в катках дети с цветами, нарядные и торжественные, ездили к обедне [199] с сестрой Марьей Николаевной и с гувернером и гувернантками. Приехали, пили кофе обе семьи вместе на крокете, потом вели длинные разговоры. Таня моя говорила горячо и раздражительно о том, какие должны быть отношения между супругами. Потом все разбрелись: кто писать, кто купаться; Маша Кузминская ушла с приехавшим женихом, Эрдели. Славный он, добрый, симпатичный мальчик. Но мальчик! вот что страшно, ему 20 лет. Я взяла Ваничку и Митичку [200], после того как полежала и почитала, к себе в комнату и рассказывала им, лежа на постели, сказки. Их надо развивать. Потом услыхали мы пенье подходивших баб и пошли за этой нарядной пестрой толпой в Чепыж, где завивали венки. Есть что-то грустное, но трогательное в повторении одного и того же впечатления, как завиванье венков и бросанье их в воду, втече-

ние почти 30-летней моей летней жизни в Ясной Поляне. Уже три поколения почти выросло на моих глазах, и вот раз в год я вижу их вместе, и сегодня почувствовала нежность к этим людям, с которыми я прожила столько лет и для которых так мало сделала.

Обед был веселый, все чувствовали себя хорошо, потому что все вместе. Присутствие Машеньки и Леночки [201], как семейный элемент со стороны Толстых, был очень приятен, и присутствие Сережи мне всегда особенно радостно. Вчера был тут Илья, и вечером были опять разговоры о разделе. Все еще не решили и не знаем, как все разделить получше. То одна сторона, то другая чем-нибудь недовольна или чего-нибудь боится. Меня это расстраивает, а Левочка небрежно и неохотно ко всему этому относится. Он вообще удивительно безучастен ко всему. Вчера и сегодня он шил себе башмаки; по утрам он пишет свою статью, питается очень дурно, ни молока, ни яиц, ни кумыса не пьет. Набивает желудок хлебом, грибным супом и кофе, ржаным или же цикорным. Приготовил себе лопату и хочет копать землю под пшеницу, вместо пахоты. Еще новое безумие—надрываться над вскапыванием сухой и крепкой, как камень, земли. Сережа играет на фортепиано, сестра Машенька его слушает и сочувствует ему, я тоже с большим наслаждением слушаю. Мы ездили купаться, а Левочка куда-то ушел. Сегодня я думала о нем: мне радостно было бы видеть его здоровым—он портит себе желудок самой вредной (по словам доктора) едой. Мне радостно было бы видеть его художником—он пишет проповеди под видом статей. Мне радостно было бы видеть его нежным, участливым, дружным,—а он грубо чувствен и помимо этого равнодушен. Теперь еще это копанье земли, что-то фатальное в этой новой фантазии. И жара какая! Много он дергал и продолжает дергать меня за сердце своей беспокойной фантазерской натурой.

12 июня.

Три дня не писала. В понедельник, в Духов день, у нас была неприятная история. Утром уезжал Эрдели, Маша ехала его провожать до Ясенков. Мне нужно было заслать за бумагами к священнику, метрические свидетельства детей для раз-

дела. Кто-то говорит, что Маша едет провожать жениха до Тулы. Я говорю: не может быть. Но спрашиваю Машу ввиду того, что если она едет до Тулы, я пошлю кучера к священнику, если же вернется, то не стану ее беспокоить, ей и так грустно будет, проводив жениха. Приходит Маша. Я спрашиваю: „Ты до Тулы едешь?" Она говорит: „Нет, нет, не еду". А сама поехала. Подали катки, я спрашиваю Бергера, не едет ли кто мимо Козловки, мне надо послать телеграмму. Филипп [202] на это говорит, что Марья Александровна приказала за ними приехать к дачному поезду. Меня рассердило и то, что она мне сказала не то, что сделала, и ее приказание. Но оказалось, что она совсем не то приказала, а просила прислать, если можно, свою же лошадь. Ответ же свой мне она не помнит, да и где ей было замечать, когда она расставалась с женихом. Я очень люблю ее и приняла все к сердцу. На это еще заставили меня и Машеньку ждать на катках Саня и Вася, и когда пришла Таня сестра, я ей очень раздражительно нажаловалась на ее детей. Она переспросила, я сказала, что не понимаю зачем Маша мне налгала, тогда Таня вскочила с катков, схватила Митю и ушла. Мне стало еще больнее, слезы хлынули из глаз, я взяла Ваню и тоже встала, но пожалела его и поехала. Но встал и Лева, встала Машенька и вышла целая история. Главное же, что ее разразило, было замечание Левы, что я не в духе. Я обиделась, тем более что все утро усиленно работала над корректурой и делами, болела голова и шла носом кровь. Потом мы помирились, но боль осталась. Вечером приехала М. И. Зиновьева с дочерьми и весь вечер все пели, было очень приятно.

Вчера пришли темные (последователи Левочки) Хохлов [203] и Алехин [204], ученый химик, был при университете оставлен, а теперь надел рубаху и пошел ходить по собратам по вере. Те же странники, под другим соусом. Странничество в характере русского человека. А жаль, 10 лет работал при университете и теперь все пропадет. Хохлов—техник, молодой и какой то недоконченный. Оба молчаливы и мрачны, как все эти последователи. Мясо не едят, в плохой мужицкой одежде. Не пойму этого ученого. Не может же он не понимать, что жизнь в странствовании и приживании при других людях, не есть

настоящая жизнь. Левочка всегда говорит, что они работают. А я не видала и не слыхала никогда, чтоб они серьезно работали, всегда сидят потупя нос и молчат.

Сегодня была в Туле, Машеньку сестру [196] отвезла, получила деньги, поместила их, была у нотариуса, у другого в Окружном суде, делала покупки и страшно устала. Обедала одна и одна ходила пешком купаться. Одиночество помогло разобраться мыслями в делах и жизни.

Вечер сидели все вместе и потом читали глупую русскую повесть в „Северном Вестнике".

Все спят. Андрюша, Миша и M. Borel рано утром уедут к Илье.

13 июня 1891.

В 4 часа утра встала, проводила детей к Илье. Было ясно и холодно. Потом легла, долго не могла заснуть. Утром Левочка объявил, что идет со своими т е м н ы м и пешком к Буткевичу [205], верст за 40. Хотя мне и страшно за его усталость и неприятно это общение, но я вижу, что на него нашло беспокойство, и что если не одно, то выдумает другое, наверное что-нибудь дикое, но для разнообразия. Надели все трое мешки через плечи с вещами и пошли по палящему солнцу. Ночи очень холодные, а дни сухо-жаркие. Очень тяжело слышать со всех сторон жалобы на сушь и будущий голод. И не поймешь, как просуществует нынешний год почти весь русский народ. Местами ровно ничего и не взошло, пришлось перепахивать землю. В Ясной Поляне еще порядочно, а то вовсе есть страны без хлеба для себя и для скота.

После обеда убирала я все в доме, углы набитые сором выгребала с Фомичем и Никитой; а потом позвала Ивана Александровича и садовника, и мы пошли втроем считать яблоки, сколько приблизительно мер на яблоне и сколько яблонь. Так до вечера провозились. Завтра опять буду делать то же.

Вечером собрались на террасе, пили чай, зябли и Маша с ужасом рассказывала, какой на дворне разврат, как мальчик Филька убегает от работников и Маша его оттого отдает в сапожники в Тулу. Мне было больно, что Маша и девочки знают про такой разврат, но при Машиной жизни иначе быть не может. Она все с народом, а там только это и услышишь.

Пришел Лева, Иван Александрович, приехал Миша Кузминский от Лодыженских [206] и переменили разговор. Теперь все спят и я иду читать. Без Андрюши и Миши скучно, и за Левочку и за них страшно.

14 июня.

Провела хороший, деятельный день, хотя не спала всю прошлую ночь. С утра читала русские повести в журнале. Потом многое в доме убирала и приводила в порядок и чистоту. Не знаю отчего, но всегда в отсутствие Левочки на меня находит страшная энергия деятельности. Потом ездили все купаться. До обеда читала немецкую корректуру биографии Левочки, присланную Левенфельдом [190]. После обеда взяла Сашу, Ваню, Митю Кузминских, Веру и нянек, и пошли все гулять через рожь, рвали васильки, на Черту в лес, собирали ночные фиалки, сидели, любовались вечером. Как было удивительно красиво, тихо, ясно и свежо! Потом я еще обошла весь сад, смотрела на посаженные мной дубки и елочки в саду. Вернувшись, поправляла русскую корректуру 2-й Книги для Чтения [207], писала письма, пила чай с Таней вдвоем, молодежь ездила на Козловку. Филипп ездил в Крапивну [208] в Опеку для указа, чтоб меня назначили опекуншей над 4 малолетними [161] для раздела. Он видел в 5 часов вечера идущего Левочку в 3 верстах от Крапивны. Слава Богу, он благополучен. От детей тоже известия. 2 часа ночи, иду спать. Очень холодные ночи.

15 июня.

Была в Туле с Машей, дочерью. Я — по делам раздела, Маша — помещать мальчика Фильку в сапожники, что она и исполнила. Мои же дела все стали по случаю того, что Маша не хочет брать своей части из раздела. Я ясно вижу, что она бедная, ни в чем себе не отдает отчета, и не может даже ясно себе представить, что значит остаться без гроша после такой жизни. Действует же она по гипнотизму, а не по убеждению. Она ждет отца, чтобы спросить его совета, так как во всяком случае ей надо признать попечительство и подписать несколько бумаг.

Вечером были разговоры о мертвых, об умирании; о предчувствиях, снах, вообще, действующих на воображение. Ме-

шала приехавшая барыня, жена доктора Кудрявцева, из Кавказа. Она хотела видеть Левочку и ей не удалось. Потом приехал Миша Кузминский и рассказывал очень интересно про сумасшедшую. Дело в том, что сегодня в ночь из павильона [209] пропали разные Танины вещи. По разным данным узнали, что утащила все сумасшедшая сестра Митиной кормилицы. Вот Миша поехал с кормилицей к этой сумасшедшей и осторожно выспрашивал, куда она все девала? Оригинальны были их похождения. Мало-по-малу она все показала: альбом спрятала под кустик в Ясенках; рабочий ящичек с вещами и ключами зарыла на кладбище около церкви и обложила камушками; 2 полотенца и рубашечку спрятала под мост; свой сарафан и мужнины портки затоптала в грязь, в канавку; и чернильницу серебряную, старинную на цепи повесила на дерево в саду, в Телятинках. И все она помнила, и все понемногу собрали, кроме чернильницы, которую по случаю темноты уже не нашли и не успели взять. Сегодня вечером шел дождь и стало теплей. Но мало было дождя, дай бог больше.

16 июня.

Весь день шел дождь и была гроза, все повеселело в природе и народе. Левочка вернулся от Буткевичей что-то не веселый и молчаливый. Маша, моя дочь, узнает ужасные вещи в деревне, в среде работников и крестьянских девок, всем этим испачкается морально, поражается, огорчается и приносит на себе, рассказывая нам эту моральную грязь, домой. Всю жизнь спасалась я от этих впечатлений, и теперь меня всю тошнит нравственно, когда я слышу из уст моей дочери, что Фильку надо отдать в Тулу в сапожники, потому что работники его раздевают и делают с ним, что хотят! Ведь это ужасающе! Я рассказала это Левочке; он на это сказал, что не отворачиваться надо, а помочь им выйти из этого грубого невежества. Помочь—да, ему, мне даже можно пытаться помогать, но ей, 20-летней, невинной девушке! Он ее втолкнул в эту грязную среду; пусть отвечает за нее богу и своей совести, а я, по своей натуре, не могу, я умру, задохнусь в этой среде, если сунусь туда, и на Маше вижу, до какой степени

навязано ей то, от чего всякая девушка должна с ужасом шарахнуться и никогда больше не возвращаться.

Целый день обивала ширмы и мебель в комнате Саши и Лидии. У меня иногда потребность работы физической. Теперь надолго удовлетворилась. Гроза и женские обстоятельства подействовали на меня нравственно удручающе; ночь провела в ужасном возбуждении всего организма.

18 июня.

Рожденье Саши [53], ей 7 лет. Утром сделала ей подарки, потом мы поехали с ней, Ваней и Васей Кузминским в Ясенки, где встретили возвратившихся от Илюши, Андрюшу, Мишу и M. Borel'a. Ехали весело, дети рассказывали как все прекрасно у Ильи, как было весело. Потом я переводила с английского предисловие к книге о вегетарианстве, очень трудилась и подвинула работу. К обеду вернулась из Тулы Маша, привезла мне разные бумаги от нотариуса, с которыми сидела после обеда более часа.

Вечером перетаскали посуду, самовар, угощения, ягоды в Чепыж, собрали все общество, развели костер и делали пикник, как говорят дети. Девочки пытались, было, играть в игры, но было не очень оживлено. Когда уже стало темнеть, прибежали две женщины из дома Кузминских и говорят, что бык остервенел и бежит на нас, в Чепыж. Мы собрали мгновенно все вещи и поспешили домой. Действительно, бык бегал и гнался за скотником, которого чуть, было, не забодал. Меня только тревожило то, что Левочки не было дома, он ушел купаться. Но он скоро вернулся, оделся в халат и объявил, что он не здоров: знобит и боль под ложкой. Я это ждала; он последнее время питался отвратительно: ел почти что один хлеб, набивал им желудок, несмотря на предостережение доктора, что это самое вредное. Яиц не ел совсем, пил много ржаного кофе, да еще сходил, согнутый, с сдавленным желудком, под тяжестью мешка—верст сто взад и вперед, к Буткевичу. Я не видала человека более упорного в своих диких фантазиях. Например, из духа противоречия мне, он не пьет совсем кумыс, и не говорит причины. Как досадно видеть со стороны, как человек себя губит. Таня, дочь, утром неприятно

и зло говорила о воспитании моем детей, а вечером зло стреляла во всех по поводу того, как губят лошадей. Благодаря бога я оба раза отмолчалась.

Вчера вечером все ездили к Зиновьевым, Левочка ходил гулять, а я весь вечер сидела одна и читала „Vie Eternelle", которую, было, оставила. Определение б о г а мне не понравилось, что-то есть в нем материальное: Dieu est la vie eternelle et universelle dans l'infini du temps et dans l'infini de l'espace; dans tous les siècles comme dans chaque instant; dans tous les mondes, comme dans chaque atome *. Это бог—как существующий элемент, а где же бог—любовь, добро, дух, тот бог, которому я молюсь?

Лева что-то пишет, а Маша Кузминская ему переписывает. Интересно бы узнать, что и как, да боюсь расстроить ему ход работы, если попрошу прочесть или скажу что-либо об этом.

29 и ю н я.

Жили ровно, благополучно, без гостей, без событий, без радости и горя. Только похворали меньшие дети жаром на одни сутки каждый. Сегодня приехал Репин [210] и Кузминский. После завтрака я взяла Сашу и Ваню гулять, няня у матери была в Судакове [211], а Лидия усталая дома оставалась. Репин тоже пошел с нами. В посадке мы сели отдыхать, а Репин начал рисовать нашу группу в альбоме, карандашом. Не похоже, но довольно картинно [212]. Чудесный был день, ясный, цветов так много, ягоды еще дети собирали, а у нас были интересные разговоры; Репин, видно, разбитый жизнью человек.

Таня уехала с Леночкой к Сереже ко дню его рождения [83] и, верно, завтра вернется.

Репин будет делать рисунки и хочет нарисовать Левочку в его писательской обстановке.

Во вторник ждем Александру Андреевну [63].

---

* [Бог—это вечная и всеобщая жизнь в бесконечности времени и бесконечности пространства,—во все века так же, как в каждом мгновении, во всех мирах так же, как в каждом атоме].

16 июля 1891.

Александра Андреевна была и уехала в Царское [213], куда поспешила по случаю болезни слепой сестры своей, Софьи [145]. Как всегда, она с собой внесла радостный, ласковый и всем интересующийся свой характер. Но она придворная до мозга костей. Она любит и двор, и царя, и всю царскую фамилию, во-первых, потому, что она готова всех любить, а во-вторых, что все они царские, а она признает православие и помазанников.

После ее отъезда я на другой день уехала в Москву заказывать 20000 XIII части [98] к прежним изданиям; ее было только 3000 и все разошлись очень быстро. Пришлось очень утомляться, чтоб найти бумагу готовую, чтоб найти типографию, которая взялась бы сделать в 2 недели. Еще покупала приданое Маше Кузминской, заказывала серебро. Со мной была Вера Кузминская, останавливались мы у Дьякова, живущего в нашем доме. Была на французской выставке с Верой, хотела видеть картины, но видела мало, так как был вечер и закрыли; скучала ужасно, на баллоне не полетела, пожалела 5 рублей.

Левочка написал мне в Москву, что он желает отдать XII и XIII части публике, кто хочет, тот и печатай. Но, с одной стороны, мне жаль тех денег, которых лишится моя семья; с другой, зная, что все статьи разрешены цензурой только при полном собрании сочинений, было бы подло разрешить их публике, вводя их в убыток и заблуждение. Огорчать же Левочку больнее всего мне стало, и я вчера сказала ему, что пусть печатает и делает, что хочет, я протестовать и упрекать не буду. С тех пор он молчит и ничего не предпринимает [214].

Гостей эти дни пропасть. Репин уехал сегодня, окончив бюст, картину небольшую, изображающую Левочку пишущим в своем кабинете, и начав большую, во весь рост, которую кончит дома. Он изображен в лесу, босой, руки за пояс [215].

Гинсбург [216] лепит большой бюст, очень неудачный и сделал маленькую фигурку, тоже пишущим за столом—недурно.

Были еще у нас Варя Нагорнова [36], Вера и Варя Толстые [217], Зиновьевы, теперь тут Helbig [218], брат с сестрой, и я сегодня с молодым Helbig'ом делала фотографии бюста Репина и Ваню с Митей—не очень удачно.

От Левы с пути в Самару было два письма, довольно вялые. Сережа тоже поехал в Самару по моим делам. Третьего дня был нотариус Белобородов [219] с бумагами, дело раздела подвигается. Был еще Фигнер [220] в воскресенье вечером и немного пел, но не очень хорошо.

Левочка не весел, говорили сегодня, что он сказал, будто не поедет в Москву. Не знаю, что буду делать, не знаю, как что решать, сердце разрывается часто от тревоги, сомнений, от страшной ответственности решать в ту или другую сторону. А как воспитывать мальчиков в деревне? Я совсем не знаю и не вижу возможности. А Лева, который бросит университет, если опять останется один! А Таня, которой замуж больше шансов в Москве; и потом—Левочка, которому так тяжело жить в городе.—Всегда жду от бога того толчка, который в данный момент заставит меня поступить так или иначе.

Все время жара, сухо ужасно, ночи свежие, а голод, голод самый ужасающий, слышно со всех сторон, и нет часа, когда бы я об этом не вспомнила. И безвыходность мне кажется в этом отношении, крайняя.

Левочкино здоровье не совсем хорошо: вчера он ел зеленый горох и арбуз в таком количестве, что я пришла в ужас. Ночью поплатился расстройством желудка. Кумыс так и не пьет и не пил.

Второй вечер хожу гулять с Ваней и Сашей; вчера ходили в овраг Заказа, сегодня на колодезь около срубленной посадки. Ваня любит заставлять работать воображение и представлять себе, что страшно, что волки тут, что вода в колодце особенная.

Гинсбург делает бюст очень дурно.

21 июля.

Я должна написать всю ту нелепую, неправдоподобную и печальную историю своего сегодняшнего дня. Не знаю я, что именно нелепо: я сама, или те положения, в которых приходится бывать. Но как я разбита, измучена душой и телом!

Сегодня перед обедом мне Левочка говорит, что он пишет письмо в несколько газет, в котором он отказывается от прав на свои последние сочинения. Когда он в прошлый раз заговорил об этом, я решилась кротко это перенести, и так бы

и сделала.—Но прошло несколько дней—и он опять заговорил об этом. На этот раз я не подготовилась, а первое чувство было опять дурное, т.-е. я прямо почувствовала всю несправедливость этого поступка относительно семьи, и почувствовала в первый раз, что протест этот есть новое опубликование своего несогласия с женой и семьей. Это больше всего меня встревожило. Мы наговорили друг другу много неприятного. Я упрекала его в жажде к славе, в тщеславии, он кричал, что мне нужны рубли, и что более глупой и жадной женщины он не встречал. Говорила я ему, как он меня всю жизнь унижал, потому что не привык иметь дело с порядочными женщинами; он упрекал мне, что на те деньги, которые я получаю, я только порчу детей... Наконец, он начал мне кричать: „уйди, уйди!"— Я и ушла. И пошла садом, не зная, что я буду делать. Сторож видел, что я плачу, и мне стало стыдно. Так я вышла в яблочный сад. Там села в ямку и подписала все объявления карандашом, который был в кармане. Потом написала в записной книжечке своей, что я убиваюсь на Козловке, потому что меня измучил разлад в жизни со Львом Николаевичем, что я не в силах больше р е ш а т ь все одна в семейных вопросах, и что потому ухожу из жизни.

Я помню, как в молодости после ссоры я всегда хотела убить себя, но чувствовала, что не могу, а сегодня я бы это сделала,—но меня спас случай. Я бежала на Козловку в совершенном умопомешательстве. Почему то я все о Леве вспоминала, и думала, что если сейчас встречу телеграмму или письмо, что Левы почему-нибудь нет, то это ускорит мое решение.— Когда я добежала почти до мостика у большого оврага, я легла отдохнуть. Стало смеркаться, но мне жутко не было. Странно, что теперь мне главное казалось с т ы д н о вернуться домой и не исполнить своего намерения. И так тупо спокойно я шла к своей цели, с такой страшной физической головной болью, все было в тисках. Когда я хотела идти дальше, вижу со стороны Козловки идет кто-то, вижу блузу. Я обрадовалась, думала Левочка, и мы помиримся. Оказалось, что Ал. Мих. Кузминский. Мне стало досадно, что он помешал моему намерению, я чувствовала. что он не отстанет от меня. Он очень удивился, увидав меня одну и понял, что я расстроена по моему

лицу. Я никак не ожидала его видеть и все уговаривала его итти домой и оставить меня. Я уверяла его; что сейчас приду. Но он не уходил и все уговаривал меня итти с собой, указывая на толпу, идущую по ту сторону, и говорил, что меня испугают, что бог знает кто тут бродит.

Потом он прибавил, что хотел итти кругом, через Воронку и Горелую Поляну, но что на него напали летучие муравьи, пришлось бежать в чащу, раздеваться, и вот он промешкал и решил возвращаться той же дорогой.—Я видела, что бог не хотел моего греха, я покорилась поневоле и пошла за Кузминским.—Но мне не хотелось итти домой, и я пошла одна Заказом, купаться. Я думала—это еще исход, можно и утопиться. Та же тупость, отчаяние и желание уйти из этой жизни с непосильными задачами—меня преследовали. В лесу было совсем темно, я стала уже подходить к оврагу, как вдруг какой-то зверь—не знаю, я близорука и ничего не вижу вдаль * собака, лисица или волк, скоком налетел на меня с намерением перебежать дорогу. Я крикнула во всю мочь. Зверь быстро свернул в лес, и также вскачь помчался по лесу, шурша листьями. Тут храбрость меня оставила, я вернулась домой и пошла к Ваничке. Он лег уже спать, стал меня ласкать и все приговаривал: „мама моя, моя мама!“ Я помню, когда, бывало, я приду к детям после такого настроения, мне дети давали снова смысл жизни, а сегодня, к ужасу своему, я заметила, что, напротив, отчаяние мое стало хуже, и дети подействовали грустно, безнадежно как-то.

Потом я легла, сначала в свою постель, потом меня взяло беспокойство об ушедшем Левочке и я легла на воздухе, в гамаке, прислушиваясь, не возвратился ли он. Все понемногу собрались на террасе, вернулся и Левочка. Все болтали, кричали, смеялись. Левочка был оживлен как ни в чем не бывало; требования его разума, во имя идеи, не затронули его сердца, да и ** никак. Боль, которую он мне нанес, он столько уж раз мне наносил! О том, что я так близка была к самоубийству—он никогда не узнает; а узнает, то не поверит.

---

* Слова: „я близорука и ничего не вижу вдаль“ приписаны другими чернилами.

** Слова: „сердца, да и“ надписаны над строкой другими чернилами.

В гамаке я заснула от этого страшного утомления нравственного и физического. Маша искала что-то со свечой и разбудила меня. Я пошла пить чай. Когда все собрались, читали вслух: „Странный человек“ Лермонтова [221]. Когда разошлись и уехал и Гинсбург, Левочка подошел ко мне, поцеловал меня и сказал что-то примирительное. Я просила его напечатать свое заявление и не говорить больше об этом. Он сказал, что не напечатает [222], пока я не п о й м у, что так надо. Я сказала, что лгать не умею и не буду, а п о н я т ь не могу. Сегодняшнее мое состояние меня подвинуло к смерти: что-то надломилось серьезно, по старчески, сурово, мрачно. „Пусть бьют! лишь бы добили скорей“. Вот что думается.

И опять, и опять та же „Крейцерова соната“ преследует меня: период пресыщения наступил [18]. Сегодня я опять объявила ему, что [29], больше жить с ним как жена—не буду. Он уверял, что только этого и желает, и я не поверила ему.

Теперь он спит, а я не могу идти к нему. Завтра именины Маши Кузминской и дети, под моим руководством, готовят шараду. Дай бог не помешать им и не расстроить никого.

23 и ю л я.

То, что надломилось всей последней неприятностью, не пройдет никогда [18]. Два раза я ходила сказать ему, что прошу его напечатать свое заявление об отказе от права собственности своих произведений последних годов. Пусть публично заявляет о том несогласии, которое существует в семье, я не боюсь никого, и у меня только дело с моей совестью. Те деньги, которые я получаю с его книг, я всецело трачу на его же детей; только я регулирую расходы из м о и х рук, тогда как дети, если б все было в их руках, тратили бы бестолково и несправедливо. Теперь у меня одно чувство: снять с себя еще одно, взваленное на меня нарекание, еще одну навязанную мне вину. Столько уж на моих плечах: раздел, навязанный мне против моей воли, воспитание мальчиков, с которыми придется переехать в Москву,—все дела книжные, хозяйственные, и вся ответственность нравственная за свою семью. Эти два дня у меня чувство, что я вся согнулась под тяжестью жизни, и если б не летучие муравьи, напавшие на Кузминского,

и заставившие его вернуться именно этой дорогой, меня не было бы, быть может, уж на свете. Я никогда так спокойно и решительно не шла к этому решению.

И несмотря на этот камень на сердце, вчера я руководила всей шарадой детей. Играли кол-ода = колода. Участвовали Миша, Саня, Вася Кузминские, Борис Нагорнов [223], Андрюша и Миша. Саша появилась на минутку в виде ангела и из нее же была картина живая.

Играли все порядочно; я считаю, что подобные развлечения необходимы для развития мальчиков и для занятия их воображения. Оно не принесет вредного направления, удовлетворяясь этими развлечениями. Кроме родных и Эрдели, были барышни Зиновьевы и вся прислуга, башкиры, кучера, вся дворня. Успех был большой и все остались довольны. Когда все кончилось, я просто качалась от утомления, а камень на сердце все лежал и теперь лежит.

Вчера решили, что свадьба Маши Кузминской будет в Ясной Поляне 25 августа. Я очень рада; это упрощает и удешевляет мне все это дело. Не нужно никому ехать в Петербург, и будет всем очень весело.

На дворе все очень сухо, ветрено и ночи холодные. Огороды, сады, листва на деревьях, цветы, луга—все посохло. Лева пишет из Самары, что и там так же.

Бюст Гинсбурга готов; он вышел довольно дурен. Но сам Гинсбург плебей низкой души [1] и я рада, что он уехал.

Мнение мое о Гинсбурге совершенно изменилось. Он хороший и честный человек.

С. Т. *

26 июля 1891 г.

Вчера умерла на деревне молодая бабенка, жена Петра, сына Филиппа кучера. Маша все ходила ее лечить и говорила, что больна горлом. Наконец, она объявила, что, по ее мнению, это дифтерит. Тогда я запретила ей ходить. Но если зараза попала—то поздно было запрещать. Очень жаль эту милую

* Слова: „Мнение мое о Гинсбурге совершенно изменилось. Он хороший и честный человек“—приписаны несомненно позднее, несколько другим почерком и другими чернилами.

бабенку, но очень досадно на Машу, что она рискует заразить две семьи с маленькими детьми. По ее рассказам это наверное дифтерит, и она с обычной ей хитростью скрывала это все время. Теперь у ней нервы расстроены, она жалуется и на горло, и видно струсила.—Ничего, ничего кроме горя, беспокойства, досады и жалости не возбуждает во мне эта дочь, посланная мне как крест.

Поправляла весь день корректуру Азбуки [224]. Ученый комитет не одобрил ее в виду разных слов, как: вши, блохи, чорт, клоп, и потому, что ошибки есть, и еще предлагал выкинуть рассказы: о лисе и блохах, о глупом мужике, и другие, на что Левочка не согласился.

У Вани, Мити, Васи и Левочки—насморк. Шел сильный дождь и была гроза. Теперь свежо. Левочка ездил вчера верхом в Тулу за доктором каким-то добродетельным; но последний оказался в Москве, а баба, для которой хлопотали, пока умерла.—Таня и Маша Кузминская уехали 24-го в Петербург шить кое-что к свадьбе.

27 июля 1891 г.*

Страшно собой недовольна. С утра меня разбудил Левочка страстными поцелуями... Потом я взяла французский роман „Un coeur de femme“ Bourget [225] и чатала до $11^1/_2$ часов в постели, чего никогда не делаю. Все это непростительное пьянство, которому я поддаюсь, и это в мои года! Мне грустно и совестно! Я чувствую себя грешной, несчастной, я не могу ничего сделать, хотя очень стараюсь. И все это вместо того, чтоб встать раньше, отправить башкиров, которые запоздают на железную дорогу, чтоб написать нотариусу и послать за бумагами, чтоб посмотреть, что делают дети. Саша и Ваня долго валялись у меня на постели, играли и смеялись. Я рассказала Ване сказку про Липунюшку [226], он был очень доволен. У Вани насморк, у Саши расстройство желудка. Потом я учила Мишу музыке, кротко и хорошо. Андрюша делает английский перевод и окончательно бросил музыку. У нас Соня Мамонова и Хохлов. Погода ясная и свежая.

---

* „1891 г.“ приписано другими чернилами.

Ах, какой странный человек мой муж! После того, как у нас была эта и с т о р и я, на другое утро он страстно объяснялся мне в любви и говорил, что я так завладела им, что он не мог никогда думать, что возможна такая привязанность. И все это ф и з и ч е с к о е, и вот та тайна нашего разлада. Его страстность завладевает и мной, а я н е х о ч у всем своим нравственным существом, и никогда не хотела э т о г о, я сантиментально мечтала и стремилась всю жизнь к отношениям идеальным, к общению всякому, но не т о м у. И жизнь прожита, и все хорошее почти убито, — идеал, во всяком случае, убит.

Роман Бурже меня завлек тем, что я прочла в нем ту мысль, то чувство, на которое сама была так способна. Женщина светская любит в одно и то же время двух: прежнего, благородного, любящего, прекрасного — почти мужа, хотя не признанного, и нового, красивого, тоже любящего ее. Я знаю, до какой степени возможна эта двойная любовь — и описано верно. Почему всегда одна любовь должна исключать другую? И почему нельзя любить, оставаясь честной?

29 июля.

Тут Страхов; как всегда, необыкновенно приятен и умен. Приезжал Базилевич [227] и приехала какая-то курсистка из Казани, расспрашивать Левочку о разных жизненных и отвлеченных вопросах.

Левочка не совсем здоров желудком, ночью его лихорадило. Таня в Пирогове. Идет дождь и скучно. Беспокоюсь о Леве и Сереже. Написала письма: Тане, Гинсбургу и самарскому приказчику.

12 августа.

Левочка поехал верхом в Пирогово. Тяжелая нравственная атмосфера в доме. Все натянуто от неопределенного положения дел. Левочка объявил сегодня Маше, что он остается здесь всю зиму и в Москву не поедет совсем, и потому отговаривал ее поступать на фельдшерские курсы, куда она уже хотела посылать прошение о поступлении. На Таню известие это подействовало, очевидно, также угнетающе, как на меня, но она молчит.

Мое же состояние души—ужасно! Что делать?

Вся энергия, все попытки воспитывать детей дома — все исчерпано. Я не могу больше! Я не знаю, как дальше быть, где учителей взять, будет ли Андрюша заниматься,—он спал умственно всю зиму. Не знаю, что будет делать Лева, и как я опять оставлю его. Не знаю, как проживу без Левочки и без девочек, и они без нас, если я уеду в Москву с мальчиками. Господи, научи меня! С другой стороны, перевезти Левочку в Москву,—он будет тосковать и сердиться. Все равно, жизнь наша врозь: я с детьми, он со своими идеями и своим эгоизмом,—что разорвано, того не починишь.

Надеюсь на бога, что когда придет момент решения, то бог научит меня.

Все стараюсь развлечься, а то вдруг наплыв опять желания самоубийства, прекратить всю эту двойственную жизнь и всю ответственность решений, — и вот сегодня четыре часа бегала с маленькой Сашей за грибами, а третьего дня ездила с Верой Кузминской [119], Андрюшей и Мишей в концерт Фигнеров. Было много знакомых, пели хорошо, и мне было весело.

От Левы было письмо из Астрахани, он поплывет по Каспийскому морю, но не попадет на Кавказ, в Пятигорск, как хотел, потому что на Военно-грузинской дороге провал каменный, и проезда до 10 сентября не будет. Я часто о нем беспокоюсь и грущу.

Пропасть яблоков, страшно много, и большое количество грибов: белых, осиновых, березовых. Сегодня принесли опёнки.

14 августа.

Была в Туле; Андрюша и Миша примеряли платья у портного, я получала деньги для уплаты долгов Никольского (2000), Маша Кузминская встречала жениха [159] и привезла его. Больна моя Маша, вся горит; лежит бледная и жалкая. Получила телеграмму от Левы—запрос, когда свадьба Маши? Сбегала на полчаса за рыжиками с Сашей и Ваничкой; но очень мокро от шедшего дождя. Вечер сидела с Машей, а потом говорили о браке, любви, женщинах.

Таня, сестра, говорит: „Непременно ступай в Москву и сиди там; поверь, что и муж и барышни скорёхонько соскучатся и приедут".

15 августа.

Чудесная погода; соблазнилась с детьми итти за грибами, и проходила 4 часа. Как было хорошо! Какой чудесный запах земли, как красивы рыжички мокрые во мху, мохнатые волвянки, крепенькие подберезнички; как успокоительна лесная тишина, как свежа росистая трава и ясное небо, и дети с веселыми лицами и полными корзинами грибов. Вот это я называю настоящим наслаждением! Получила письмо от Левы из Владикавказа и телеграмму из Кисловодска. Слава богу, хоть жив и цел. Маше лучше.

Вечером сидела у Кузминских с Таней, Машей и Ваничкой Эрдели. Говорили о супружеских отношениях, я им рассказывала, как я замуж выходила, и передо мной восстала вся моя прошедшая безотрадная довольно жизнь. Безотрадность эта особенно обнажилась теперь. Если в молодости жили любовной жизнью, то в зрелые годы надо жить дружеской жизнью. А что у нас? Вспышки страсти и продолжительный холод; опять страсность и опять холод. Иногда является потребность этой тихой, нежной, обоюдной ласковости и дружбы, думаешь, что это всегда не поздно, и всегда так хорошо, и сделаешь попытки сближения, простых отношений, участия, обоюдных интересов, и ничего, ничего, кроме сурово, брюзгливо смотрящих удивленно глаз, и безучастие, и холод, холод ужасающий. А отговорка, почему вдруг стали мы так далеки—одна: „я живу христианской жизнью, а ты ее не признаешь; ты портишь детей и т. д.“

Какая же христианская, когда нет любви ни крошечки ни к детям, ни ко мне, ни к кому решительно, кроме себя. А я—язычница, но я так люблю детей и, к несчастью, еще так люблю и его, холодного христианина, что теперь сердце разрывается от предстоящего вопроса: ехать, не ехать в Москву? Как сделать, чтоб всем было хорошо; потому что видит бог, что мне собственно тогда только хорошо, когда я могу видеть и устроить счастье вокруг себя.

20 августа 1894* [1891].

Приезжали два француза: ученый психолог Рише[228] с родственником, и привез их профессор Грот[229]. За Левочкой ездила Маша вчера в Пирогово, а сегодня она слегла, опять жар в 39 и 6. Вчера утром мы ездили на пикник в лес со всеми соседями; дождь несколько раз прерывал веселье детей и молодежи, и рано все разъехались. Левочка тих и дружелюбен и очень любовен. Очень интересно было слушать сегодня разговоры Левочки, Рише и Грота. Вечером я заговорила об отдаче детей в гимназию и переезде в Москву; Левочка сказал: „Ведь это дело решенное, что ж говорить?" Ничего не решенное, а все мучительные пока вопросы...

19 сентября 1891 г.

Как всегда бывает, когда жизнь полна событий, тогда нет времени писать дневник, а тут-то бы он и был интересен. Пересчитаю все события.

До 25 августа готовились весело к свадьбе Маши Кузминской. Закупали, делали фонари, украшения на лошадей, флаги и т. д. 25-го утром я благословила Ваничку Эрдели с братом Сашей[230] и повезла его в карете в церковь. Мы оба были растроганы. Мне жаль было этого юного, чистого, нежного мальчика, что он так рано берет на себя обязанности и что он так одинок. Машу благословили без меня. Говорят, что она очень плакала, и отец ее тоже. Потом был обряд, у меня все время были слезы в горле; и свое прошедшее переживала, и ее будущее, и возможность расстаться с Таней и даже Машей, которая всегда мне жалка и перед которой всегда чувствую себя виновной в недостаточной любви.

Потом мы обедали на месте крокета. Был ясный, чудесный теплый день; все были веселы, всем было легко и радостно: и своим, и родным, и соседям. Вечером играли в игры, танцовали, пели. Фигнер пел удивительно хорошо в этот вечер. Весь день я следила за Таней, за ее бывшими женихами, т.-е. людьми, сделавшими ей предложение, и за Стаховичем, за которого охотно отдала бы ее замуж. Он оценил бы и любил

* Цифру „1894" Софья Андреевна приписала другими чернилами и явно описалась. Должно быть „1891".

бы ее наверное. Разошлись поздно, а я сидела до рассвета с гостями, которые боялись ехать темнотой. Сидела и невестка моя Соня[67], и Таня, и Стахович, который говорил с Соней жестокие вещи о детях маленьких и тяжести их иметь. Левочка был болен два дня до свадьбы, но в этот день ему уже было лучше. Все мои 9 детей опять собрались, и я была очень счастлива и старательно отстраняла от себя всякие заботы и все вопросы. Ночь молодые провели каждый на старом месте: Маша с сестрой, Ваничка Эрдели с Левой. На другое утро все было по-старому, а к 6 часам вечера мы проводили молодых в Ясенки, и очень все плакали. Было холодно, дул ветер, на душе мрачно, и жизнь опять пошла по-старому, но приготовила еще новые волнения. До 29 числа я не поднимала вопроса о переезде в Москву. Но время шло, терять его некогда, и вот я 29-го, вечером, попросила у Левочки позволения пройтись с ним и спросила его, чтоб он мне дал свое решение насчет переезда в Москву и отдачи детей в гимназию. Я ему говорила, что знаю, до какой степени это тяжело ему, что я спрашиваю только, сколько времени из своей жизни он может пожертвовать мне и пожить со мной в Москве? Он говорит: „Я совсем не приеду в Москву". Тогда я сказала: „Ну, и прекрасно, тем и разрешается вопрос, и я в Москву тоже не поеду и детей не повезу, и буду опять искать учителей".—„Нет, я этого не хочу: ты непременно поезжай и отдай детей, потому что ты считаешь, что так надо и так лучше".—„Да, но ведь это развод, ведь ты ни меня, ни 5-х детей не увидишь всю зиму".—„Детей я и тут мало вижу, а ты будешь ко мне приезжать".—„Я? ни за что!" [80]

Мне приходило в голову сожаление, что я любила и принадлежала ему одному всю жизнь, что и теперь, когда меня отбрасывают, как уже изношенную вещь, я все еще привязана к нему и не могу его оставить.

Мои слезы его смутили. Если в нем есть хоть тень того психологического понимания, которое так сильно в книгах, то он должен был понять ту боль и ту силу отчаяния, которые были тогда во мне.

— „Мне жаль тебя,—сказал он,—я вижу, как ты страдаешь, и не знаю, как тебе помочь".— „А я знаю; я считаю безнрав-

ственным разорвать семью пополам, без всякой причины, я жертвую детьми, Левой и Андрюшей, их образованием и судьбой, и я остаюсь с тобой и дочерьми в деревне". — „Вот ты говоришь о жертве детей, ты будешь этим упрекать". — „Так что же делать, скажи, что делать?" — Он помолчал. — „Я не могу теперь, дай я подумаю до завтра".

Мы расстались на Грумонтском поле; он пошел к больному в Грумонт, я — домой. Какой непоправимый, глубокий надрез был сделан в моем сердце этим новым циничным, бессердечным выбрасыванием меня из своей жизни! — Стало смеркаться. Я шла дорогой и рыдала все время. Это были новые похороны моего счастья. — Ехали мужики и бабы и с удивлением посмотрели на меня. — Лесом итти было жутко. Дома было светло, пили чай, дети бросились ко мне.

На другой день Левочка спокойным голосом сказал мне: „Поезжай в Москву, вези детей, разумеется, я сделаю все, что ты хочешь". — Хочешь? мне стало дико это слово. Давно я ничего для себя не хочу, только их же счастья, радости, здоровья.

Вечером я уложила вещи детей, свои, собрала бумаги, и 1 сентября в воскресенье вечером я привезла мальчиков в Москву. Сомнение и страх, хорошо ли я это сделала, останутся навсегда. Но я думала сделать должное. Перед самым отъездом я услыхала от Левы страшную историю о падении М. К. с кормилицей Митички, и о том, что все это подробно известно моим мальчикам. Удар на удар. Отвращение, горе за сестру, боль за невинность моих мальчиков — все это переполнило мое сердце. Так и уехала, и так и жила в Москве с этой болью. — Но материяльные заботы, поддержка нравственная мальчикам на новом поприще — все это меня немного успокоило. Потом приехал Лева и рассказал мне об отчаянии сестры Тани и о том, как тяжело она вынесла это известие. — Мне так было уже давно горько, что я тупее уже отнеслась к этому, я прежде это почувствовала, и Таня огорчилась, что я холодно и не довольно сочувственно отнеслась к ней. Но это несправедливо. Уставшее отношение к делу не менее сочувственно, чем энергическое, горячее, которое может быть только непосредственно после того, как оно постигнет людей, и не может длиться две недели.

В Москву приехал и Лева. Он будет держать свой запоздалый экзамен с 1-го на 2-й курс. Лева слишком уж хорош. Он и деликатен, и чист, и талантлив, и добр с детьми. Сейчас же он принял участие в их уроках, в их жизни; повторял с Андрюшей уроки, внушал им нравственные вопросы, по поводу М. К. истории и ободрял их.

В Москве я прожила с ними две недели, кое-что покрасила, оклеила, перестроила в доме, обила мёбель, наладила жизнь детей и уехала. Остались там три сына, M. Borel, Алексей Митрофаныч и теперь Фомич[231].

Домой я приехала 15 утром. Левочка утром упрекнул мне, что я свезла детей в „омут". Опять обострился разговор, но скоро обошелся [16]. Ссор пока быть не могло.—Тане я высказала свое негодование на Мишу, и упомянула о возможности нашей разлуки на будущее лето. Лева меня так убеждал, что это необходимо для детей, но мне это было страшно тяжело; так же это подействовало на Таню. Она покраснела и сказала: „Довольно, Соня, ты мне все сердце растерзала!" —Вопрос этот оставлен до весны и до того, как Миша заявит себя до весны.— Потом мы с Левочкой переговорили о письме, которое он послал 16-го в газеты, об отказе своих прав на статьи, напечатанные в XII и XIII частях[222].—Все один и тот же источник всего в этом роде: тщеславие и желание новой и новой славы, чтоб как можно больше говорили о нем. И в этом меня никто не разубедит.

Письмо послано. К вечеру пришло письмо от Лескова[232] с вырезкой из газеты „Новое Время". Вырезка эта озаглавлена: „Л. Н. Толстой о голоде". Лесков, из письма Льва Николаевича к нему, дал напечатать то, что Левочка ему писал о голоде. Левочкино письмо нескладно, местами крайне, и во всяком случае не для печати.—Его взволновало, что его напечатали, он не спал ночь, и на другое утро говорит, что голод не дает ему покоя, что надо устроить народные столовые, куда могли бы приходить голодные питаться, что нужно приложить, главное, личный труд, что он надеется, что я дам денег (а сам только что снес на почту письмо с отречением от прав на XII и XIII том, чтоб не получать денег; вот и пойми его!), и что он едет немедленно в Пирогово, чтоб начать это дело и напеча-

тать о нем. Но писать и печатать, чего не испытал на деле — нельзя; и вот нужно, с помощью брата и тамошних помещиков устроить две, три столовые, чтоб о них напечатать.

Он сказал мне перед отъездом: „Но не думай, пожалуйста, что я это делаю для того, чтоб заговорили обо мне, а просто жить нельзя спокойно".

Да, если б он это сделал потому, что сердце кровью обливается от боли, при мысли о голодающих, я упала бы перед ним на колена и отдала бы многое. Но я не слыхала и не слышу его сердца. Пусть своим пером и умением расшевелит хоть сердца других!

Мы живем тихо, Таня, я, Маша, Вера, Вася, Ваня, Саша, Митя. Погода удивительная, ясная, тихая.—От мальчиков хорошие письма. Я рада уединению, отдыху; сосредоточилась на своей внутренней жизни, читаю, думаю, пишу и молюсь. Вчера еще я была обуреваема страстями, которые разбудил во мне муж; сегодня мне все ясно, свято, тихо и хорошо. Чистота и ясность—вот идеал.

21 сентября.

Получила письма от Левы и Миши. Вчера и сегодня ходила на дальнюю прогулку, вчера с Сашей, сегодня еще с Верой и Лидой. Красота этих дней поразительна. Тепло так, что в летних платьях жарко ходить. Сделала несколько букетов, написала в Москву детям письма, и рада жить в этой освежающей тишине, и отдохнуть душой и телом. Ничего не хочется делать. Прочла сразу всю книгу Rod'a „Les trois coeurs"[233]. Не хорошо и мрачно, хотя увлекательно. Читать серьезное не могу, слишком расшаталась морально и материяльно это время. Вчера написала длинный план повести, которую очень хотелось бы написать, да не сумею. — О Левочке и Тане ничего не знаю, и скучаю, особенно по Тане. Как странно, Левочка своим первым отказом ехать самому и уговариванием меня ехать в Москву и расстаться с ним на всю зиму—до такой степени надрубил мое чувство привязанности к нему, что мне теперь разлука с ним уже не так страшна, как казалась прежде. Да, надо привыкать. Когда он отживет совсем свою любовную жизнь со мной, он просто, цинично и безжалостно выбросит меня из своей

жизни. И это скоро будет. Надо беречь свое сердце от этого удара, и любить других, т.-е. детей своих больше мужа. Слава богу, их так много, и так многие из них хорошие.

Очень сокрушаюсь эти дни, что мои три сына[234] в Москве, а я так наслаждаюсь погодой, природой и тишиной. Но мы все выросли в городе, и пришло наше время отдыха.

8 октября 1891 г.

Я не выдержала и ездила в Москву за мальчиками. Случилось это так: с сестрой Таней после истории М. К. все было не совсем дружелюбно. Она требовала бо́льшей жалости и участия к ней, я же была строга к М. и сердилась, что М. развращал своими рассказами моих мальчиков. И вот я решилась проводить Таню до Москвы. У нас были все здоровы, и гостили Лиза Оболенская[35] с Машей[235]. 26 сентября мы поехали в отдельном, прицепленном для нас в Туле вагоне; нас провожал Зиновьев, и нам открыли царские комнаты. В Москве я поехала с Васей к тетушке Вере Александровне[31], и туда приехали с выставки веселые и оживленные мои три сына. Они ждали Таню[19], и Миша долго вглядывался и не узнавал меня. Наконец, закричал: мама! Мы провели все вместе очень хороший вечер; на другой день я побыла с ними, и в субботу, 28 я взяла детей и поехала с ними в Ясную. С нами поехали Лиза и Миша Олсуфьевы[236]. Это меня очень взволновало за Таню; и все дети, особенно девочки, были страшно взволнованы. Лева не поехал, он очень усердно занят своими лекциями и музыкой, и не хотел развлекаться. На другой день (воскресенье) приехали еще гости: Зиновьев и Давыдов с дочерьми[103] и Миша Стахович. Собрались те два Михаила, к которым обоим, как мне кажется, примеривалась Таня, думая о замужестве. Но, как я ни наблюдала, ни один не показал ей ничего особенного; только в их отношениях взаимных чувствовалось что-то враждебное, какой-то молчаливый поединок. В понедельник уже все уехали; у Андрюши сделался жар; а в среду я проводила Андрюшу и Мишу от Ясенков до Тулы, где Зиновьев их взял до Москвы на свое попечение. Из Тулы мы ехали опять до Ясенков с Машей и Сережей и обсуждали дела Таниного замужества.

Когда уехали опять дети, меня опять взяла тоска. Три ночи они спали около моей спальни, я их слышала, не тревожилась о них, а их отъезд навел на меня уныние. От Левочки ни участия, ни ласкового слова, душевного, настоящего—никогда нет. Все мои сердечные нервы так были измучены последнее время, что у меня сделалась одышка и невралгия в виске. Ночи я вовсе не спала. Не могла ни говорить, ни радоваться, ни заниматься делами—ничего. Я уходила куда-нибудь и плакала часами; плакала при каждом случае, оплáкивала еще вновь отжитый период своей жизни. И если меня спросили бы, где главный стержень моего горя, я сказала бы, что отсутствие всякой любви со стороны Левочки, который не только теперь меня совершенно игнорирует и только мучает, но который никогда не любил меня. Это видно во всем: в его равнодушии к семье, к детям, к нашим интересам, к их жизни и воспитанию. — Сейчас мы говорили о письмах, кто какие написал. Он начал пересчитывать свои — к темным. Я спросила где Попов[237], где Золотарев[238] и где Хохлов.—Первый отставной офицер восточного типа, вторые два молодые из купцов. Все считаются последователями Льва Николаевича.—„Попов у матери, она того желала. Хохлов в техническом учúлище, отец желал, Золотарев на юге, у старовера отца в каком-то заштатном городе, ему так тяжело!"

И о всяком было сказано, что им так тяжело жить при родителях, но так хотят родители". — Я спросила: „А где же не тяжело?" Я знаю, что Попов [5] нашел, что с прекрасной, доброй женой жить тяжело и разошелся с ней; он жил у Черткова, и Чертков его невыносил, там было тяжело, и он живет с матерью, и опять тяжело.—Знаю, что и Левочке со мной тяжело—вообще странные принципы, с которыми везде и со всеми тяжело. Было много общин этих толстовцев, и было так всем тяжело, что все распались [239].—Так и кончился неприятно наш разговор [240] и Левочка уехал на Козловку, а я опять почувствовала эту спазму в груди, опять слезы начали меня душить, но я скорей начала себя успокаивать. Нельзя мне ни болеть, ни падать духом. У меня столько дела и обязанностей! Или действовать и жить для семьи бодро, или—если не выдержу—совсем не жить.

Сейчас посмотрела на дневник предшествующий этому. Я писала тогда, когда Левочка с Таней ездили в Пирогово и дальше исследовать голодные местности.—В Пирогове Сережа, брат[61], встретил их очень недружелюбно, говорил, что они учить его приехали, что вы, мол, богаче меня, вы помогайте, а я сам нищий и т. п.—Тогда Левочка и Таня поехали к Бибиковым[241], переписали там голодающих; Таня осталась у Бибикова, а Левочка поехал дальше, к какой-то помещице и к Свечину[242]. У Бибикова и у помещицы мысль о столовых для голодающих была принята очень холодно. Ни у кого лишних денег нет, все своим заняты. У Свечина выразили больше сочувствия.

На 5 день Левочка и Таня вернулись, а 23 в день нашей свадьбы (29 лет), Левочка поехал уже с Машей в Епифанский уезд по железной дороге. Они остановились у Рафаила Алексеевича Писарева[243], и оттуда исследовали голодающие деревни. Туда же приехал Раевский, и обсуждали вопросы о столовых для голодающих. Левочка сейчас же решил, что он на всю зиму переселится к Раевскому[72] с двумя дочерьми и будет устраивать столовые и отдал на покупку картофеля и свеклы 100 руб., которые взял еще у меня дома.

Когда они приехали и объявили мне, что в Москву не поедут, а будут жить в степи, я пришла в ужас. Всю зиму врозь, да еще 30 верст от станции, Левочка с его припадками желудочной и кишечной боли, девочкам в этом уединении, а мне с вечным беспокойством о них.—Меня это до того поразило, едва один вопрос кое-как, с болью, разрешился; во имя того, чтоб Левочке не так трудно было жить в Москве, я согласилась на напечатание его заявления о XII и XIII томе сочинений, и опять новый вопрос, новое решение. Я заболела от этого.—С другой стороны, Лева написал, не зная еще о решении ехать к Раевскому,—чтоб мы все оставались в Ясной, — что мой приезд в Москву помешает им троим учиться, что я совсем не нужна.—Это был новый предлог моему горю.—29 лет жила я только для семьи; отреклась от всего, что составляет радость и полноту жизни всякого молодого существа, и стала никому не нужна.—Сколько я плакала все это время! Видно, я очень плоха; но какже я так много любила, а любовь считается хорошим чувством...

Вечером сегодня читала с Сашей, играла с ней и Ваничкой, рассказывала им картинки и истории. Днем сажали за Чепыжем 2.000 елочек, завтра будут сажать 4.000 берез. Еще я взяла Никиту и Митю и сажала в саду кое-что: сосны, ели, лиственницы, березы и зубчатые ольхи. Завтра буду еще сажать. — В Москву собираюсь 20-го. Страшно не хочется ехать! Не знаю, что будет делать Левочка и девочки, совсем не знаю.—Вопрос о столовых для меня сомнителен. Ходить будут здоровые и сильные, и свободные люди. Дети, роженицы, старики, бабы с малыми детьми—ходить не могут, а их то и надо кормить.

Когда Левочка не печатал еще своего заявления о праве всех на XII и XIII том, я хотела дать 2 000 на голодающих, предполагая где-нибудь, избрав местность, выдавать на бедные семьи по стольку-то в месяц пудов муки, хлеба или картофеля, на дом.—Теперь я ничего не знаю, что я буду делать. По чужой инициативе и с палками в колесах (заявление) действовать нельзя. Если дам денег, то на распоряжение Сережи, он секретарем Красного Креста в их местности. Его прямое дело служить делу голода, он свободен, честен и молод, и он там, на месте.

16 октября 1891 г.

Была в Туле, окончила раздел с Соколовой, женой священника[2], не знаю, утвердит ли старший нотариус. Еще хлопотала о нашем семейном разделе у нотариуса Белобородова. Все это крайне скучно и тяжело. Выпал с утра снег, ездила на розвальнях, парой, приехала, было 8 градусов мороза. У границы раскинуты шатры и стоят цыгане: дети, куры, поросята, штук 40 лошадей и толпа людей. Девочки пошли к ним, привести их в кухню флигеля. Вчера ночью Левочка отослал статью „О голоде“ в журнал Грота „Вопросы Философии и Психологии“ [246].— Сейчас Саша и Ваня вынимали жеребий: за Сашу — она сама, ей достался левый участок Бистрома; за Андрюшу и Мишу вынимал Ваничка. Мише достался Тучковский участок, а Андрюше правый Бистрома[111] и [112].

Ездила я к Сереже и Илье 13-го числа. Первый день провела с Соней, и вечером приехал Илья. Тяжелое они на меня произвели впечатление. Любви между ними мало, интересы низменные, хозяйство плохо. Илья имеет подавленный и несчаст-

ный вид, его очень жаль. Кто из них виноват, бог знает, но счастья у них мало. Хуже же всего—это маленький Николай[245]. Он прямо заброшен и заморен матерью: она дурная мать и не любящая—это бросается в глаза.—Анночка[246] удивительно мила. А Николай маленький умрет или будет урод, и это мне как камень на сердце.

Сережа весел, спокоен и хорош во всех отношениях. Я у него все осмотрела, так хотелось внести что-нибудь в его жизнь, чтоб ему было еще лучше. — Он занят службой земского начальника, и теперь секретарем Красного Креста. У него чисто, уютно; привычки порядочного человека, хотя все бедно и скромно. Дай бог ему силы подольше жить хорошо. Лева вдруг загорелся ехать в Самару по случаю голода. Его беспокойство меня смущает; опять метаться, бросать университет и с пустыми руками лететь на неизвестность—как деятельность.

Мне дирекция петербургских театров отказала в выдаче поспектакльной платы за „Плоды просвещения". Я очень злилась и на дирекцию и на Льва Николаевича, лишившего меня радости, отдать эти деньги на голодающих. Вчера написала министру двора Воронцову[247], прося его о выдаче этой платы, не знаю, что из этого выйдет.—Укладываемся, собираемся в Москву, скучно, нездоровится, во всем на свете и в семье чувствуется разлад. Народный голод лежит тяжелым гнетом на всем и на всех.

19 октября.

Полная апатия. Не еду, не укладываюсь, весь день рисовала Ване книжку.

Тут Петя Раевский, Попов (темный) и еще какой-то прохожий интеллигентный человек, идет от Сютаева [248]; мрачный, недовольный, разочарованный и больной.—Левочка странно эгоистично весел. Весел жизненно, телесно, а не духовно.

12 ноября 1891 г.

С 22 октября я в Москве с Андрюшей, Мишей, Сашей и Ваней. 26-го Левочка муж уехал с дочерьми в Данковский уезд, к Ивану Ивановичу Раевскому в имение Бегичевка [72], а 25-го

Лева сын уехал в Самарскую губернию в село Патровку.* У всех было одно на уме и на душе: помогать народному голоду. Долго мне не хотелось пускать их, долго мне страшно и тяжело было расставаться со всеми, но в душе я сама чувствовала, что это надо, и согласилась. Потом я им даже послала 500 рублей, прежде дав 250. Лева пока взял только 300 р. и в Красный Крест я дала 100 рублей. Все это так мало в сравнении с тем, сколько нужно! Приехав в Москву, я страшно затосковала. Нет слов выразить то страшное душевное состояние, которое я пережила. Здоровье расстроилось, я чувствовала себя близкой к самоубийству. Тут еще случилась смерть Дмитрия Алексеевича Дьякова[34]. В нем мы потеряли лучшего и старейшего друга Льва Николаевича. Я была почти уже при его агонии и при похоронах. Потом у меня заболели инфлуенцой все четверо детей. Одну ночь я лежала и не спала, и вдруг решила, что надо печатать воззвание к общественной благотворительности. Я вскочила утром, написала письмо в редакцию** „Русских Ведомостей“[249] и сейчас же свезла его. На другой день,

* Вместо слов: „в село Патровку“ раньше было написано: „к себе на хутор“. Другими чернилами Софья Андреевна переправила эти слова.

** После слов: „Приехав в Москву, я страшно...“, которыми кончается 64 лист 2-й книги дневника, вклеен лист почтовой бумаги, кругом исписанный рукою С. А. Толстой, следующего содержания:

Письмо в редакцию.

Благотворительность и денежные пожертвования в пользу голодающих так велики, что страшно приступать к этому вопросу. Но и бедствие народное оказывается гораздо бо́льшее, чем предполагали все. И вот еще и еще надо давать и еще и еще надо просить.

Вся семья моя разъехалась служить делу помощи бедствующему народу. Муж мой, граф Л. Н. Толстой, с двумя дочерьми находится в настоящее время в Данковском уезде с целью устроить наибольшее количество бесплатных столовых или „сиротских призрений“, как трогательно прозвал их народ. Два старших сына, служа при Красном Кресте, деятельно заняты помощью народу в Чернском уезде, и третий сын уехал в Самарскую губернию открывать, по мере возможности, столовые.

Принужденная оставаться в Москве с четырьмя малолетними детьми, я могу содействовать деятельности семьи моей лишь материальными средствами. Но их нужно так много! Отдельные лица в такой большой нужде—бессильны. А между тем каждый день, который проводишь в теплом доме, и каждый кусок, который съедаешь, служат невольным упреком, что в эту минуту кто-нибудь

воскресенье, оно было напечатано. И вдруг мне стало веселее, легче, я почувствовала себя здоровой, и со всех сторон посыпались пожертвования. Как сочувственно, как трогательно отозвалась публика к моему письму! Некоторые плачут, когда приносят

умирает с голоду. Мы все живущие здесь в роскоши и не могущие выносить вида даже малейших страданий собственных детей наших, неужели мы спокойно вынесли бы ужасающий вид притупленных или измученных матерей смотрящих на умирающих от голода и костенеющих от холода детей, на непитающихся вовсе стариков?

Но все это видела теперь семья моя. Вот что, между прочим, пишет мне моя дочь из Данковского уезда об устроенных местными помещиками на пожертвованные ими средства столовых: „Я была в двух. В одной, которая помещается в крошечной курной избе, вдова готовит на 25 человек. Когда я вошла, то за столом сидело пропасть детей и, чинно держа хлеб под ложкой, хлебали щи. Им дают щи, похлебку и иногда еще холодный свекольник. Тут же стояло несколько старух, которые дожидались своей очереди. Я с одной заговорила, и как только она стала рассказывать про свою жизнь, то заплакала, и все старухи заплакали. Они, бедные, только и живы этой столовой, дома у них н и ч е г о нет, и до обеда они голодают. Дают им есть два раза в день, и это обходится вместе с топливом от 95 коп. до 1 руб. 30 коп. в месяц на человека"...

Следовательно, за 13 рублей можно спасти от голода до нового хлеба — человека. Но их много, и средств помощи нужно бесконечно много. Но не будем останавливаться перед этим. Если мы, каждый из нас, прокормит одного двух, десять, сто человек, сколько кто в силах, уже совесть наша будет спокойнее. Бог даст, нам в нашей жизни не придется переживать еще такого года!

И вот решаюсь и я обратиться ко всем тем, кто хочет и может помочь, с просьбой способствовать материально деятельности семьи моей. Все пожертвования пойдут прямо, непосредственно на прокормление детей и стариков в устраиваемых мужем моим и детьми—столовых.

Пожертвования можно посылать или прямо на места назначения:

1) Гр. Татьяне Львовне Толстой, Рязанской губ. Данковского уезда, Чернявская почтовая станция, в Бегичевку Ив. Ив. Раевского.

2) Гр. Сергею Львовичу Толстому, Тульской губ. Чернского уезда, село Никольское-Вяземское.

3) Гр. Льву Львовичу Толстому, Самарской губ. Бузулукского уезда, в Патровское волостное правление.

4) Москва. Хамовнический переулок, 15. Гр. Софии Андреевне Толстой.

Не мне грешной благодарить всех тех, кто отзовется на слова мои, а тем несчастным, которых прокормят добрые души.

Гр. С. Толстая.

2 ноября 1891.

Покорно прошу редакции других газет перепечатать это письмо.

деньги. С 3 по 12 число мне прибыло 9.000 рублей денег. 1.273 рубля я отослала Левочке, 3.000 рублей вчера дала Писареву на закупку ржи и кукурузы; теперь жду от Сережи и Левы письма, что они скажут делать с деньгами. Все утро я принимаю пожертвования, вписываю в книги, говорю с публикой и это меня развлекает. Иногда вдруг руки опустятся и так хочется видеть и Левочку, и Таню, и даже Машу, хотя знаю, что Маше самой всегда веселей и радостней вне дома. Странно, когда мы вместе с Левочкой, его неласковость, отсутствие интереса к семье, все это такой холодной водой меня обдает, что думаешь: „чего же я хотела? зачем он тут?“ А когда врозь— только и мысли о нем. Это оттого, что я люблю в нем лучшее и большее, чем он в состоянии был дать.

Сегодня опять не спала от статей „Московских Ведомостей“ [250]. Статью Левочки: „Страшный вопрос“ [251], напечатанную в „Русских Ведомостях“ на этих днях, перетолковали по-своему. Объясняют ее с точки зрения „воспрянувшей вновь либеральной партии с политическими замыслами“, чуть ли не обвиняют в революционных намерениях. Этот намек на возможность только мысли о каком-либо движении, кроме движения на помощь народу, есть уже само по себе революционное движение самих „Московских Ведомостей“.

Они намекают слабоумным революционерам, что они м о г у т считать себя солидарными с Толстым и Соловьевым[252], и это, по моему, есть та искра, которая бросается в их кружок, и которая поможет им подняться духом.

Что за подлая, ужасная газета! И как все, что есть живого— враждебно к ней относится. Я уж думала писать министру, государю о том вреде, который она приносит, думала поехать в редакцию и пригрозить им; но, не посоветовавшись ни с кем, не решаюсь ничего делать.

Андрюша и Миша учатся в Поливановской гимназии, и Миша идет плохо, Андрюша средне. Мне их всегда жалко, хочется повеселить, рассеять, вообще у меня всегда стремление к баловству, и это дурно. Сегодня сели мы с детьми обедать; так эгоистична, жирна, сонна наша буржуазная городская жизнь без столкновения с народом, без помощи и участия к кому бы то ни было! И я даже есть не могла, так тоскливо стало и за

тех, кто сейчас умирает с голоду, и за себя с детьми, умирающими нравственно в этой обстановке, без всякой живой деятельности. А как быть?

От министра двора ответ получила. В виду моей благотворительной цели, он обещает проценты с спектакльного сбора „Плодов просвещения", и я уже писала об этом директору Всеволожскому.

16 февраля. Воскресенье. 1892 г.

Еще прошло три месяца, и необыкновенно скоро они прошли. Я опять одна, в Москве с Андрюшей, Мишей, Сашей и Ваничкой. Левочка с Таней и Машей приезжали два раза: первый раз от 30 ноября по 9 декабря. Второй раз от 30 декабря по 23 январь. Бывало много гостей, мы все рады были быть вместе, но еще тяжеле было разлучаться. Тогда я решилась сама ехать с Левочкой и Машей в Бегичевку, а Таню оставила в Москве с детьми.—В день нашего отъезда принесли нам статью „Московских Ведомостей" № 22-й, в которой перефразировали статью Левочки „О голоде", написанную для журнала „Вопросы Философии и Психологии", и, сопоставив ее с прокламацией, объявили Льва Николаевича революционером. Мы с Левочкой написали опровержение [253], которое он меня заставил подписать, и уехали.

Приехав в Тулу, мы застали Елену Павловну Раевскую [3], у которой остановились, больную, с страшной болью в ноге и лихорадкой. Она, бедная, никак не может поправиться со смерти мужа. Иван Иванович скончался 20 ноября от инфлуенцы в своем имении Бегичевке, во время пребывания наших там.

Из Тулы 24-го мы поехали по скучной Сызрано-Вяземской дороге на Клекотки. В вагоне у меня сделалось удушие и нервный припадок. Левочка все выходил, был суетлив, беспечен и молчалив. Погода была отвратительная: таяло, шел дождь, небо серое тяжело свисло, ветер дул страшный.—Мы поехали в двух санях: Маша, повар Раевских—старичок Федот, и Марья Кирилловна [254]; а в других, маленьких санках мы вдвоем с Левочкой. Было тесно, темно и жутко. Машу всю дорогу тошнило, а меня тревожило, что Левочка простудится от такого ветра.

Наконец доехали к ночи. Встретили нас в Бегичевке, в доме: Илья, Гастев [255], Персидская [256], Наташа Философова и Велич-

кина[257]. — Илья был в странном боязливом духе, все боялся привидения Ивана Ивановича Раевского. На другое утро он уехал, и мы остались с нашими помощницами.

Жили мы с Левочкой в одной комнате. Я взяла все письменные работы и уяснила, что могла в их делах. Потом я пошла смотреть столовые. Вошла в избу: в избе человек десять, при мне стали собираться еще до 48 человек. Все в лохмотьях, с худыми лицами, грустные. Войдут, перекрестятся, сядут. Два стола сдвинуты, длинные лавки. Чинно усаживаются. В решете нарезано множество кусков ржаного хлеба. Хозяйка обносит всех, все берут по куску. Потом она ставит большую чашку щей на стол. Щи без мяса, слегка приправлены постным маслом. К одной стороне сидели все мальчики. Эти были веселы, смеялись и радостно приступали к еде. После щей давали похлебку картофельную; или же горох, пшенную кашу, овсяный кисель, свекольник. Обыкновенно по два блюда на обед и два на ужин.—Мы обошли и объехали несколько столовых. Сначала я была в недоумении, как относится народ. Но во второй столовой какая-то девушка, серо-бледная, взглянула на меня такими грустными глазами, что я чуть не разрыдалась. И ей, и старику, сидящему тут же, и многим, я думаю, не легко ходить получать это подаяние.—Не дай бог взять, а дай бог дать,— это справедливая русская пословица. — Потом я равнодушнее смотрела на эти столовые, без которых было бы хуже.

Самое трудное в деле, которое все наши взяли на себя — это выбор беднейших. Это трудно и в выборе кому ходить в столовые, и в раздаче дров, и в одежде, которую тоже жертвовали, и во всем.—Когда я сделала списки, последние дни было 86 столовых. Теперь открыли до ста.—Раз мы с Левочкой ездили вдвоем в чудный, ясный день по деревням. Справлялись на мельнице о помоле; заезжали в другой склад провизии велеть выдавать пшена (из Орловки) и вообще узнать о выдаче, и, наконец, открыли столовую в Куликовке, где погорелые. Вошли к старосте, спросили о беднейших. Велели ему позвать на совет еще старцев и мужиков. Собрались мужики, сели на лавки. Стали их спрашивать, какие семьи беднейшие и назначали по стольку-то человек из семьи ходить в столовую. Когда я всех переписала, Левочка велел приезжать

за провизией во вторник, и бабе, жене старосты, предложил иметь столовую у себя так, как прочие погорелые.

Возвращались мы сумерками: с одной стороны красно село солнце, с другой поднялась луна. Ехали мы по Дону и степями. Местность плоская, скучная. Только по берегам Дона красиво расположены старые и новые усадьбы.

По утрам я кроила с портным поддевки из пожертвованного сукна, и мне их сшили 23; большую радость доставляли мальчикам эти поддевки и полушубки. Теплое и новое; это то, чего некоторые от рожденья не имели.

Прожила я в Бегичевке 10 дней. Были метели, раз все помощницы наши разъехались и дома не ночевали; мы очень беспокоились. Обе эти барышни хорошие: одна, казачка Персидская, румяная, энергичная, лечила народ и все ее звали „княгиней". Другая болезненная, худенькая, дочь священника; старательная и сантиментальная; но дело делала и она хорошо. Их рассылали проведать или открыть столовые, раздавать платья, записывать нуждающихся в топливе, пище или одежде.

Когда я вернулась в Москву, я постепенно слышала все бо̀льшие и бо̀льшие толки о том, что Левочка написал письма, будто-бы, в Англию о русском голоде; что все негодуют; наконец, я стала получать письма из Петербурга, что надо мне спешить предпринять что-нибудь для нашего спасенья, что нас хотят сослать и т. д.— Я долго ничего не предпринимала. Целую почти неделю я ездила к зубному врачу зубы все чинить; но мало-по-малу меня разобрало беспокойство. Я написала письма: министру внутренних дел Дурново, Шереметевой, товарищу министра Плеве[258], Александре Андреевне и Кузминским.—Во всех письмах я объясняла истину и опровергала ложь „Московских Ведомостей".—Опровержений в газеты печатать запретили, хотя и послала свое в „Правительственный Вестник"[259]. Тогда я поехала к вел. кн. Сергию Александровичу, которого просила велеть напечатать мое опровержение. Он говорил, что не может, а пусть сам Лев Николаевич напишет в „Правительственный Вестник", и это вполне успокоит взволновавшиеся умы и удовлетворит государя.—Тогда я написала Левочке, умоляя его это сделать. — Сегодня я получила это письмо[260] и уже послала его в „Пра-

вительственный Вестник" сегодня же.—Очень жду нетерпеливо известия — напечатают-ли его.

Левочка, Таня, Маша и Вера Кузминская опять в Бегичевке. Приехал и Лева из Самары. Жду его с нетерпением и не знаю, что он намерен делать дальше.—Сама я притерпелась к своему положению и живу интересами своих 4-х детей; начала писать повесть, собираю пожертвования, переписку веду огромную, плачу за купленный хлеб через банки, делаю всякие денежные операции. Кроме того своих дел много. Порою грустно, а то и хорошие минуты бывают.

Завтра начало поста, хочу поститься.

Мой роман с Львом Николаевичем, написанный февраля 8-го 1893 года.

Часто я думала, что мне нужно рассказать все то, что касается моего замужества. Никто, кроме меня, не может этого сделать, и потом будут ходить нелепые анекдоты и небывалые события. Постараюсь все вспомнить и быть правдивой до последней степени. Это было в сентябре 1862 г. *

Льва Николаевича я помню с самых ранних лет; он приезжал изредка к моей матери, с которой вырос вместе, когда обе семьи: семья Толстых[261] и семья деда моего, Исленьева[262], жили соседями, первые в Ясной Поляне, вторые в селе Красном.—Детьми мы все очень любили Льва Николаевича; он играл с нами, заставлял нас петь и прекрасно рассказывал. Помню, когда начиналась Севастопольская война, мне было лет одиннадцать, он приехал прощаться с нами[263]. Мы с сестрой[264] страшно плакали. Как сейчас помню, как он сидел на низком, красного дерева с шишечками стуле, обитом темно-вишневым штофом, в нашей гостиной в Кремле, и говорил о войне. Когда он уехал, я привязала к этому стулу ленточку и воображением восстановляла образ его на этом стуле. Скоро после этого мать купила нам „Детство"[265], сказав, что это сочинение Льва Николаевича. Впечатление, произведенное этим чтением было так велико, что я никогда не забуду его. Я переписала из главы „Детство" место, начинающееся словами:

* „Это было в сентябре 1862 г."—приписано другими чернилами.

„Вернется ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве?“... и т. д. Бумажку эту я носила в кармане и беспрестанно ее читала во время уроков, рекреаций, так что сестра моя старшая, Лиза, заметила это. Она попросила прочесть. Я дала. Она взяла перо и крупными буквами написала на обороте: Дура. Я страшно обиделась и уже не говорила с сестрой о „Детстве“. Тогда же и с огромным наслаждением прочла я Копперфильда Диккенса[266].

После войны, я уже не помню, когда в первый раз опять увидала я Льва Николаевича. Следующие мои воспоминания относятся уже к тому времени, когда мне было 14 лет. У нас жила немка, Сара Ивановна, а у сестры Льва Николаевича сестра Сары, Марья Ивановна. Раз Марья Ивановна рассказывает нам, что гр. Лев Николаевич очень хвалил семью нашу и воспитанье девочек, и сказал, что еслиб старшей дочери вместо 15 было б 18 лет, он женился бы на ней только потому, что семья хорошая и воспитанье хорошее. Это запало в голову моей сестры Лизы и ее начали скоро после этого дразнить, что она влюблена в Льва Николаевича. Она улыбалась красивой и холодной улыбкой и не отрицала. С тех пор она начала мечтать о замужестве с Львом Николаевичем. Мы с сестрой Таней жили особенной своей жизнью, более живой, ветреной и разнообразной. Так продолжалось года три.

Летом 1862 года, мать моя собралась, по просьбе ее старого отца, Александра Михайловича Исленьева, проведать его в его именьи, Ивицах, Одоевского уезда. Она взяла нас троих дочерей, маленького брата Володю[267] (умершего молодым) и, наняв ходившие в то время между Москвой и Тулой анненковскую карету, отправилась с нами в путь. Мы были в восторге. Путь наш лежал через Ясную Поляну. В то время в Ясной Поляне жила тетенька, Татьяна Александровна Ергольская,[268] приживалка ее Наталья Петровна Охотницкая,[269] вдова офицера, и гостила сестра Льва Николаевича, Марья Николаевна, приехавшая повидаться с родными из Алжира; и кроме того беспрестанно приезжали учителя сельских школ, только что тогда открытых повсюду Львом Николаевичем. Узнав, что мы едем к деду, все Ясно-Полянские обыватели, а главное Марья Ни-

колаевна, друг моей матери, просили нас заехать на денек к ним. Мать охотно согласилась.—Это было в начале августа. Помню хорошо этот вечер, когда мы все под'ехали к флигелю, светлому, чистому, как приветливо нас встретили, как было весело, ново, волшебно все, что мы увидали. Тетенька была удивительно добра, Лев Николаевич был так нам рад, Марья Николаевна тоже. В маленькой столовой с фамильными портретами, Дуняша и Алексей [270] (маленький косой лакей Льва Николаевича) накрывали ужин; молчаливые студенты, учителя школ, толпились в столовой. Сестру Таню заставили петь, потом она что-то рассмешила всех требованием есть почти со слезами. Потом все ужинали, а я села на балконе, наверху и смотрела на прекрасный вид в сад, на пруды, на елки и на небо, на котором в середине, между деревьев ярко светила луна. Помню то удивительное чувство счастья, свободы, радости, спокойствия, которые я испытала сидя на этом балконе. Чувствовала ли я, что тут протечет вся моя будущая жизнь, или я никогда не видала прежде настоящей деревни—только было очень хорошо. Лев Николаевич пришел ко мне и начал говорить тоже что-то очень приятное: что мы внесли веселье в его дом, что я удивительно проста и ясна, что будет скучно, когда мы уедем.

Потом нас позвали вниз в комнату со сводами. Как все тогда казалось необыкновенно! Там были белые, выкрашенные масляной краской и обитые синеньким полосатым тиком длинные диваны. На них стелили нам постели. Пришел Лев Николаевич и стал помогать. Помню я отлично, как он выдвинул такое же, как диваны, огромное кресло, что то подстроил к нему, положил квадратные большие подушки со спинок диванов рядышком и сам на этом кресле постелил и устроил постель для меня.

На другое утро мы его не видали, он ушел по хозяйству и в школу, а нас повела Наталья Петровна в сад и на малину. В первый раз в жизни мы ели малину прямо с кустов, а не из купленных в Москве решет. Все это было удивительно весело!—К обеду все собрались. Лев Николаевич объявил, что мы поедем на пикник и что будет и верховая лошадь. Действительно, меня посадили на Белогубку, смирную гнедую лошадку, остальные поехали в катках, и мы провели вечер в За-

секе, на Полянке, где стояли стога и где был чудесный вид.— Кажется, на другой а, может быть, на третий—хорошенько не помню—день, мы уехали к деду, в Ивицы, заехав прежде в Красное, где родилась моя мать, на могилу ее матери, а моей бабушки, Софьи Петровны, рожденной гр. Завадовской[271], бывшей замужем за кн. Козловским, но прожившей всю свою жизнь с моим дедом, Исленьевым.

У деда нас веселили, сколько могли. Непрерывно праздновали то обедами, то поездками к соседям *, пикниками, танцами и т. д. Как-то раз вечером было очень много гостей; мы плясали нарядные и веселые, как вдруг вошел Лев Николаевич. Он приехал верхом, верст сорок или пятьдесят сделав в один конец. Все, особенно дед мой, страшно обрадовались.— Лев Николаевич подошел ко мне и сказал: „Вот вы тут какие нарядные; жаль, что тетенька вас такими не видала. Отчего вы не нарядились в Ясной?"

Когда вечер кончился, все разошлись и мать моя уже ушла спать, а я стояла, собираясь тоже уходить, у карточного, раскрытого зеленого стола, на котором лежали еще мелки и щетки, Лев Николаевич взял щетку, стер все карточные цифры и начал писать буквы. „Прочтете, что я вам напишу только начальными буквами?" „Прочту!" ответила я. Пальцы мои похолодели, сердце билось, нервы были страшно натянуты. Такое состояние повториться в жизни не может. Как, почему, какими путями я могла прочесть целую фразу по одним начальным буквам—я объяснить не берусь. Это было чудо.

Он писал: „В. м. и. п. с. с. ж. н. м. м. с. и. н. с". Я читала сама себе выговаривая слова: „Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья".

Я взяла мелок и быстро начертила ответ тоже начальными буквами. Не помню ни слов моих, ни того, прочел ли их Лев Николаевич. Помню только, что он опять взял мел и написал: „В. в. с. с. л. в. н. м. и. н. в. с. Л. р. в. е. с. Т." И я опять прочла: „В вашей семье существует ложный взгляд на меня и на вашу сестру Лизу; разрушьте вы ** его с Таничкой".

* Слово „к соседям"—приписано другими чернилами.

** „Вы"—приписано другими чернилами.

Взволнованная и счастливая, я ушла спать наверх. Лиза была расстроена, она видела, что Лев Николаевич почти не отходил от меня. Мать моя была чем-то недовольна, Таня уже храпела.

Я ушла в свой уголок, за перегородкой, достала дневник, чернильницу, перо, села на пол, положила дневник и все на стул, так как стола там небыло, и начала писать. Тут было мое первое признание себе в любви моей к Льву Николаевичу. Дневник этот сожжен был в день моей свадьбы; это жаль, я писала его с 9-ти лет до 18-ти, и это была чистая, девичья эпопея, за которую и теперь мне не было бы стыдно.

На другой день, уезжая, Лев Николаевич взял с моей матери слово заехать в Ясную Поляну на возвратном пути. У деда мы прожили неделю или немного больше и очень веселились. Когда мы, возвращаясь, заехали в Ясную Поляну, мы пробыли там очень мало времени, мать спешила и опять мы взяли большую анненковскую карету и собрались в Москву. С нами поехала еще Марья Николаевна, и, под предлогом проводить сестру, поехал и Лев Николаевич. В карете было 4 места внутри и два снаружи, сзади. (Железной дороги тогда еще не было). Условились так: одну станцию ехала сзади с Львом Николаевичем сестра Лиза, другую я. Помню, как Лев Николаевич мне рассказывал длинные истории о Кавказе, о своей жизни там, как пришел вечер и я засыпала укачиваемая ездой и усыпляемая его тихим, ласковым голосом. Мне совестно было засыпать, я старалась не спать, но сон был такой непреодолимый и * счастливый.

На последней станции до Москвы была моя очередь ехать сзади. Сестра Лиза, взволнованная, отозвала меня в сторону и стала упрашивать пустить ее сесть с Львом Николаевичем до Москвы. Мне было жалко, я отказала, но счастье сделало меня доброй, я вдруг согласилась и влезла в карету, оставив ей место снаружи. Только что я это сделала, Лев Николаевич слез и сел на козлы. Сестра осталась одна.

Когда мы приехали в Москву, Лиза бросилась в свою комнату и начала рыдать. На другое утро мы уехали к себе

---

* Слова „я старалась не спать"—приписаны другими чернилами, слово: „непреодолимый и" написано вместо „сладкий".

на дачу, в Покровское Глебова-Стрешнева, где я родилась и где мы проводили всю мою жизнь всякое лето.

Марья Николаевна уехала скоро за границу, где оставались ее трое детей [272], а Лев Николаевич остался в Москве, нанял у какого-то портного квартирку и стал беспрестанно ездить, и больше ходить пешком к нам в Покровское, за 12 верст.

Присутствие его у нас было для меня несомненным счастьем, но я не смела давать ход своему чувству, боясь все стать поперек дороги сестре. Помню я, как страшно взволнованная, я прибежала раз наверх, в нашу девичью комнату с большим итальянским окном, и сестра Таня, увидав меня, с удивлением спросила: „Что с тобой?“ Я ей ответила скороговоркой: „Je crains d'aimer le comte“ *.

Положение было тяжелое. Сестра была влюблена в Льва Николаевича. Отец [273] мой, всегда ревнивый и подозрительный, мучался ревностью, воображая, что Лев Николаевич ухаживает за моей матерью. Ей было тогда 36 лет и она была очень красива, а Льву Николаевичу было 34 года. Только я одна смутно чувствовала, что все внимание его было устремлено на меня.

Он называл меня „моя государыня“, говорил со мной много и охотно и раз выпросил у меня мою повесть и дневник. Как я помню этот вечер, даже уж ночь, в конце или середине августа. Он называл тогда эти ночи „сумасшедшими ночами“. Мы любовались полянкой, освещенной луной, недалеко от пруда, окруженную плакучими старыми березами, и часто гуляли все вместе и разговаривали, теперь не помню о чем.

Дневник и повесть он возвратил мне с небрежно равнодушным видом, но потом рассказывал, что не спал ночь и прочел все.

Так все продолжалось до нашего переезда в Москву. Тогда ездил к нам еще Нил Попов [274], молодой профессор истории. Он тоже ухаживал за мной тогда, но мне совсем не нравился.

Помню, как Лев Николаевич меня раздразнил чем-то, и я села на крылечко с Поповым и начала с ним весело разгова-

---

* [Я боюсь любить графа].

ривать. Это был первый взрыв ревности в Льве Николаевиче и я это почувствовала.

Около 10 сентября мы вернулись в Москву. Сестра не переставала надеяться на любовь Льва Николаевича. Тогда приехала в Москву только что вышедшая замуж за Горсткина двоюродная сестра моя * Соня Кузминская [275]. Как только приезжал Лев Николаевич, сестра умоляла меня ехать к Горсткиным. Я во всем покорялась. Но это не помогало. Лишь только я уезжала, уходил и Лев Николаевич.

Раз вечером я играла вальс „Il Bacciо", ** сестра Таня пела. Потом она ушла, а Лев Николаевич стоял сзади меня прислонясь к печке. Он начал говорить, как только он это умел, ласково, участливо, умно. Речь шла все о том же, о его старости для молодого счастья, обо мне, и всякий раз, как я, взволнованная, перерывала игру, он повторял: „играйте, играйте".

Кто-то приехал и нарушил наше одиночество вдвоем, но почти все было сказано в этот вечер. Через несколько дней, не помню сколько, после этого, помню, приехал с товарищами брат [230] из корпуса. Вся семья собралась вечером в столовой, где пили чай, а кадеты ели что-то. Лев Николаевич задержал меня в комнате моей матери и через стол подал мне записку, написанную на четвертке простой белой бумаги, всю засаленную и свернутую несколько раз. Он, очевидно, давно носил ее при себе.—Это было 16 сентября 1862 года. Записка эта была предложение быть его женой [276]. Она хранится теперь, вместе с другими письмами ко мне, в Москве, в Румянцевском музее, в отделении рукописей. [277]

Я схватила эту бумажку, и как вихрь пролетев мимо ужинавшей семьи, пробежала вниз в нашу девичью комнату. Я заперла дверь на ключ и начала читать, задыхаясь от волнения. Когда я дошла до слов: „хотите ли быть моей женой", я не могла читать дальше и так и замерла. В это время начали сильно стучать в дверь. Я спросила: „Кто это?" Это была моя сестра Лиза. Я отперла дверь. Она спросила: „Ну, что?" Я ответила ей: „Le comte m'a fait la proposition". ***

---

* „Моя" приписано позднее.

** [„Поцелуй"].

*** [Граф мне сделал предложение].

Сестра вскрикнула, бросилась на постель и начала рыдать, кричать, просто неистовствовать. Я испугалась, говорю, что я обманула, что я откажусь, чтоб она успокоилась. Ничего не помогало. Пришла мать, сказала, что Лев Николаевич меня ждет. Я говорю, что не могу ничего ему сказать, пока сестра в таком положении. Мать строго отнеслась к сестре, а мне сказала, что если я откажусь, то он от этого не полюбит Лизу, и взяв меня за плечи, почти вытолкала вон из комнаты, сказав: „поди к нему." Я пошла точно не своей, а ее волей. Прибежав в комнату матери, я застала Льва Николаевича, стоявшего у стены, около печки. — Ну что? — спросил он меня.— Конечно да,—сказала я.

На другой день были именины матери и мои. Все приезжали нас поздравлять и всем объявляли мое замужество. Был тяжелый эпизод. Приехал к этому дню бывший товарищ брата, вышедший уже в гвардию офицером, П.[278]—Он хотел на мне жениться, и я почти обещала ему, но когда полюбила Льва Николаевича написала ему отказ. Он письма не получил и когда ему сказали, что я выхожу замуж, он не поверил, пока не спросил меня.—Я очень смутилась, мне было и совестно, и страшно, но я сказала, что это правда. Он встал и ушел. Через несколько времени меня зовет няня, Вера Ивановна, вниз.—„Графинюшка (меня в доме все с детства иначе не звали, как графинюшка), подите сюда на минутку." Я сошла с ней вниз. В детской сидел П. и рыдал страшно. Я никогда прежде не видала рыдающего мужчину. Это было ужасно, я убежала.

Отец мой был очень недоволен, что выхожу я, а не сестра Лиза, не хотел соглашаться, не давал денег на приданое. Сестра Лиза великодушно пошла выпрашивать у отца согласия и денег на мое приданое. Лев Николаевич страшно спешил свадьбой, положение было натянутое. Помню, что я была страшно взволнована всю эту неделю, ела только огурцы соленые и вся застыла, худела и не была бодра и счастлива, как до предложения. Ровно через неделю, т. - е. 23 сентября, воскресение, нас венчали в придворной церкви, вечером в 7 часов. Были все наши знакомые, некоторые из друзей Льва Николаевича. Подали шестериком заложенный новый

дормез, привязали важи, сел Алексей, лакей Льва Николаевича, приехавший из Ясной, и наша московская горничная, старая Варвара. Шел мелкий дождик; все провожали на крыльце кремлевского дома, где я прожила всю жизнь; брат Петя[279] просто ревел на всю улицу, его увели, потом мама страшно вскрикнула, когда заперли дверцы кареты, и мы двинулись. Я опрокинулась к спинке кареты и страшно плакала. Льву Николаевичу это было неприятно; но он не рассудил, что та любовь страстная к семье должна была так же страстно перенестись на него и на детей.—Мы проехали одну станцию и остались ночевать в Бологове, где нам открыли царские комнаты.

Ровно через сутки мы приехали в Ясную Поляну, где встретила нас с хлебом и солью Татьяна Александровна и брат Льва Николаевича—Сергей Николаевич.

Так началась моя замужняя жизнь.

---

2 августа 1893 г.

Сейчас узнала от Черткова, что большая часть рукописей Льва Николаевича находится частью у него, а частью у полковника Трепова[280] в Петербурге, о чем пусть знают наши дети.

Впоследствии Чертков отбирал все рукописи Льва Николаевича и увозил их к себе в Англию, в Christchurch[281] *.

5 ноября 1893 г. Москва.

Я верю в добрых и злых духов. Злые духи овладели человеком, которого я люблю, но он не замечает этого. Влияние же его пагубно. И вот сын его гибнет, и дочери гибнут, и гибнут все, прикасающиеся к нему. А я день и ночь молюсь о детях, и это духовное усилие тяжело, и я худею, и я погибну физически, но духовно я спасена, потому что общение мое с богом, связь эта не может оборваться, пока я не под влиянием тех, кого обуяла злая сила, кто слеп, холоден, кто забывает и не видит возложенных на него богом обязанностей, кто горд и самонадеян. Я еще не молюсь о меньших, их еще

---

* Со слов: „Впоследствии Чертков“ написано другими чернилами и несомненно позднее.

нельзя погубить. Тут, в Москве, Лева стал веселей и стал поправляться. Он вне всякого влияния, кроме моей молитвы. Бог внушил послать с ним хорошего человека. Только бы не ослабла во мне энергия молитвы, а то все пропало. Господи помилуй нас и избавь от всякого влияния, кроме твоего!

2 марта 1894 г.

Таня уехала в Париж, с Левой пожить. Ему стало хуже. Ужас давно уже в моем сердце, что он не жилец на земле. Слишком исключителен, хорош и неуравновешен. Живу со дня на день—без жизни. Беспокойство о Леве, отчасти теперь и о Тане—исключило всякие другие жизненные интересы. Сейчас же подломило и здоровье. Сегодня кровь шла горлом—и много; и лихорадка по ночам, грудь болит, пот. Лев Николаевич тоже приуныл. Но жизнь его идет попрежнему: встанет рано, уберет комнату, поест овсянку на воде, пойдет заниматься. Сегодня застала его делающим пасьянс. Завтракал он очень обильно, Дунаев громко рассказывал какие-то истории и не замечал, что они никому не интересны. Потом Лев Николаевич пошел спать, а теперь с удивительной жизнерадостностью, взглянув в окно на яркое солнце, и взяв с окна фиников, он отправился с Дунаевым на грибной рынок, чтоб посмотреть coup-d'oeil на этот торгующий грибами, медом, клюквой и проч.—народ. Маша нервна, худа и жалка. Сережа очень приятен и мне грустно, что он скоро уедет в Никольское.

4 августа 1894 г.

Захарьин [282] нашел, что Лева плох. Мое сердце давно это знает. Но как пережить горе видеть погибающим этого молодого, любимого и такого хорошего сына! Сердце так надорвано, так постоянно ноюще болит, с таким усилием живешь обыденной жизнью, что чувствуешь как вот-вот, и сил не хватит. А жить надо: надо для маленького Ванички, для Миши, Саши, даже для Андрюши, у которого многое уже погибло, но светится огонек любви и нежности ко мне.—А все стало тяжело. Давно гнетущая меня отчужденность мужа, бросившего на мои плечи все, все без исключения: детей, хозяйство, отношения к народу и делам, дом, книги, и за все презирающего

меня с эгоистическим и критическим равнодушием. А его жизнь? Он гуляет, ездит верхом, немного пишет, живет где и как хочет и ровно ничего для семьи * не делает, пользуясь всем: услугами дочерей, комфортом жизни, лестью людей и моей покорностью и трудом **. И слава, ненасытная слава, для которой он сделал все, что мог, и продолжает делать ***. Только люди без сердца способны на такую жизнь. Бедный Лева, как он мучился тем недобрым отношением отца к себе все это последнее время. Вид больного сына мешал спокойно жить и сибаритствовать—вот это и сердило отца. Не могу вспомнить без боли **** эти черные, болезненные глаза Левы, с каким упреком и горем он смотрел на отца, когда тот упрекал ему его болезнь и не верил страданиям. Он никогда их не испытал сам, а когда болел, то был нетерпелив и капризен.

Таня тоже в Москве с Левой и ее жаль и без нее грустно—уж никакого друга не осталось дома, хотя приверженцы Льва Николаевича и он сам и на ее веселую натуру, здравую и жизненную—наложили тяжелый гнет и отчуждили от меня.—Сегодня уехал от нас Страхов. Дома жара, купанье с Сашей, сходка мужиков, беганье по неубранным полям в жару до одышки, чудная лунная ночь, теплая и красивая до страданья. Лев Николаевич уехал в Потемкино [283] узнать о погорелых и помочь им благотворительными деньгами. Андрюша уехал в Овсянниково к М. А. Шмидт [284], Миша сидит со мной, Маша с Марьей Кирилловной [254] на Козловку.

23 ноября 1894 г.

Живем всей семьей в Москве. Центр всей моей жизни и всех моих интересов—это больной Лева. Привыкнуть к такому несчастью нельзя. Каждую минуту жизни — помнишь его жалкое болезненное состояние, и страх за него болезненно мучает постоянно.—Видаю мало людей, мало выезжаю из дому.—Поступила новая англичанка, Miss Spiers.—Левочка, Таня и Маша уехали к Пастернаку [285] слушать музыку. Играет его жена

* „для семьи"—приписано позднее.
** „и трудом"—приписано другими чернилами.
*** Слова: „и продолжает делать" вписаны позднее, цвет чернил другой.
**** „без боли" написано другими чернилами.

с Гржимали[21] и Брандуковым [286].—Андрюша после многих неприятностей, причиненных мне последнее время—смирился. Здоровье его плохо: было 14 нарывов, желудок часто расстроен. Миша ясен и весел, но учится плохо.

Снегу нет и санного пути еще не было. Ветер и 2 градуса мороза. Печатаю XIII том, [287] читаю „Marcella“ [288]. С Левочкой жили долго очень дружно, но последние дни было немного неприятно. Меня сердило его равнодушие к поступкам Андрюши, и то, что он мне не помог с ним.—Я виновата главное тем, что после 32 лет еще надеюсь, что Левочка может что-нибудь сделать для меня и для семьи. Надо радоваться и довольствоваться тем хорошим, что в нем было.

1 и 2 января 1895 г.

Надо писать дневник, слишком жалко, что мало его писала в жизни.

Вчера Левочка уехал с Таней к Олсуфьевым [289] в Никольское. Когда я остаюсь без мужа, я чувствую себя вдруг свободной духом и одной перед богом. Мне легче разобраться с самой собой и с той путаницей, в которой я живу.

События: Лева начал лечение электричеством, стал спокойнее, уехал к Шидловским.

Маша лежит с обычной болью живота (ежемесячной), Саша и Ваня в гриппе, скучают, бегают с девочкой Веркой и Колей (артельщика). Андрюша в деревне у Ильи, Миша со скрипкой ушел к Мартыновым [290]. Была метель, 7 градусов мороза.

Сегодня ночью в 4 часа разбудил меня звонок. Я испугалась, жду,—опять звонок. Лакей отворил, оказался Хохлов [203], один из последователей Левочки, сошедший с ума. Он преследует Таню, предлагает на ней жениться! Бедной Тане теперь нельзя на улицу выйти. Этот ободранный, во вшах, темный, везде за ней гоняется.—Это люди, которых ввел теперь Лев Николаевич в свою интимную семейную жизнь,—и мне приходится их выгонять.

И странно! люди почему-либо болезненно сбившиеся с пути обыденной жизни, люди слабые, глупые,—те и бросаются на учение Льва Николаевича и уже погибают так или иначе—безвозвратно.

Боюсь, что когда начинаю писать дневник, я впадаю в осуждение Льва Николаевича. Но не могу не жаловаться, что все то, что проповедуется для счастья людей,—все осложняет так жизнь, что мне все тяжелее и тяжелее жить.

Вегетарианство внесло осложнение двойного обеда, лишних расходов и лишнего труда людям.—Проповеди любви, добра—внесли равнодушие к семье и вторжение всякого сброда в нашу семейную жизнь.—Отречение (словесное) от благ земны вносит осуждение и критику.

Когда очень уж обострятся все эти осложнения, тогда я горячусь, говорю резкие слова, делаюсь от этого несчастна и раскаиваюсь, но слишком поздно.

Была Елена Павловна Раевская; приходила посидеть со мной вечер, просила мою повесть. Я пересмотрела ее, и вижу, как я люблю свою повесть. Это дурно, но это так приятно!

К Маше чувствую нежность. Она нежная, легкая и симпатичная. Как мне хотелось бы ей помочь с Петей Раевским! Таню стала любить меньше прежнего; чувствую на ней грязь любви темных: Попова и Хохлова. Мне жаль ее, она потухла и постарела. Мне жаль ее молодости красивой, веселой и обещающей. Жаль, что она не замужем. Вообще, как мало дала мне моя многочисленная, красивая семья. Т.-е. как мало они все счастливы. А это матери самое больное.

Написала три письма: деловое в Прагу, ответ бар. Менгден [140] и С. А. Философовой[291]. Ложусь в 3 часа ночи. Читала утром Саше и Ване вслух „80.000 верст под водою“ Верна [292]. Говорю им: „Это трудно, вы не понимаете“. А Ваня мне говорит: „Ничего, мама, читай, ты увидишь, как мы от этого и от „Дети кап. Гранта“ [292] поумнеем“.

Лева приехал от Шидловских унылый и очень жаловался.

3 января 1895 г.*

Встала поздно, была вяла и женски нездорова. Пошла к Маше Леве, побранила Мишу, что не играет на скрипке и не встает до 12 часов. Потом Лева уехал в клинику лечиться электричеством, оттуда к Колокольцовым [37]. Я дурно досадовала, что он

* „1895 г.“, приписано другими чернилами.

долго не посылал мне лошадь. Поехала с визитами к Мартыновой, Сухотиной [293], Зайковской [294] и Юнге [295].

Зайковские подняли воспоминания молодости. Но какое грустное, некрасивое впечатление старо-девичьей жизни! Неужели мои дочери не выйдут замуж? Вечером пришли дети играть, а я читала Леве вслух повесть Фон-Визина „Сплетня“ [296]. Пока не очень хорошо, не тонко, грубо. Послала свою повесть прочесть Раевской. Хочется еще писать, но нет спокойствия, и нервы расстроены, и жаль всегда отнимать свое время у детей, которые так любят быть со мной.—Снег засыпал все улицы, дворы, весь наш сад и балкон; 4 градуса мороза.

5 января 1895 г.

Вчера не писала, читала вечером вслух Леве Фон-Визина повесть, заинтересовало, но грубо.

До 3-го часа ночи возилась со счетами, и все у меня запутано. Не умею. Сидела днем много с Ваней, читала ему, ходила с ним гулять к Толстым [297]. Сегодня он с утра заболел. Я страшно пугаюсь теперь всему, а особенно нездоровью Ванички; я прицепила так тесно свое существование к его, что это опасно и дурно. А он слабый, деликатный мальчик, и какой хороший! Ездила вчера к Варе Нагорновой и Маше Колокольцовой. Везде мне уныло. У меня такая натура, которая требует или деятельности или впечатлений, иначе я угасаю. А теперь мне приходится все с больными детьми быть, а это уж хуже всего. Без Левочки и Тани не скучаю. Приехал Илья и Андрюша. Дождь и 1 градус тепла. Саша все-таки уехала на каток с Мишей и Miss Spiers.

8 января 1895 г.

Эти дни болен Ваничка, у него лихорадка и что-то желудочное. Он вдруг так побледнел и похудел, что не могу его видеть без боли сердечной. Вчера Андрюша, Миша и Саша были на детском вечере у Глебовых [298], а Ваня в жару весь вечер протомился у меня на коленах. Мне очень было грустно лишить его радости. Он хворал раньше гриппом и третью неделю не видит воздуха.—Борьба с старшими мальчиками, чтоб приучить их к исполнению обязанностей, делается мне непосильна, и та боль, которую они мне причиняют постоянно этой борьбой,

совершенно отталкивает меня сердцем от них. Все это больно, как больно видеть глупое и пошлое разорение Ильи, и безнравственную жизнь Сережи, и болезнь Левы, и безбрачие дочерей, и этот едва мерцающий огонек жизни в бедном миленьком Ваничке.

С утра дела: уплата прачке и другим; распоряжения артельщику; люди отпросились на свадьбу; принесли бумагу из полиции о деле Ясно-Полянской кражи; жалованья; просроченные паспорты и пр. и пр. Потом сидели втроем: Лева, Ваничка и я; смотрели картинки в исторических книгах, и я рассказывала об египтянах все, что могла почерпнуть из дальних знаний, читала сказки Гримма [299].

Приехала Веселитская [300], пошла сидеть с Левой. Я мерила Ване температуру—37 и 8.

Обедали Нагорновы, Илья, Веселитская. После обеда Маня Рачинская [301], умненькая и симпатичная. Дала Илье 500 рублей. Ему не поможешь ничем; чувства меры в моих детях нет, они все неуравновешены и не понимают чувства долга. Это черта их отца: но он над ней работал всю жизнь, дети же с молодости распускаются—слабость современной молодежи.

Вечером часа два поправляла плохое изложение „Капитанской дочки" Миши. Сейчас к ужасу увидала, что он не переписал и половины, а конца совсем нет. Будет опять плохой бал, и опять пойдет на полугодие.

Позднее пришли дети Стороженко и он сам [302]; потом пришел Митя Олсуфьев. Я много с ним болтала, он хорошо все понимает, но от болтовни всегда остается угрызение совести.

Событие с фотографией все еще не улеглось. Приходил Поша [303] и обвинял меня, а я их всех. Обманом от нас, тихонько уговорили Льва Николаевича сняться группой со всеми т е м н ы м и; девочки вознегодовали, все знакомые ужасались, Лева огорчился, я пришла в злое отчаяние. Снимаются группами гимназии, пикники, учреждения и проч. Стало быть, толстовцы— это у ч р е ж д е н и е. Публика подхватила бы это и все старались бы купить Т о л с т о г о с е г о у ч е н и к а м и. Многие бы насмеялись. Но я не допустила, чтоб Льва Николаевича стащили с пьедестала в грязь. На другое же утро я поехала в фотографию, взяла все негативы к себе, и ни одного снимка еще

не было сделано. Деликатный и умный немец-фотограф, Мей [304], тоже мне сочувствовал и охотно отдал мне негативы.

Как отнесся к моему поступку Лев Николаевич—я не знаю. Он был очень ласков со мной, но принципиально будет меня осуждать в своем дневнике, в котором теперь он никогда не бывает ни искренен, ни добр.

Маша сегодня не так приятна, как была те дни. Она всегда не хороша, когда она должна чем-то быть при других. А сегодня надо быть при Веселитской тем, чем она ей кажется.

Англичанка Spiers не хороша. Сухая, несимпатичная, от детей запирается и занята только изучением русского языка и своими развлечениями. Читаю плохой английский роман, который брошу. Хочу читать историю, чтоб рассказывать по картинкам детям. Ложусь поздно.

9 января 1895 г.

Миша Олсуфьев привез письмо от Льва Николаевича. Он мне пишет упрек, что я не радостна, а сам усложнил и испортил нашу жизнь. Но письмо доброе и мне приятно, хотя на сколько меньше я люблю его, чем прежде! Мне без него не только не скучно, но легче. Сколько раз бесплодно скучала я и горевала его отсутствием, просила побыть со мной, подождать или моего выздоровления или еще чего. И сколько раз беспощадно били меня по моей привязанности. Если я не радостна, то только потому, что я устала любить, устала все улаживать, всем угождать, за всех страдать. Теперь меня трогают только двое и оба болезненно: Лева своим состоянием и Ваничка. Я по нескольку раз в день ощупываю его ножки и ручки, как они худы, целую в бледную дряблую щечку и все мучаюсь и мне больно. За обедом он мало ест и я не ем. Совсем на него исстрадалась.

Уехал Илья; с Веселитской спокойно хорошо и тонко умно разговаривали. Она мне рассказывала всю историю своего развода с мужем. Досадно, что М. О. [305] не женится на Тане, хотя разлука с ней была бы горем.

Приходил Дунаев, была Маша Зубова [306] утром; уехала Маня Рачинская. Провела день очень праздно и с гостями; устала, нервна и безжизненна. Погода хорошая, 3 градуса мороза.

10 января.

Еслиб меня спросили, что я теперь чувствую, я бы сказала, что я перестала жить. Меня ничего не радует, а все огорчает и огорчает.

День прошел вяло: сидела с Лидией Ивановной[300] (она сегодня уехала), читала Ване сказки Гримма, ходила в аптеку и на рынок Ване и Леве за зернистой икрой. Андрюша и Миша очень благонравны; Саша играла на своем органчике вальс, Миша ей аккомпанировал на скрипке, и всегда он поражает своим слухом и прекрасной манерой играть. Лева ездил к Шидловским; он спокойнее, но плох и худ по-старому. Слушая игру, Ваничка говорит: „Как я бы желал выучиться делать что-нибудь очень, очень хорошо! Учи меня, мама, скорей музыке".

Вечером была в бане, брала ванну для здоровья, женского, которое разладилось. Пили чай с Машей вдвоем, говорили об Олсуфьевых и Тане. Дождь льет, 3 градуса тепла и грязь.

Ночью била негативы фотографий группы темных и своей бриллиантовой серьгой старалась из них прежде вырезать лицо Льва Николаевича, что плохо удавалось. Легла в 3 часа ночи.

11 января 1895 г.

С утра Ваня кашлял хриплым кашлем, сидела все с ним, читала ему сказки Гримма; потом попробовала срисовать наш сад; без ученья ничего нельзя. Потом пошла, для здоровья больше, разметать снег на катке. В окно увидала, что Ваня вскочил и бегает неодетый. Вернувшись, рассердилась дурно на няню, она неистово кричала, а Ваня заплакал. Обедали все дома. Миша именинник, я дала ему 10 рублей, и вечером они взяли деревенского кучера Ильи, Абрамку, в цирк и восхищались его наивной радости. Он прислан за купленной Ильей лошадью. Вечером пошла посидеть к Леве, я нечаянно упомянула о его нервах, повторив слова доктора Белоголового[307], что все дело в нервах. Лева неожиданно вскочил, начал страшно браниться: дура, злая, старая, вы все врете!.. Каково переживать такие вещи! Все меньше и меньше делается его жалко, так он беспощаден и зол, хотя все это от болезни, и за болезнь все-таки его жаль.

Зато Андрюша, вернувшись из цирка, все мне говорил, что они все мало меня ценят, что я удивительно хорошая, что он меня любит больше всех на свете.

До 3-х часов ночи разбирала письма Льва Николаевича к сестре Тане и мои к ней, а потом перечитывала письма Льва Николаевича к Валерии Арсеньевой [308], на которой когда-то он хотел жениться. Письма очень хорошие, но он никогда не любил ее.

Мороз 5 градусов, ясно и красиво.

12 января 1895 г.

Встала раньше, дала Ване апоморфин от кашля, который усилился. Открыла форточку, 10 градусов мороза, вымылась холодной водой, но все не оживилась. Так что-то нерадостно. Сидела с Ваней, читала ему, принимала гостей. Был Чичерин [309], Лопатин [310], с которым говорили хорошо о смерти, и между прочим он говорил, что жизнь не была бы так интересна, еслиб не было этой вечной загадки впереди — смерти. Потом приехала Петровская [311] и Цурикова [312]. Цурикова осталась и обедать и ночевать. Тип старинной барышни дворянской с гаданием в карты, огромным кругом знакомства и влюблением до 40 лет.

Вечером у Ванички оказался опять жар 38 и 3, и я опять страшно встревожилась. Что-то во мне надломилось и болит внутри, и я собой совсем не владею. Взяла на себя, съездила на панихиду Лопухиной [313], заехала за Мишей к Глебовым и посидела еще часок у Толстых [297]. Пришла оттуда пешком и немного боялась. Лева опять кроток, Маша очень мила и старается помочь и мальчики ласковы. Чичерин сегодня говорил о Левочке, что в нем два человека: гениальный литератор и плохой резонер, поражающий людей парадоксальными эффектами самых противоречивых мыслей. И он привел несколько примеров. Чичерин любит Льва Николаевича, но по старой памяти; он видит в нем того Льва Николаевича, которого он знал молодым, и от которого хранит множество писем.

13 января.

Разбирала письма голодающих времен от жертвователей; рвала те, в которых только цифры и официальные фразы, откладывала те, в которых есть выражение мыслей или чувств. Ваня помогал очень мило. Бедный крошка, всякий день жар, и очень он опять побледнел и похудел.

14 января.

Сидела с Ваней, читала ему. Вечером Бугаева[314], Зайковская Литвинова[315]. Глупо болтали. У Вани утром 37 и 8, вечером 38 и 5. Кашель мягче, насморк гуще. Остановка жизни и души и тела. Жду пробуждения.

15 января.

Пробуждение не наступило, тоска усилилась; оттого-ли, что утомляюсь, целые дни глядя на больного Ваничку и Леву, оттого-ли, что стали слишком часты (каждые три недели) мои женские обстоятельства, и это влияет на нервы и настроение. Весь день напряженно и усиленно занимала Ваничку. Вечером был доктор, Филатов[316], не нашел ничего осложненного ни в легких, ни в горле, и селезенка не увеличена. Грипп—и больше ничего. Прокатилась за Сашей к Глебовым, где был 1-й танцкласс; приехал вечером брат с женой, жалкой и худой. Позднее гадала Маше на картах. Гадала на Мишу Олсуфьева, и ему вышла смерть. Меня расстроило гаданье, и стало страшно за Таню и Льва Николаевича. Хоть бы скорей вернулись. Как я любила бы Льва Николаевича, если б он был хоть немного добрей ко мне и внимательнее к детям, мальчикам.

Лева капризен немного, но сегодня он как-будто в первый раз мне показался свежей. Маша жалка и приятна желанием помочь.

16 и 17 января.

Ваня все то же. Жар начинается с полудня и продолжается до ночи. Кашель лучше, насморок все тоже. У Саши тоже насморок. Вчера и сегодня был М. Стахович; и он не развеселил меня. Вчера вечером еще приехала Маша Колокольцова, и ее душевное участие и настоящие дружеские отношения — очень приятны. Сегодня вечером пришли Елена Павловна Раевская и Дунаев. Я очень утомлена и Ваниной болезнью и своим положением [3]. Чувствую себя слабой, одышка от всякого движения. Андрюша жаловался на боли в животе; Миша спит у Левы, Маша очень кротка, мила и полезна.

Метель, ветер гудит, 6 градусов мороза. Завтра обещают вернуться Лев Николаевич и Таня от Олсуфьевых. Читаю „Les Rois“[317], пока интересно. Шила, сидела с Ваней весь день. Живу праздно и грустно.

18 января.

Всегда помню, что это день смерти моего Алеши[318]; он умер 9 лет тому назад.

Встала в 6 часов утра, дала 4 г хинину Ване. Потом встала в $8^1/_2$ часов, померила ему температуру, 36 и 7. Легла и заснула. Встала поздно, висок болит. Ездила за покупками полотна, чулок, катушек и проч., все необходимое; привезла детям пьес еще для аристона. После обеда играла с Мишей со скрипкой сонату Моцарта, потом Шуберта; жалела, что плохо разбираю; он увлекался, и жаль было его оторвать для уроков с репетитором. У Андрюши живот болит, но он ленив и неприятен своей слабостью.

Приехал Лев Николаевич и Таня от Олсуфьевых. Не радостна была наша встреча после 18 дней разлуки, не так, как бывало. У Тани злобный тон осуждения, у Левочки полное равнодушие. Они там жили весело, беззаботно: ездили по гостям Лев Николаевич даже в винт играл и в 4 руки играл. Там нет критических взоров его последователей, и можно жить просто и отдыхать от этой ходульной фальши, которую он сам себе создал среди своих тёмных. Был у меня утром разговор с Miss Spiers о ее бесполезности. Она очень неприятна и не любит детей. Придется и с ней расстаться. Совсем нет теперь хороших гувернанток. Все грустно.

19 января 1895 г.

[16]. Встала раньше, занималась Ваней; он рисовал с натуры по своему корзиночки, а я пробовала акварелью срисовывать свой сад, выходило ужасно. Ничему я хорошенько не выучилась! Жаль. Читала „Les Rois“, очень плохо. Обедали приятно всей семьей. Я не умею жить одна, я привыкла жить при Левочке и при семье, и когда я одна с маленькими, мне скучно.

После обеда занималась самарскими счетами и делами. У Левочки Гольцев[319] читает Тверской адрес и поданную новому государю петицию. Еще там Дунаев. Ваня все не хорош, его ломает лихорадка ежедневно около $3^1/_2$ часов дня. Ясно, 6 градусов мороза, лунная ночь, как хорошо! А я все грущу и сплю душой.

20 января.

Ване очень плохо, сильнейший жар; была вечером у доктора Филатова; велел хинин давать усиленно. Левочка недоволен, что я советуюсь; сам же, видно, не знает, как быть. Он бодр, возил из колодца воду, писал; вечером читал, теперь ушел к Сергею Николаевичу. 17 градусов морозу, иней, туман, ясный день и светлая ночь. На душе ужасно тяжело, что-то невыносимое!

26 января.

Все дни проболел Ваничка лихорадкой. Измучилась и телом и душой, глядя на него. Сегодня получше, но ему дали 8 г в два приема хинину. В первый раз я выехала, купила ноты, игрушки, сыр, свежие яйца и пр. Сидела с Ваней мало, после обеда играла с Львом Николаевичем в 4 руки, выбирая для Саши и Нади Мартыновой[290] пьесу для предполагаемого музыкального детского вечера. Потом все ушли, Лева говорил о доме, который хочет строить на дворе, неприятно требовал для этого денег у меня. Я отказала, но он скоро переменил тон на дружелюбный. Потом мы с Машей поправляли и переписывали корректуры рассказа Левочки: „Хозяин и работник“ [320]. Я досадую, что он отдал в „Северный Вестник“. Ничего не поймешь в его мыслях. Напечатал бы даром в „Посреднике“ и всякий за 20 копеек купил бы и прочел повесть Толстого, это я понимаю. А ведь здесь публику заставляют платить 13 рублей, чтоб прочесть повесть эту. Вот почему я не разделяю идей моего мужа, потому что он не искренен и не правдив. Все выдумано, сделано, натянуто, а подкладка нехорошая, главное везде тщеславие, жажда славы ненасытная, непреодолимое желание еще и еще приобрести популярность. Никто мне не поверит, и мне больно это сознавать, но я страдаю от этого, а другие не видят—да и все им равно!

Теперь 2-й час ночи. Левочка ушел на какое-то заседание, собранное кн. Дмитрием Шаховским [321], не знаю по поводу чего. Все лампы горят, лакей ждет, я овсянку ему сейчас варила и вклеивала корректурные листы, а у них там разговоры. А завтра в 8-м часу я встану температуру мерить Ваничке и хинин давать, а он будет спать. И потом пойдет воду возить, не зная даже, лучше ли ребенку и не утомлена ли слишком мать.

Ах, как он мало добр к нам, к семье! Только строг и равнодушен. А в биографии будут писать, что он за дворника воду возил, и никто никогда не узнает, что он за жену, чтоб хоть когда-нибудь ей дать отдых,—ребенку своему воды не дал напиться и 5-ти минут в 32 года не посидел с больным, чтоб дать мне вздохнуть, выспаться, погулять или просто опомниться от трудов.

11 градусов мороза, иней, тихо, лунно.

1 февраля.

У Вани 3-й день жару нет, 4-й день даю мышьяк по 5 и 6 капель 2 раза в день после обеда. Стало легче на душе. Лева все не радует. С Левочкой отношения хорошие и страстные. [25].

На-днях, между прочим, я его мерила. В нем росту 2 аршина и $7^1/_4$ вершков.

Тепло, после 25 градусов мороза, вчера было 5, сегодня только $1^1/_2$. Здоровье мое плохо: удушие и сердцебиение меня мучают постоянно. Пульс в течение 5 минут бьется то 64, то 120, если я пройдусь скоро.

Читала „О пространстве и времени“ Чичерина[309]. Бездарно и скучно. Была в гимназии Поливанова, который жаловался на шаловливость и дурное поведение Миши в классах. Писала письмо Кандидову[322] и приказчику.

5 февраля.

Или у меня дурной характер или здравый взгляд. Лев Николаевич написал чудесный рассказ: „Хозяин и работник“. Интриганка, полу-еврейка Гуревич[323] ловким путем лести выпрашивала постоянно что-нибудь для своего журнала. Лев Николаевич денег не берет теперь за свои произведения. Тогда печатал бы дешевенькой книжечкой изд. „Посредника“, чтоб вся публика имела возможность читать, и я сочувствовала-бы этому, поняла-бы. Мне он не дал в XIII часть, чтоб я не могла получить лишних денег; за что же Гуревич? Меня зло берет, и я ищу пути поступить справедливо относительно * публики в угоду не Гуревич, а на зло ей. И я найду.

Когда-то в день моих именин Лев Николаевич в портфеле

* На месте, где написаны слова „справедливо относительно“ было написано другое, что С. А. выскоблила ножом.

принес мне для нового издавания „Смерть Ивана Ильича“ [324]. Потом он отнял у меня, напечатав, что отдает в общую пользу. И тогда я плакала и сердилась. Почему он всегда неделикатен именно со мной? Как все, все стало нерадостно! Маша была вчера у профессора Кожевникова [325], и он неутешительно говорит о болезни Левы. Сегодня утром я упрекала Андрюше, что он обманул и меня и отца третьего дня, обещая притти домой, а сам уехал к цыганам с Клейнмихелем [326] и Северцовым [327]. Андрюша вдруг разволновался, говорит, что если он обманул отца, то потому, что во весь год единственное, что он от него слышал, были эти два слова: „приходи домой“. А что отец никак никогда к ним не относится, что отцу до них дела нет, что он никогда ему не помог ни в чем.—Горько все это слушать а много в этом правды.

Был Мамонов [328], гр. Капнист [329], худая огорченная беспорядками университета, и очень милая. Левочка кашляет и поправляет корректуру „Хозяина и работника“. Вчера вечером собрались товарищи Миши, и С. М. Мартынова [290] нам прочла „Фауста“ Тургенева [330].

И вспомнился мне Тургенев, когда он был у нас в Ясной Поляне и мы весной стояли на тяге вальдшнепов; Левочка у одного дерева, а я с Тургеневым у другого. И я спросила его: отчего он больше не пишет? А он нагнулся, оглянулся кругом немножко шутовски и сказал мне: „Никто, кажется, кроме деревьев, нас не слышит. Так вот что, душа моя (он всем говорил под старость „душа моя“), перед тем, как написать что-нибудь новое меня всегда должна была потрясти лихорадка любви, а теперь это уж невозможно!“—„Жаль,— сказала я и шутя прибавила: „ну, влюбитесь хоть в меня, может быть, и напишете что-нибудь“.—„Нет, поздно!“...

Он очень был весел, плясал вечером с моими девочками и племянницами Кузминскими нечто вроде cancan парижского, добродушно спорил с Львом Николаевичем и покойным кн. Леонидом Урусовым [163]. Помню, что к обеду просил сделать куриный манный суп и пирог с говядиной и луком, говоря, что только русские повара умеют так готовить. Ко всем он относился ласково и нежно, и Льву Николаевичу сказал: „Как хорошо вы сделали, что женились на вашей жене“. Уговаривал

все Льва Николаевича писать в художественной форме и очень горячо говорил о высоте его таланта[330]. Теперь трудно все вспомнить, жалею, что мало записывала в своей жизни. Мне никто не внушил, что это важно, и долго я жила в ребячливом неведении.

Сегодня в „Новом Времени" поразительное известие о смерти Мэри Урусовой[171]. Ей всего было 25 лет, было в ней что-то особенное, артистическое, музыкальное и нежное. Теперь душа ее с отцом; она не ужилась с грубостью матери. Бедная девочка!

21-го февраля 1895 г.

Пережила и переживаю еще один тяжелый период жизни. Не хочется писать, как тяжело, страшно, и как ясно, что с этого периода жизнь моя пойдет на убыль. Совсем мне ее не жаль и мысль о самоубийстве все больше и больше преследует меня. Помоги мне бог не впасть в этот тяжкий грех!— Сегодня опять чуть не ушла из дому; я, очевидно, больна, собой не владею, но как обострились в душе моей все пережитые мной страданья от главной самой острой причины— малой любви Левочки ко мне и детям. Есть же счастливые старички, которые, прожив любовную жизнь, какой мы жили 33 почти года, переходят на дружеские отношения. А у нас?— У меня постоянно взрывы нежности и глупой сантиментальной любви к нему; когда я болела, он принес мне 2 яблока чудесных, и я семячки посадила на память о его столь редкой нежности ко мне. Увижу ли я, как взойдут эти семячки?...

Да, я хотела описать всю нашу тяжелую историю. Я в ней виновата, конечно, но как я была приведена к ней! Да не осудят меня дети, ибо никто никогда не узнает и не разберется в наших супружеских отношениях. Если, несмотря на все мое внешнее счастье, я хочу уйти из жизни и столько раз этого хотела,—то не без причины же это? Еслиб кто знал, как тяжелы вечные подъемы и попытки любви, которая, не получая другого удовлетворения, кроме плотского, болезненно изнашивается от этих подъемов; и еще болезненнее убедиться в отсутствии взаимности при последних днях своей жизни, и своей единственной и неизменной любви к человеку эгоистичному, давшему взамен всего строгий и беспощадный приговор.

Ну, вот история. Повесть „Хозяин и работник“ меня мучала, как видно из прежних моих дневников. Но я работала над собой; я усиленно помогала Левочке в корректурах, и когда все было у него готово я, просила позволения с корректур переписать для себя, чтоб и мне ее напечатать при XIII части Полного собрания сочинений [287].

Чтоб не задержать отсылку в Петербург, я хотела ее переписать ночью. Почему-то Левочка рассердился, говорил, что пришлют оттиски, и горячо протестовал против того, чтоб я переписала, давая одну причину, что это безумно. Но меня мучило, что один „Северный Вестник“ будет иметь преимущество, мне вспомнились слова Стороженки, сказавшего, что: „Гуревич (издательница) умела обворожить графа“, т. е. выпросила у него две статьи [331] в один год, и я решилась во что-бы то ни стало устроить одновременно издание мое и „Посредника“.— Мы оба были возбуждены и рассержены. Левочка так был сердит, что побежал наверх, оделся и сказал, что уедет навсегда из дому и не вернется.

Чувствуя, что так как вина моя только в желании переписать, мне вдруг пришло в голову, что это повод только, а что Левочка хочет меня оставить по какой-нибудь более важной причине. Мысль о женщине пришла прежде всего. Я потеряла всякую над собой власть и, чтоб не дать ему оставить меня раньше, я сама выбежала на улицу и побежала по переулку Он за мной. Я в халате, он в панталонах без блузы, в жилете. Он просил меня вернуться, а у меня была одна мысль—погибнуть так или иначе. Я рыдала и помню, что кричала: пусть меня возьмут в участок, в сумасшедший дом. Левочка тащил меня, я падала в снег, ноги были босые в туфлях, одна ночная рубашка под халатом. Я вся промокла и, очевидно, застудила [7], и я теперь больна и не нормальна, точно закупорена, и все смутно.

Кое-как мы успокоились.—На другое утро я опять помогала ему исправлять корректуры для „Северного Вестника“. После завтрака он кончил и хотел спать. Я говорю: „Теперь можно переписывать, я возьму“. Левочка лежал на диване, но когда я это сказала, он вскочил с злым лицом и опять начал отказывать, не объясняя причины. (Я и теперь ее не знаю).

Я не сердилась, но умоляла его позволить переписать; у меня были слезы в горле и на глазах. Я ему обещала, что не выпущу книги без его позволения, но прошу только переписать. Хотя он и не прямо отказал мне, но его злоба меня ошеломила. Я ничего не могла понять. Почему ему так дороги интересы Гуревич и ее журнала, чтоб не допустить одновременного выхода и в приложении XIII тома и в издании „Посредника"?

Чувство ревности, досады, огорчения за то, что мне никогда ничего он не сделает; старое чувство горя от малой любви Левочки взамен моей большой—все это поднялось с страшным отчаянием. Я бросила на стол корректуры, и, накинув легкую шубку, калоши и шапку я ушла из дому. К сожалению или нет, но Маша заметила мое расстроенное лицо и пошла за мной, но я этого не видала сначала, а только потом. Я ушла к Девичьему монастырю и хотела итти замерзнуть, где-нибудь на Воробьевых горах, в лесу. Мне нравилась, я помню, мысль, что в повести замерз Василий Андреич, и от этой повести замерзну и я. Ничего мне не было жалко. Вся моя жизнь поставлена почти на одну карту—на мою любовь к мужу, и эта игра проиграна и жить не за чем. Детей мне не было жалко. Всегда чувствуешь, что детей любим мы их, а не они нас, и потому они проживут и без меня. Маша меня все время, оказалось, не упускала из глаз и вернула меня домой. Отчаяние мое не улеглось еще два дня. Я опять хотела уехать; взяла чужого с улицы извозчика на другое утро и поехала на Курский вокзал. Как могли догадаться дети дома что я именно поехала туда,—не знаю. Но Сережа с Машей меня опять перехватили и привезли домой. Всякий раз домой мне было возвращаться стыдно и неприятно. Вечером накануне (это было 7 февраля) я была очень больна. Все чувства, жившие во мне обострились до последней крайности. Смутно помню, что мне казалось, что рука Левочки—кого коснется, того он и погубит. Стало мне болезненно жалко сошедшего с ума Хохлова, хотелось всех отмаливать от влияния Левочки. Я и теперь чувствую, что моя любовь к нему меня погубит; погубит мою душу. Если я от нее, т. е. от любви этой освобожусь, я буду спасена, а то, так или иначе—погибну. Он меня убил во мне самой, я теперь убита, не живу.

Когда я очень плакала, он вошел тогда в комнату, и в землю кланяясь до самого пола, на коленях, он кланялся мне и просил простить его. Еслиб хоть капля той любви, которая была тогда в нем,—осталась бы и на долгий срок,—я могла-бы еще быть счастлива.

Измучив мою душу, мне позвали докторов. Комично было то, что всякий дал лекарство по своей специальности. Нервный врач дал бром, по внутренним болезням—дал Виши и капли. Наконец позвали и акушера Снегирева [332]; этот цинично сказал „о критическом периоде“ и дал свое. Лекарств я не принимала. Мне не лучше. Пробегав трое суток, едва одетая в 16 градусов мороза по улицам, продрогшая до костей, измученная нервами,—я конечно застудила женские обстоятельства, и теперь вся кровь прилила к мозгу и сердцу, и я совсем больна. Девочки отнеслись ко мне пугливо, Миша рыдал, Андрюша уехал свое горе передать Илье; Саша и Ваня по-детски смутились, Левочка встревожился,—но больше всех мне был мил Сережа своей спокойной лаской и отсутствием всякого осуждения. Левочка, христианин, от тебя видела больше осуждения, чем любви и жалости.—А вся история только от моей беспредельной любви к нему. Он всегда ищет во мне злобу, а еслиб он знал, что ее-то и нет у меня, а других мотивов много; что делать, когда бог мне дал такой беспокойный и страстный ко всему темперамент? [333]

Очень добра была еще сестра Марья Николаевна, ласкова, и говорила, что я в исступлении своем говорила все правду одну, но преувеличенно. Да, но исступление это непоправимо и неизвиняемо!

Теперь мы опять мирны. Лева уехал в санитарную колонию Ограновича [334] и не пишет ни слова. Он болезненно недоброжелателен к семье и не хочет иметь с нами никаких отношений. Может быть это и лучше для его нервного состояния. Вчера был оттуда доктор и говорил утешительно. Ну, да бог даст, я не увижу смерти никого из детей моих, и бог возьмет меня раньше к себе, туда, где любовь не будет мученьем, а радостью.

И мне и „Посреднику“ повесть отдана [335]. Но какою ценою!

Поправляю корректуры и с нежностью и с умилением слежу за тонкой художественной работой. Часто у меня слезы и радость от нее. *

22 февраля 1895 г. Утро.

Со вчерашнего вечера опять заболел Ваня. У него сегодня уже скарлатинная сыпь, болит горло и понос. Был Филатов и определил.

23 февраля 1895 г.

Мой милый Ваничка скончался вечером в 11 часов. Боже мой, а я жива! **

1 июня 1897 г.

Два года было 23 февраля, что умер мой Ваничка, и с тех пор, написав последнюю страницу в книге дневника, я закрыла ее, так же, как закрыла свою жизнь, свое сердце, восприимчивость и радость жизни. И я не ожила, но полнейшее душевное одиночество снова пробудило желание писать дневник. Да и пускай останется на бумаге картина последнего времени моей жизни—главное замужней жизни. Буду писать строго одни факты, а когда буду более расположена,—опишу и эти промежуточные два года моей столь значительной, по внутреннему ее содержанию,—жизни.

Сегодня Троицын день. Ясно, красиво. С утра проводила Таню и Сережу в Москву на свадьбу Маши, которая будет завтра. Потом читала корректуру XII-й уже части нового, печатаемого мною издания [336]. Лев Николаевич пишет статью об искусстве [337], и я его до обеда не вижу. В 2 часа обедали. В 3 часа меня стал Лев Николаевич звать ехать верхом. Я отказывалась; но потом мне ужасно захотелось ехать, а главное одной оставаться было жутко и тоскливо. Мы поехали втроем (третий был Дунаев) и ездили по очень красивым местам Засеки. Были и на рудниках, где копает руду Бельгийская компания, были и в заброшенном „Мертвом царстве", спускались и поднимались в оврагах. Лев Николаевич был необыкновенно нежен со мной и заботлив, и я умилялась и трогалась этим, но прежде—это его отношение дало бы мне огромное счастие,—а теперь, когда я узнала по его дневникам

* Со слов: „Поправляю корректуры" написано чернилами другого цвета.
** См. в конце книги приложение „Смерть Ванички".

его настоящее отношение ко мне,—я только умиляюсь его старческой добротой ко мне, и уж никогда не отдамся тем порывам то счастия, то отчаяния, которым предавалась, любя его,—до чтения его дневников. Когда-нибудь опишу эту историю с дневниками, перевернувшую всю мою сердечную жизнь.

Ездили мы часа три с половиной, было очень хорошо. Вернувшись, застали А. А. Зиновьева. Лев Николаевич читал с своими гостями немецкое письмо какое-то, я опять поправляла корректуры. Приехал Андрюша, и, увы! они оба с Мишей ушли на хороводы. У Саши гостит Соня Колокольцова [338], они гуляли с M-lle Aubert.

2 июнь.

Опять то же: корректуры с утра, вечером прогулка с Львом Николаевичем, Дунаевым и Маклаковым [339]. Дунаев все говорил (очень громко) о вывозе и привозе товара из за границы.—Красивый закат: на чистом небе яркий шар солнца и одно черное облачко. Думала хорошо и вспоминала счастливое. А теперь наша жизнь больная. Да и в прямом значении Лев Николаевич что-то меня пугает: он худеет, у него голова болит—и эта наболелая ревность! Виновата ли я—я не знаю. Когда я сближалась с Танеевым [340], то мне представлялось часто, как хорошо иметь такого друга на старости лет: тихого, доброго, талантливого. Мне нравились его отношения с Масловыми [341], и мне хотелось таких же... И что же вышло!

Вечером были Зиновьев и Ферре с женой [342]. Ездила с Сашей на Козловку, встретила мисс Вельш. Луна, сыро, холодно... и как тоскливо!

3 июня.

Приехали Маша с Колей женатые [343]. Приехал Танеев и Туркин [344] учить Мишу. Мучительный страх перед неприятностями по случаю приезда Сергея Ивановича заслонил все другие чувства. Маша мне жалка, и я потому чувствую к ней нежность и конечно, буду ее и любить, и буду помогать ей в жизни, чем могу. Коля производит то же впечатление—хорошего мальчика, но мысль, как о муже моей дочери, сейчас же исключает хорошее чувство к нему. Это не сила, не поддержка в жизни... Ну, да увидим. Сила моего мужа меня сломила и убила и мою личность, и мою жизнь. А я ли не сильна была—в смы-

сле энергии. Сейчас на душе хорошо и примирительно. Но больно было ужасно видеть ужас и болезненную ревность Льва Николаевича при известии о приезде Танеева. И страданья его мне подчас невыносимы. А мои..... *

4 июня.

С утра тяжелый разговор с Львом Николаевичем о С. И. Танееве. Все та же невыносимая ревность. Спазма в горле, горький упрек страдающему мужу и мучительная тоска на весь день. Читала корректуры „Власти тьмы“ [345]; прекрасное, цельное и не лживое произведение искусства. Потом пошла купаться, встретила Танеева, и это напомнило с грустью прошлогодние ежедневные веселые встречи. После обеда он играл Тане свои романсы. Я люблю и его музыку и его характер: спокойный, благородный и добрый. Потом я переписывала для Льва Николаевича его статью об искусстве. Пришел он меня звать с такой добротой — гулять, и мы отлично прошлись. Тяжелая сцена с Андрюшей из-за денег. Он плакал, и мне было его жаль, но он мне неприятен своей слабостью — не мужскою.

Танеев сыграл две песни без слов Мендельсона и перевернул всю душу.—Опять переписывала Льву Николаевичу до сна.

Были Маша с Колей, жалкие, худые, слабые... Таня очень мне дорога и мила. Но куда девалась человеческая жизненная энергия, та, которая из меня просится наружу с такой силой?

5 июня.

Уехал сегодня Сергей Иванович, и Лев Николаевич стал весел и спокоен, а я спокойна, потому что повидала его. Ревнивые требования Льва Николаевича прекратить всякие отношения с Сергеем Ивановичем имеют одно основание: это страдание Льва Николаевича. Мне же прекратить эти отношения — тоже страдание. Я чувствую так мало греховности и столько самой спокойной тихой радости от моих чистых, спокойных отношений к этому человеку, что я в душе не могу их уничтожить, как не могу не смотреть, не дышать, не думать. С утра

* Многоточие в подлиннике.

читала корректуры, ждала Сергея Ивановича на балконе к кофе, и он пришел ровно в тот промежуток времени, когда я уходила в сад, на вышку, и беседовала в саду с Ваничкой, спрашивая его, дурно ли мое чувство к Сергею Ивановичу. Сегодня Баничка меня отвел от него; видно, ему просто жаль отца; но я знаю, что он меня не осуждает; он послал мне Сергея Ивановича и не хочет отнимать его у меня.

Потом ходила с Марьей Васильевной купаться. Сила моя и легкость в ходьбе меня ужасают. После обеда Лев Николаевич, Сергей Иванович, Туркин, и я—мы ходили гулять, я нарвала чудесный букет. Лев Николаевич очень горячо и хорошо толковал свои мысли об искусстве Сергею Ивановичу, и меня удивляло это после всей его ревнивой злобы.—Мучаюсь тем, что не поправила Саше заданный ей мною перевод. Приехали Вера и Маша Толстые. Весь вечер работала: сначала прочли корректуру с Марьей Васильевной, а после ужина я часа три подряд переписывала статьи об искусстве Льва Николаевича.

У нас очень мало жизни в доме; мало людей, а, главное, скучно без Сергея Ивановича.

6 июня.

Ночь не спала от головной и спинной боли и невыносимой тоски. Верно, это физическое тяжелое состояние от моего критического женского периода.—Ходили купаться с Таней, Верой и Машей Толстыми. Корректур нынче нет, и я весь день усердно переписываю для Льва Николаевича. Статья эта меня очень интересует и наводит на мысли.

Все ездили в Овсянниково, мы с Львом Николаевичем остались; я шла наверх писать, а он к себе, и мы остановились поговорить о Маше, и о том, что ее, когда-то помогавшее ей жить, религиозное настроение в ней не удержалось. Лев Николаевич говорил, что е г о религиозное настроение повернуло всю его жизнь. Я говорю: может быть, внутренно, но внешне—нисколько. Он рассердился, стал кричать, что прежде он охотился, занимался хозяйством, учил детей и копил деньги, а теперь он это не делает. Я сказала, что очень жаль: тогда это было на пользу семье, хозяйство на пользу местности, так как он много посадил и улучшил, ученье детей и наживание денег на помощь мне; а теперь при той же жизни внешней, т.-е. тех же комнатах, пище,

обстановке, он после своих занятий катается на велосипеде (как все эти дни), ездит верхом на разных лошадях, каких хочет, и питается готовой, прекрасной пищей, о детях же не только не заботится, но очень часто забывает о их существовании. Все это его взорвало. Это жестокая правда, о которой я не должна ему поминать. Пусть его на старости лет утешается и отдыхает. Но он мне такие говорил упреки, например, что я испортила всю его жизнь, когда я жила только для него и детей,—что я не вынесла.

Такого душевного терзания я давно не испытывала; я убежала из дому, хотела убиться, уехать, умереть, все—только бы так не страдать душевно. Какое бы было счастье дожить тихо и дружно с добрым, спокойным человеком остаток своей жизни, а не терзаться то безумными сценами ревности, как третьего дня, или жестокими упреками обоюдными, как сегодня. А небо так ясно, погода сияющая красотой, тишиной; природа богатая, сочная, яркая; точно все дошло до высшей степени ликованья в природе, чтоб доказать человеку, как он несостоятелен перед ней с своими страстями и тоской.

Вечером мы примирились без объяснений. Я пошла в сумерки уже купаться на Воронку, а Лев Николаевич приехал за мной в тележке и стал говорить добрым голосом, что пора бы нам перестать так сильно и страстно любиться и так сильно ссориться. И то и другое — уже говорю я — имеет всегда один источник [20], и никогда не дождусь спокойной, нежной, духовной дружбы.—Шла по лесу вечером одна, и все молилась и плакала, плакала и о Ваничке, и в связи с ним о той единственной в моей жизни святой, сильной любви, которой мы с ним любили друг друга. И теперь я никогда ни от кого ее не буду иметь, а вместо этого безумная, ревнивая плотская страсть, исключающая насилием все другие привязанности в моем сердце.

7 июня 1897 г.

Сегодня в первый раз проснулась к впечатлениям красоты природы, и чувство мое к ней было девственно, т.-е. без воспоминаний, без сожалений о тех, с кем и через кого еще я любила эту ясно-полянскую прелестную природу. Недавно я

создала себе целую теорию о девственности отношения к религии, искусству и природе. *

Религия чиста и девственна, когда она не связана с отцами Иоаннами, Амвросиями или католическими духовниками (confesseur), а вся сосредоточена в одной моей душе перед богом. И тогда она помогает.

Искусство девственно и чисто, когда его любишь само по себе, без пристрастия к личности исполнителя (Гофмана[346], Танеева, Ге, к которому так пристрастен Лев Николаевич, к самому Льву Николаевичу и т. д.), и тогда оно доставляет высокое и чистое наслаждение.

Также и природа. Если дубы и цветы, и красивая местность связаны с воспоминаниями о тех лицах, которых любил и с которыми жил в этих местах, и которых со мною теперь нет, то природа сама по себе пропадает или принимает то настроение, в котором мы сами. Надо любить ее, как высший божий дар, как красоту и тогда она дает тоже чистую радость.

С утра много переписывала Льву Николаевичу. Потом учила Сашу; с ней учиться приятно, но характер ее относительно — не меня, со мной она хороша,—а окружающих делается невыносим; она даже бьет свою гувернантку и девочку, и Марью Висильевну, и кого попало. [30].

Ездила утром со всеми купаться, опять переписывала, опять вечером купалась, стригла в саду аллеи, подвязывала липки и розы и провела день одиноко и спокойно.

Лев Николаевич тоже спокоен: он писал, ездил на велосипеде, потом верхом в Овсянниково, куда не доехал, встретив Машу и Колю у Козловки. Вечером он рассматривал с удовольствием рисунки в Salon[347], который получает Таня. Таня ходила на Козловку с Марьей Васильевной. Миша верхом ездил в Горячкино к Кулешову[348], товарищу.

Была сухая гроза, жарко, вечером шел недолго дождь.

Ужасно хочется музыки, хочется самой играть, и все нет времени. Только сыграла сегодня две „Песни без слов“ Мендельсона. Ох, эти песни! Особенно одна из них так и врезалась в мое сердце.

---

* Слова: „религии, искусству, природе“—подчеркнуты другими чернилами.

8 июня 1897 г.

Делаю страшные усилия, чтоб найти свою бодрость и достигаю, если не для радости, то для работы. С утра корректура, потом пошла пешком купаться на Воронку. К обеду оделась (для чего и для кого? только, чтоб не опускаться) в белое платье, после обеда пошла на тенис (tennis), где играли Таня, Маша, Миша, Коля, Саша и Лев Николаевич. Пустота! Ни Черткова, ни Танеева. Пошла подвязывать и выстригать сушь в куртине розанов, нарвала букет Льву Николаевичу. Потом опять корректуры, вечером ездили купаться в катках, потом записывала счеты, сверяла оглавления в новом издании[336], и опять корректура. Теперь 2-й час ночи. Погода удивительная: тепло, ясно, жарко, красиво.—Таня тоже бодрится. Бедная, ей так законно хочется хорошей любви: любви друга-мужа, любви детей. Последняя действительно дает радости чистые, хорошие, а первая радости нечистые, обманчивые и... *

Вчера я легла в таком спокойном, хорошем настроении и тихо, дружески начала разговаривать с Львом Николаевичем. Он отвечал ласково и охотно. Говорит: „Какой у тебя сегодня голос милый, женственный, я не люблю, когда ты кричишь". И вдруг мне стало грустно: я поняла, что вся его ласка сводится опять и опять к одному [38]. А сегодня, увы! он уже не будет ласков. Корректировала сегодня как раз „Крейцерову сонату" и опять то же тяжелое чувство; сколько цинизма и голого разоблачения дурной человеческой стороны. И везде Позднышев говорит: мы предавались свиной страсти, мы чувствовали пресыщение, мы—везде. Но женщина имеет совсем другие свойства, и нельзя обобщать ощущения, хотя бы половые; слишком разно отношение к ним мужчины и чистой женщины.

Рассветает, спать не хочется, бьет два часа, луна прямо светит в окно. Сегодня она светлая, стоит так высоко и как-будто элегантно светит, споря с июньским ранним рассветом.

10 июня 1897 г.

Вчера не писала, так монотонно однообразно идут дни за днями. Вчера была М. А. Шмидт. Она вся живет фанатическим

---

* Многоточие в подлиннике.

обожанием Льва Николаевича. Когда-то она была крайне православная; начитавшись статей Льва Николаевича, она сняла образа и лампады и повесила всюду его портреты и собрала целую коллекцию его запрещенных сочинений, которые переписывает за деньги для других. Она худа до невозможного, живет трудом непосильным, все сама делает, радуется на свой огород, на свою корову Маничку, телушку и на весь мир божий. Мы, женщины, не можем жить без кумиров, и ее кумир — Лев Николаевич. Мой был Ваничка, а теперь . . .* вот и пуста жизнь. А Льва Николаевича я развенчала, как кумира. У меня осталась к нему большая привязанность; мне было бы страшно тяжело, еслиб я лишилась этого его ежеминутного участливого отношения ко мне. Где бы он ни был, что бы ни делал, все бежит меня искать, и мне всегда радостно его видеть. Но счастья, настоящего счастья он мне не может уж дать.

Все то же: корректуры, купанье—утром, днем, вечером—все одно и то же. Перед обедом кроила и слаживала блузу полотняную Льву Николаевичу, вечером сверяла и составляла оглавления последних частей. После обеда я позвала Льва Николаевича, Туркина и папашу гостившего у нас художника погулять, и было хорошо с природой. Приехал Сережа на велосипеде из Никольского. Приехал Семен Иваныч[349] на тележке для Маши. Погода чудесная: грозы, маленькие дожди, тепло, ясно, и пышно, свежо, зелено.

Душевное состояние подавлено; страшными духовными силами я заглушаю всякие воспоминания. Нынче вгляделась в портрет Ванички и расплакалась. А утешенья нет, нет и нет. Телеграмма от Левы, он тревожится о семье. Любит ли он нас? Если любит, то почему так мучает? Сколько боли он мне сделал в короткое время! Таня тоже поднялась духом. Помоги ей бог, я очень ее люблю, чувствую и хотела бы ей помочь, да не в моей власти.

11 июня.

Все бодры, веселы. Встала поздно, ночь не спала, пошла купаться с Сашей и Miss Welsh. Читала с Марьей Васильевной корректуры, с садовником занималась яблонями, прививками,

* Многоточие в подлиннике.

цветами и посадкой елочек. Сердилась на Дуняшу за испорченную трату муки отрубной, которую я везла из Москвы для Льва Николаевича. Вечером с Таней ходила купаться и говорили о половой любви. Ее это стало как будто тревожить, и я ужасно за нее боюсь. Она такая целомудренная по природе и, сохрани бог, выйдет замуж за какого-нибудь нелюбимого человека или [1] Сухотина[350].—Вечером ходили по аллеям, Сережа и Семен Иваныч старик тут. Все были веселы, пели, шалили, плясали. Иду домой сегодня, Сережа играет, и вдруг поднялось болезненно в сердце желание той музыки, которая приводила меня в чудесное состояние и дала столько счастья. Вечером корректуры, немного фотографии, письма и приготовления к тульской поездке. 2 часа ночи.

12 июня 1897 г.

Была с Сережей и няней в Туле. Получала с няней ее проценты в Сберегательной кассе, с Сережей устраивали Машины денежные дела[351], и для Миши прошение взяли, для назначения меня его попечительницей. Потом покупки для всех. Жара, пыль и тоска ужасная! Вспоминала прошлогоднее пребывание в Туле с Таней, Сашей и Сергеем Ивановичем. Наше катанье на лодке, обед на вокзале, возвращение ночью по поезду, неожиданное появление в Туле Андрюши, и беззаботное, радостное настроение. Приехала—всех застала веселыми, села за корректуры. Потом одна пошла купаться. Когда вышла из Заказа, меня поразил закат солнца. Чисто, ясно, тихо; торжественное солнце и казавшийся особенно темным лес. Какая красота! С грустью плавала под молочным туманом. Шла одиноко домой, было совсем темно и совсем не было жутко. Над бугорком Ванички, где он, бывало, находил белые грибы, где мы с ним отдыхали, я всегда остановлюсь на минутку и прочту „Отче наш". Когда я теперь иду одна, — я не бываю одинока—моя душа всегда с теми, кого я любила в жизни и кого уже нет со мной. И это неотъемлемо, что бы ни случилось со мной, и как бы люди не были строги ко мне.

Вечером приехала Ольга Фредерикс[352], и у нее с Сережей сантиментальные воспоминания о прошедшем, и оба несчастливы! Пожалуй, что Таня избрала лучшую долю.

Пересматривала с Туркиным старые фотографии, и опять сердце мое повернулось от сожаления о прошедшем.

Лев Николаевич весел и счастлив и безумно страстен, как в прошлую ночь. Помоги мне бог сохранить его спокойствие и не взять на свою совесть ничего, в чем бы я могла упрекнуть себя. Написала письмо Леве. Неприятные ошибки в оглавлении нового издания.

13 июня.

Спала дурно, встала поздно, побежала купаться. Идут навстречу по дороге дети крестьянские, носили на покос обед мужикам; все больше маленькие, и так мне они стали все милы, эти ласковые, любопытные и серьезные глазки! Вспомнила Ваничку, иду с полным слез сердцем, прихожу в купальню, Таня говорит: „А я о вас сейчас думала". Я спрашиваю: „Что именно?"— „Да о Ваничке. Если мне так тяжело его вспоминать, как он плакал, оттопырив губки, и никогда от злобы или каприза, а всегда от горя, то каково вам".—Я говорю: „Ты по поводу детей его вспомнила?"—„Да".—И мы обе расплакались. Как часто я в сердце Тани неожиданно слышу и чувствую отголосок моего сердца и мысли. Мы не сговорились, а пережили в один и тот же момент и по одному и тому же поводу одно и то же чувство.

Саша без меня захлебнулась около купальни в реке и Таня ее вытащила с большим трудом в купальню. Пришла домой, зашла к Льву Николаевичу. Он веселый и бодрый, отлично работалось ему сегодня. Потом писала часа четыре подряд, переписывая для Льва Николаевича об искусстве.

Вечером опять купались, приехал Маклаков[339]. После ужина ездили в катках на завод Бельгийской компании около Судакова и смотрели машины, смотрели, как спускали расплавленный огненный чугун. Очень интересно, но грустно смотреть на этот ад, в котором день и ночь жарятся люди. Разбитная француженка, много людей, жара, камни и железо под ногами; сорвались лошади, их ловили. Лев Николаевич нежно заботлив обо мне, и это моя главная радость. Надолго-ли? — Тихая, свежая ночь, заря сходится с зарей и воспоминания о прошлогодних поездках на катках.

Дома была большая досада: из Москвы прислали ноты не так переплетенные, а главная досада, что обложку с надписью Сергея Ивановича на его квартете сорвали и бросили. Я чуть не плакала.

Льву Николаевичу моя досада была неприятна, и я старалась сдерживаться, но у меня необузданный, горячий характер, и я все не выучусь владеть собой. Написала артельщику сердитое письмо и мало раскаиваюсь.

14 июня.

С утра усердно учила Сашу; поправляла ей сочинение „О домашних животных", перевод с английского и спрашивала урок географии „О Китае". Она учится хорошо, внимательно и мне с ней не трудно. Я люблю преподавание, и это дело мне привычно. Ходили купаться с Таней, Сашей и Марьей Васильевной. Потом обед, корректуры, и корректуры до самой ночи. Вечером с Сашей, Мисс Вельш и M-lle Aubert, и Марьей Васильевной опять бегали на Воронку купаться. Таня, Коля, Маша, Миша уехали в Пирогово верхами и в кабриолете. Маклаков и Туркин уехали в Москву. Вечером пили чай: Лев Николаевич, Сережа и я. Чувствую себя постоянно одинокой. С Львом Николаевичем общения мало. Он все утро сидит у себя и пишет до обеда, до двух часов. После обеда уезжает на велосипеде или верхом. Потом спит; потом ходил на Козловку, провожал киевского юношу, который кажется хотел у нас пожить, но Лев Николаевич ему дал сильно почувствовать, что это нельзя. Вернулся он уже после нашего ужина и ужинал один. Лег он рано, а я сижу поздно.

Живу природой и усиленным трудом; помимо этого, очень скучно и одиноко; но я стараюсь быть бодра перед другими, и чувствую виноватость перед совестью и судьбой, давшей мне, относительно, все-таки так много.

15 июня.

Всю ночь напролет не спала. К утру заснула, разбудили рыдания. Видела во сне, что Ваничкины игрушки разбирала с няней и плакала. Сильное горе или сильную любовь, как ни старайся, ничем не заглушишь. Бывают дни, когда жизнь не натянешь. Это как ткань, которую на что-нибудь натягиваешь: иногда жизни так много, что ее избыток, иногда точь-в-точь

сколько нужно для счастья, а иногда не хватает, не натянешь—ткань, натягиваясь, вдруг и лопнет.

Пошла, вставши, проведать Льва Николаевича. Он делает пасьянс и говорит, что ему отлично работается. Потом он посмотрел на меня с улыбочкой и говорит: „Вот ты сказала, что я сгорбился, я и стараюсь держаться прямо“,—и сам вытягивается, выпрямляется.

Ночью был дождь, теперь ясно и свежий ветер. После кофе читала корректуры—скоро кончу все. Приехали П. А. Буланже [353] и сестра Лиза с дочерью [354]. Я им всем рада. Несмотря на холодный, северный ветер, мы два раза купались. Вечером, разговоры с Буланже о Льве Николаевиче как о великом реформаторе. Мы с сестрой не соглашались с отрицанием церкви и с мыслью в новой статье об искусстве о том, что степень значения произведения искусства зависит от степени его заразительности. Вопрос заразительности к о г о? уже уничтожает все. Мужика заражает гармоника и песнь, меня соната Бетховена или песнь без слов Мендельсона, Страхова—Руслан и Людмила, М-me Гельбих—Вагнер, башкирца—его дудка.

Холодно, ветер, облачно.

16 и ю н я.

Встала поздно, Льва Николаевича не видала до обеда. Усиленно работала над корректурами. К обеду все вернулись из Пирогова усталые. Приехала сестра Лиза, разговоры о религии. Жалею, что высказала свое мнение. Надо блюсти свято свое внутреннее отношение, самое непосредственное к богу: надо брать от церкви, что внесено в нее святыми отцами и самим богом, и главное—нужны не формы, не правила нравственные или религиозные,—это второстепенно,—а первостепенно с т р о г о е в о с п и т а н и е в н у т р е н н е г о ч у в с т в а, к о т о р о е б ы р у к о в о д и л о н а ш и м и п о с т у п к а м и, чтоб мы без компромиссов ясно и честно знали н а в е р н о е что̀ хорошо и что̀ дурно.—Бегала купаться на Воронку с Марьей Васильевной, моей единственной собеседницей нынешнего лета; это почти что одиночество: она вульгарна, шумна и была бы несносна, еслиб не ее внутренняя доброта.—Вечером опять корректуры—и вот и дню конец.

Холод, пасмурно и ветер.

[20] вижу сон: будто я лежу в незнакомой комнате, на незнакомой постели. Входит Сергей Иванович, меня не видит и идет прямо к столу; на столе пачка бумажек, точно оторванных от записок, счетов—небольшие клочки. Он надевает очки и поспешно пишет на этих бумажках. Я боюсь, что он меня увидит и лежу смирно. Но исписав все клочки бумаги, он их складывает, снимает и убирает очки, и уходит. Я вскакиваю с постели, беру эти бумажки и читаю. В них подробное описание состояния его души: борьба, желания,—я все это быстро просматриваю,—и вдруг кто-то застучал и я проснулась. Так я и не прочла всего. Очень было досадно проснуться, хотелось заснуть и прочесть—но, конечно, не удалось.

Опять чтение корректур, купанье в холодной воде и на холодном воздухе, одинокое возвращение домой по той дороге, на которой пережилось столько в 35 лет моей замужней жизни.—После чая ходили на Козловку все: Таня, Саша, Веточка [354], А. А. Берс[354], Туркин, мисс Вельш и мисс Обер. Шли хорошо, с Туркиным говорили о философии и он мне рассказывал о новой английской философии и ее направлении.—Думала о прошлогодних прогулках на Козловку-же. Какая разница! Как тогда было бодро, весело, счастливо.

Разница и в том, что вместо прошлогодней изящной, прекрасной музыки, доставляемой Сергеем Ивановичем, в настоящую минуту Лев Николаевич фальшиво и громко стучит на фортепиано аккорды, подбирая их, чтобы аккомпанировать Мишу, который на балалайке играет довольно ловко—но нелюбимые мною русские песни.—И невольно просится сравнение—и неужели оно может быть в пользу последнего?—Одному я рада, это что Миша дома, и хоть этим путем у него столь редкое общение с отцом.—Опять буду читать корректуру, и вот еще день из жизни вон.

С Сашей все не ладится. Она груба, дика, упряма и измучила меня, оскорбляя всякую минуту все мои лучшие, человеческие чувства.—Лев Николаевич ходил к умирающему мужику, Константину[355], два раза сегодня. Когда мы гуляли—он успешно писал и потом ездил на велосипеде. Он весел и бодр, как всегда [4]. А у меня является обратное состояние: мне делается

совестно и грустно, и является сильная потребность и желание отношений с кем-нибудь поэтических, чисто духовных, даже сантиментальных, но только не половых.

18 июня 1897 г.

Рождение Саши, ей 13 лет[53]. Какое тяжелое воспоминание о ее рождении! Помню, сидели мы все вечером за чаем, еще Кузминские жили у нас, и была M-me Seuron[356] гувернанткой и сын ее Alcide (умер, бедняга, холерой); и разговорились мы о лошадях. Я сказала Льву Николаевичу, что он все делает всегда в убыток: завел чудесных заводских лошадей в Самаре и всех переморил: ни породы, ни денег, а стоило тысячи. Это была правда, но не в том дело. Он всегда на меня нападал, на беременную, вероятно, мой вид был ему неприятен, и все время последнее он раздражался на меня. И на этот раз, слово за слово, он страшно рассердился, собрал в холстинный мешок кое-какие вещи, сказал, что он уходит из дому навсегда, может быть, уедет в Америку, и несмотря на мои просьбы—ушел.

А у меня начались родовые схватки. Я мучаюсь—его нет. Сижу в саду одна, на лавочке, схватки все хуже и хуже—его все нет. Пришел Лева, мой сын, и Alcide, просят меня пойти лечь. На меня нашло какое-то оцепенение от горя; пришла акушерка, сестра, девочки плачут, повели меня под руки на верх, в спальню. Схватки чаще и сильней. Наконец в 5-м часу утра возвращается.

Иду к нему вниз, он злой, мрачный. Я ему говорю: „Левочка, у меня схватки, мне сейчас родить. За что ты так сердишься? Если я виновата, прости меня, может быть, я не переживу этих родов...“ Он молчит. И вдруг мне блеснула мысль, не ревность ли опять какая, не подозрения ли? И я ему сказала: „Все равно, умру я или останусь жива, я тебе должна сказать, что умру чиста и душой и телом перед тобою; я никого кроме тебя не любила...“.

Он поглядел, вдруг повернув голову, пристально на меня, но ни одного доброго слова он мне не сказал. Я ушла, и через час родилась Саша.

Я отдала ее кормилице. Я не могла тогда кормить ребенка, когда Лев Николаевич вдруг сдал мне все дела, когда я сразу должна была нести и труд материнский и труд мужской.

Какое было тяжелое время! И это был поворот к христианству! За это христианство — мученичество, конечно, приняла я, а не он.

Встала сегодня поздно, пошла купаться с Таней и Марьей Васильевной. Холод ужасный. Сейчас 5 градусов только. Днем ленилась, прочла мало корректур, обдумывала и записывала материалы к повести. Вечером ездила в катках в Овсянниково, к Маше. С ней было приятно. На Козловке народ с песнями перетаскивал вагон для временного жилья,—через рельсы. Были с нами Берсы, отец и дочь, и Туркин, и Саша, и две гувернантки, Марья Васильевна, и Таня с Мишей верхом. Еще позднее проявляла фотографии Саши и Веточки, которых сняла сегодня днем.

Лев Николаевич утром купался в среднем пруду, потом писал. После обеда играл в tennis с девочками и Мишей. Потом ездил один на велосипеде и один верхом, выехал к нам навстречу. Пока я проявляла, он говорил с Берсом и Туркиным об искусстве: он очень этим теперь занят, и я во многом с ним совсем не согласна.

Еще Берс играл с Таней, она на мандолине, а то он играл танцы, и Миша и три девочки плясали, и я с Мишей сделала тур вальса так легко, что сама удивилась.—Час пробило.

19 июня.

Утром прямо, не одеваясь, начала копировать фотографии Саши с Веточкой. Потом проводила Веточку и ее отца и села за корректуры. Ходила купаться с Марьей Васильевной, вода очень холодна. Вчера вечером в 9 часов было только 5 градусов тепла. После обеда опять корректура. Ходили на Козловку за письмами. Все время говорила с учителем Миши, Туркиным, о воспитанье, о типах и характерах людей. На обратном пути встретили Льва Николаевича, провожавшего какого-то человека, сидевшего в остроге за стихотворение, написанное по поводу Ходынской катастрофы[357]. Лев Николаевич простился тут же с ним и домой пошел с нами, чему я была очень рада. Мне нездоровится, все бросает в жар, ноги болят—все это, говорят все, от критического периода. Самое ужасное—это

тоска, перед которой часто чувствую себя бессильной. Еще раз во мне что-то сломилось.

Неприятное сегодня были порубки, и бедный Грумонтский мужик, оборванный, просил прощения и кланялся в землю. Мне хотелось плакать и было досадно на кого-то (сама не знала кого), кто меня поставил в эти условия против моей воли, что я должна хозяйничать, т.-е. охранять леса, а чтоб их охранять должна наказывать таких жалких мужиков. Никогда не любила, не хотела и не умела хозяйничать. Хозяйство—это борьба за существование с народом,—а на это я совсем не способна.

Решили: мужиков, совершивших порубки, заставить отработать, урядника не доносить, и деревья, уже употребленные на постройку—им оставить.

Еще неприятно письмо Холевинской [358], ее сослали в Астрахань за запрещенные книги, которые она по записке Тани дала читать писарю в Туле. Холевинская озлоблена, измучена, просит у меня помощи. Не знаю, что еще буду делать, но очень хотелось бы ей выхлопотать прощение.

Лев Николаевич лихорадочно пишет „Об искусстве“, уже близок к концу, и ничем больше не занимается. Сегодня вечером он читал нам вслух франц. комедию из „Revue Blanche“ [359].

20 июня.

С утра корректуры, и весь день усиленно ими занималась, и о радость! кончила все. Шесть месяцев работала над корректурами и сегодня конец. Хорошо-ли только?—Ходили купаться с Таней и Марьей Васильевной. В воде $12^1/_2$ градусов и ночи холодные. Лев Николаевич ездил вечером в Тулу послать телеграмму Черткову в Англию. Чертков что-то тревожится о чувствах Льва Николаевича к нему. Но как Лев Николаевич его любит!—Вечером играла „Песни без слов“ Мендельсона и, вслушиваясь в звуки, вспоминала как их играл Сергей Иванович.

Еще позднее читала полученные мной письма от Левы из Швеции [20] и от В. В. Стасова [360]. Потом наклеивала фотографии и написала письмо Леве.

Полное одиночество вдвоем с Львом Николаевичем было приятно, напомнило мои молодые года, с полным, чистым душевным спокойствием, даже апатией, но зато без греха, без эмоций и страстей.

Поглубже задушить все это и потуже забить то жерло, из которого все рвется и просится наружу вулкан моей необузданной натуры.

Таня переписывала, играла на мандолине и гитаре, Саша убирала аккуратно свою комнату, варила варенье и делала букеты. Миша ездил куда-то с 22 рублями, громко пел и стучал аккорды на рояли, переодевался в Сашино платье и мало занимался.

21 июня 1897 г.

Не спала, встала поздно, села заниматься с Сашей. Вижу—она вся бледная, у ней тошнота, головная боль. Так жаль, но урок расстроился. Ее рвало и она легла. У ней бывают мигрени, как у отца. Позвала Таню и Марью Васильевну, пошли на Воронку купаться. Мерила платье, обедали. Приехали Оболенские [343], все играли о lawn-tennis, а я пошла одна бродить, посидела на вышке, побеседовала с Ваничкой, набрала цветов для его портрета. Иду домой, все мне навстречу, но я вернулась одна домой и села за фортепиано расправить пальцы, хочу опять играть. Приехал Илюша; мне очень жаль его, я знаю, что дела его очень плохи; между тем мне слепо давать деньги своим детям не руководя их делами—невозможно. Я никогда не знаю для чего я даю и где предел. Пробовала я не отказывать—вижу, что предела их требованиям нет, а мне теперь надо уплачивать за издание и жить, и на это не хватает. Самое тяжелое в жизни—денежные дела.

Вечером ходили гулять на Грумонт и очень было хорошо, красиво и спокойно на душе.

Если нет в жизни полного, безумного счастья, если не всегда праздник жизни, то хорошо полное спокойствие, и за это надо благодарить бога.

Мне нездоровится; с самого моего приезда сюда, что-то во мне надломилось, и так я это чувствую до сих пор. Странное я в себе подстерегла чувство: точно я поджидаю предлога лишить себя жизни. Эту мысль я давно в себе воспитываю, и

она делается все зрелее и зрелее. Я ее страшно боюсь, как боюсь сумасшествия. Но я люблю ее, хотя суеверие и просто религиозное чувство мешают мне. Я верю, что это грех и боюсь, что душа моя вследствие самоубийства лишится общения с богом и, следовательно, и с ангельскими душами, и потому и с Ваничкой. И вот иду я сегодня и думаю: напишу сотни писем и всем разошлю—самым неожиданным лицам, и расскажу в этих письмах почему я убилась. И вот я сочиняю эту исповедь, и она так трогательна, что мне самой над собой хочется плакать... И мне теперь страшно, что я могу так сойти с ума.— Теперь всякий раз, как у меня горе или упреки, или неприятности, я радостно думаю: а вот пойду на Козловку и убьюсь, а вы там как хотите. Страдать больше не хочу, и не могу, не могу, не могу, не могу. Или жить без страданий, или умереть и даже лучшее из всего, всего — умереть. Прости господи!

И сейчас обед писать: суп принтаньер, ах! как надоело! 35 лет, всякий день: суп принтаньер... Я не хочу больше писать: суп принтаньер, и тому подобное, а я хочу слушать самую трудную фугу или симфонию, хочу всякий день слушать самую сложную, гармоничную музыку, чтоб вся душа моя напрягалась от внимания и усилия понять: что автор хотел выразить этим таинственным, сложным музыкальным языком, чем он жил в самой глубине своей души, когда сочинял эти произведения.

Миша и Илья стучали на гитаре и рояли аккорды и громко кричали русские песни... Как речью можно выражать или простые потребности: хочу есть, хочу плясать, хочу целовать, или можно выразить самые сложные философские соображения: какое мое отношение к вечности? существует ли связь между моей душой и вечным началом—богом, каково это отношение...— так и в музыке. Простая мелодия, песнь—это простые слова, они понятны и Илье, и Мише, и мужику, и ребенку.—Сложная музыка, симфония, соната,—это философская речь, доступная только тонко развитому человеку.—Как дорого бы я дала, чтоб вместо этой стукотни опять заслышать эти изящные звуки, которыми я жила прошлое лето. Да, то был праздник жизни. Спасибо судьбе и за те воспоминания.

22 июня 1897 г.

Прекрасный летний, ясный день. С утра играла на фортепиано гаммы, этюды и упражнения. Потом купались. Обедали Илья и Коля Лопухин [361]. Потом опять час играла. После чая ходили мы, одни женщины, гулять. Саша грубо ворчала за то, что я ее отозвала от tennis'a, на который она только смотрела—гулять.

Таня пошла с нами, догнала нас и я ей очень обрадовалась. Она говорит: „Меня все больше и больше тянет к вам, и я, наконец, так притянусь, что войду в первобытное состояние и начну вас опять сосать". Я тоже все больше и больше привязываюсь к ней.—Илье я не дала денег и он мне все говорил неприятное. Что напрасно отдал мне Лев Николаевич имение по купчей, а не пожизненно; что я к старости буду деньги любить, и т. п.—Боже мой! неужели только и отношений с большими сыновьями, что деньги и деньги! От Андрюши тоже—только дай денег и денег! Ужасно!

Вечером написала 6 писем: Стасову, Холевинской, Андрюше, Кушнереву [362] типогр., Раевской и в магазины.

23 июня 1897 г.

Природа, наконец, всю меня охватила своей красотой и вытеснила из меня много тяжелого, чем страдала душа, и осветила мою жизнь. Я долго была к ней тупа и равнодушна нынешнюю весну, все смотрела внутрь себя, а теперь это прошло, и так хорошо! Покос везде, запах сена, ясные дни, тоненький, ясный серпок луны (сегодня в Воронке отражался), пестрый народ, котлы на рогатках и шалаши в поле (ночлеги покосников), скотина отъевшаяся, и темная, зрелая и очень богатая в нынешнем году листва дерев.

Утром час играла упражнения, потом пошли купаться. После обеда от 3-го до 7-го часа переписывала для Льва Николаевича статью „Об искусстве". Написала очень много. После чаю ходили все гулять, на Горелую Поляну, потом вышли на мост, на шоссе. Под мостом, пройдя вдоль по речке—новая купальня, мы с Сашей купались, холодно, но хорошо. Домой вернулись в катках, Лев Николаевич нас встретил на велосипеде и потом жаловался, что устал.—За обедом Миша резко разговаривал

с Иваном, лакеем, отец ему заметил, Миша продолжал в том же тоне, и Лев Николаевич рассердился, взял свою тарелку и ушел к себе. Очень было неприятно. Получила от Андрюши письмо—опять требования денег, и только от него и толку. Какое все горе от детей! Только Таня горя не делает, от нее больше всего радости, но * пока.

Вернувшись нашли Марью Александровну. Она фанатически обожает Льва Николаевича и им только и живет. В этом обожании она черпает те силы, которыми она живет, работает и все переносит. А то где бы ей взять эти силы с ее истощенным, худеньким телом и ее болезнью? Какая сила во всякой любви! Это прямо стержень, на котором держится всякая жизнь.

Вечером, после ужина, Лев Николаевич прочел о последних днях Герцена [363], я дописала для Льва Николаевича свою главу, много говорили и вспоминали о Н. Н. Ге и спорили о его распятии [364]. Я ненавижу эту картину, а Лев Николаевич и Марья Александровна ее хвалили. Мы вдавались в крайности и потому разговор этот скоро прекратился. Получила письмо от Левы из Швеции.

24 июня 1897 г.

С утра дождь, встала поздно, всю ночь болела правая рука. Очень хорошо учила Сашу, и она была внимательна. Ей главное нужно не учение, а развитие, о чем я и стараюсь. Мы учились часа два. Потом сидела с Марьей Александровной Шмидт и перешивала свое платье—рукава; мы с ней говорили о семейных наших делах, она очень участлива и добра. Ездила в катках с Сашей, Марьей Васильевной, мисс Вельш и Обер купаться. Лошади заминались и было несносно. Вода холодная, чистая и прибыла от дождя. Лев Николаевич страшно сосредоточен в своей работе и весь мир для него не существует. А я, как была всю жизнь одинока с ним, так и теперь. Я нужна ему ночью, а не днем, и это грустно, и поневоле пожалеешь о прошлогоднем милом товарище и собеседнике. Лев Николаевич ездил верхом один в Овсянниково, потом все сидел внизу. Я вошла к нему—он пасьянс разложил. Играла, когда никого дома не было, две сонаты Бетховена и „Песнь без слов“ Мен-

* „но“ приписано позднее.

дельсона; ею я всегда заканчиваю—как молитвой, я очень ее люблю.—От ужина до сих пор переписывала для Льва Николаевича и очень много переписала. Теперь 2 часа ночи, иду спать.

От Сухотина письмо — умерла его жена[350]. Очень тяжелы и мне и Льву Николаевичу эти отношения и переписка Тани с Сухотиным. [39].

25 июня 1897.

Ночь уж эту совсем не спала, все бросает в жар, точно обдаст всю жарким паром. Трудное я, физически, время переживаю.—Играла часа два слишком сонаты Моцарта и упражнения разные. Переписала много Льву Николаевичу. Не нравится мне его статья, и мне это очень жалко. Какой-то неприятный, даже злой задор в его статьях. Так я и чувствую, что нападает он на воображаемого врага (хотя бы Сергея Ивановича, к которому так ревнует меня) и вся цель его — уничтожить этого врага. Ходила пешком купаться на Воронку, тихо радовалась на природу и даже не разговаривала с Марьей Васильевной. День прошел, как и все лето идет—вяло и скучно. Приезжала Маша с Колей, пришла Надя Иванова[365]. И люди, и все—тускло, тускло... Читаю французскую книжку отвратительную — просто валялась, я взяла и ужаснулась сладострастному ее содержанию. Уже заглавие одно: Aphrodite[366]. До чего развращены французы! Но за то какую верную оценку можно сделать женской и своей красоте тела, прочтя эту книгу.

Большое счастье—неведение, в котором красивая женщина находится до старости, о своей красоте, особенно тела, это оставляет в ней чистоту и свежесть моральную. А такие книги—гибель.

26 июня 1897 г.

Жара, покос, сильно болит голова. С утра ходила купаться с Надей Ивановой и говорила ей о том, что внутри, в самой глубине души каждого человека есть двигатель его жизни. У мужчин: любовь к славе, нажива, — у редких — искусство, наука в чистом виде; у женщин главное—любовь, иногда фанатизм. В Шамордине[367] монахиня посадила два дерева косточками апельсина, который ел о. Амвросий[197] и плевал их. Она обожает эти два дерева и живет ими; а была курсистка, дворянка.

М. А. Шмидт боготворит Льва Николаевича. Лев Николаевич любит больше всего славу, и т. д.

После обеда играла с мисс Вельш, буду учить сонату Бетховена в mi b majeur *. Очень приятно с ней заниматься. — Таня и Саша ездили в Тулу. Приехал Сережа, завтра с Сашей еду к нему и к Илье.—Весь вечер переписывала Льву Николаевичу. Его почти не видала, как всегда. Он ездил на велосипеде в Тулу, отдал его чинить, оттуда вернулся частью пешком, частью на обратных телегах.—Здоровье мое все хуже и хуже.

30 июня 1897 г.

Вчера вечером вернулась от Сережи и Илюши, куда ездила с Сашей; хотела провести с Сережей день его рожденья, 28-го и дать ему менее почувствовать его одиночество именно в этот день. Он мне очень жалок и трогателен тем, что несчастие его так смягчило: он кроток, тих и грустен, к людям более снисходителен и ласков. А [2] жена его ждет родов его ребенка [15]. Жизнь Ильи и он сам на меня произвели безотрадное впечатление: четверо прекрасных детей [368] (особенно Миша хорош) и какие будут те идеалы, которые им ставит отец? Лошади, собаки, как подвывали гончие? гоняли ли Бархатного? А потом при всяком удобном случае выпивка с бог знает каким сбродом людей,—и больше ничего. Если он не изменится, плохие вырастут дети. Соня, жена его, смутно это чувствует и ее жалко. Она всячески выбивается из всего этого, много трудится—и он ей ни в чем не помощник, и она не справится одна с жизнью и с воспитанием детей.

В Никольском у Сережи—чудесная прогулка по живописным местам, гости, разговоры с Сережей о теории музыки, он мне кое-что сообщил о своих знаниях и дал прочесть кое-какие музыкальные брошюры и учебники. Рада была провести день с Варей Нагорновой.—Читала на железной дороге книгу ужасную: „Les Demi-Vierges“ Prévot [369], и почувствовала и стыд, и какое-то недомогание почти физическое, которое у меня бывает, когда я прочту грязную книгу. Как ужасно отсутствие чистоты в любви, а как и самая возвышенная любовь приходит к тому

* [Ми-бемоль мажор].

же, к желанию обладания и близости. Но во французской книге не падение женщин огажено, а этот полуразврат, т. е. в с е, только не самый последний шаг, и это хуже уж всего.

Вернувшись, застала Таню на Козловке; она ехала к Олсуфьевым, и я рада, что она хоть на время выйдет из своего тяжелого состояния, в которое попала под влиянием [4] Сухотина, и хоть рассеется и увидит порядочных людей.

Дома застала Мишу в диссентерии очень сильной и никто ему не помог ничем: Маша занята мужем молодым, Таня отъездом, а отец — у моих детей давно нет отца.

Сам же Лев Николаевич очень неприветлив, неприятен и я очень огорчена тем, что увидала еще и еще, как спокойно равнодушен он ко мне и моей жизни, когда я сижу в семье и никого не вижу; и как для того, чтоб он замечал и ценил меня — ему нужно, чтоб была опасность потерять мою любовь, или разделить ее, хотя самым чистым и невинным образом, но разделить с другим человеком. Как будто то, что я никого не вижу — может уничтожить в душе привязанности к другим или усилить их к нему!

Изо всего дня только и было сегодня приятного—разговор с Туркиным. Говорили о воспитании и характерах детей, об E m i l e Rousseau [370]. Потом о путешествиях, о Крыме он мне рассказал. Я много шила, и как-то пуст был день. Дождь льет с утра и ничто не веселит.

2 и ю л я 1897 г.

Вчера не писала. Заболел Лев Николаевич желудочно-желчным припадком. Я сидела, переписывала его же статью, прибежал Миша испуганный, говорит: „Папа кричит и охает от боли". Прихожу вниз, он сидит согнувшись и охает, и пот с него так и льет, пришлось тотчас же рубашку сменить. Сейчас же с Машей и Мишей мы принялись хлопотать: припарки из льняного семени, клистир из ромашки, сода, ревень. Ничего не помогало и всякие внутренние средства вызывали рвоту и от рвоты—нестерпимые боли. Всю ночь он не спал, боль продолжалась и мне ночью страшно стало за его жизнь. Я почувствовала, как я вдруг стану страшно одинока без него; и хотя я часто страдаю от того, что он любит меня физически больше чем морально, но если не будет его постоянного участия, мне и жить

не будет хотеться. Сегодня я перевязываю ему компресс, он ласкает рукой мои волосы и потом когда я кончу, он целует мои руки и все следит за мной глазами, когда я убираюсь или готовлю ему что-нибудь в комнате.

Сегодня был доктор Руднев, нашел организм Льва Николаевича очень сильным, болезнь — острый желудочно-желчный катарр и опасности никакой. Трудно будет выдержать Льва Николаевича на диэте. Он и заболел от огурца и редиски, которые ел, несмотря на мою просьбу не есть теперь, когда эпидемия и у него уже болело под ложкой. Миша тоже нездоров еще: у него все еще продолжается диссентерия. Он очень тих, ребячлив и мил в своем нездоровье. — Ходила купаться, тепло, сыро, чудесная лунная ночь—и так судьба устроила, что вместо прогулок, красоты природы, музыки—всего, что украшает жизнь, приходится возиться с клистирами, компрессами и бороться со сном, с желанием радостей природы, и т. д.— Читала Льву Николаевичу вслух глупый рассказ из „Нового Времени“ и сама кончила роман „Les Demi-Vierges“.

3 июля 1897 г.

Льву Николаевичу сегодня лучше, боли прошли, желудок действовал, и отлегло от души то горе, которое произвела его болезнь. Но он еще лежал весь день. К нему приходил молодой человек, сектант и он с ним много беседовал. Как все сектанты—этот тоже очень односторонний, узкий, но много читал и интересуется отвлеченными вопросами и человеческой мудростью. Читал в издании „Посредника“: Эпиктета [371], Платона [372], Марка Аврелия [373] и др.

Перешла сегодня в комнату Маши из своей спальни, где проспала 35 лет почти. Но стала желать больше уединения и очень жарко в спальне было, а я все задыхаюсь, и меня и так в пот весь день бросает. Ходила вечером одна на Воронку купаться, Туркин мне вышел навстречу, думая, что мне жутко одной итти. Сидели все вместе вечером на балконе, жарко, луна необыкновенно красива, Маша с Колей уехали в Овсянниково.

Утром учила немного Сашу; она стала лучше, я ее напугала, что отдам в институт. Миша учится, очень приятен, но

дик во многом и меня это неприятно пугает: из ружья тушит свечи, собирается делать наливку, стучит на фортепиано аккорды и громко, глупо и некрасиво выкрикивает песни. Может быть, еще молод и облагородится, станет утонченнее душой. — Было короткое холодное письмецо от Сергея Ивановича, он приезжает в воскресенье. Я еще не сказала Льву Николаевичу, боюсь его расстроить. Неужели он будет опять ревновать! Но мучительно это предположение, а главное Лев Николаевич болен и я так боюсь ему повредить. Еслиб Сергей Иванович знал, как он удивился бы! А я не могу преодолеть своего чувства радости, что будет музыка и будет приятный собеседник, веселый и порядочный. Он написал романсы для Тани и, наверное, очень любит ее.

4 июля 1897 г.

Здоровье всех лучше, но опять были неприятности. Миша за обедом упомянул о приезде Сергея Ивановича, Лев Николаевич весь вспыхнул и говорит: „Я этого не знал". [185].

Играла сегодня часа четыре и наслаждалась Моцартом. Совсем вечером ходила купаться, с мисс Вельш. Приехал Померанцев [374]. И его ругательски ругали; он ученик Сергея Ивановича.

Была гроза и дождь.

5 июля 1897 г.

Никакие ласки мои, ни мой внимательный нежный уход, ни мое терпение перед всеми грубыми и несправедливыми упреками Льва Николаевича — не смягчают его раздражения за приезд Сергея Ивановича. Теперь я решилась молчать. Дело мое, личное, перед богом и моей совестью. — Приехал Померанцев, Муромцева [375]. Весь день провела праздно, в разговорах. Муромцева талантливая натура и потому понимает многое если не умом, то чутьем.

Лев Николаевич разговорился об искусстве перед Померанцевым, Муромцевой и Мишей, отрицая Вагнера, новую музыку, последние произведения Бетховена и пр. Его споры и доказательства всегда сопровождаются таким раздражением, что я не могу их слушать, и ухожу.

6 июля 1897 г.

С утра разговоры с Муромцевой, потом поехали купаться. Жара такая, какой еще не было, и я это люблю. Возвращаемся домой, у леса встретили Сергея Ивановича и Юшу [374], идут по прошлогоднему—купаться. Вернушись, вошла к Льву Николаевичу. Он зол, неприятен, ревнив, и никакие самые кроткие и добрые речи не смягчили его. [63].

Муромцева уехала. Она противно прижималась и цеплялась за Сергея Ивановича в катках и я в ней увидала ее другую — нехорошую сторону.

Приехал Митя Дьяков [376], ушли все мальчики на хороводы. Вернулась Таня, милая и приятная. Сергей Иванович ничего не ел за ужином и говорил, что у него болит голова. Сохрани бог, если он что заметит!

10 июля.

Пережила тяжелые, тяжелые испытанья. То, чего я так страшно боялась с Таней — получило определенность. Она влюблена в Сухотина и переговорила с ним о замужестве. Мы случайно и естественно разговорились с ней об этом. Ей, видно, хотелось и нужно было высказаться. [5] С Львом Николаевичем тоже был у ней разговор. Когда я ему это впервые сообщила, то он был ошеломлен, как-то сразу это его согнуло, огорчило даже не огорчило, а привело в отчаяние. Таня много плакала эти дни, но она кажется, сознает, что это будет ее несчастье и написала ему отказ.

Мои отношения с Львом Николаевичем опять исправились. Но какою ценою! [152].

13 июля 1897 г.

Сегодня уехал Сергей Иванович. Эти дни все было мирно и хорошо. Сергей Иванович играл несколько раз. В первый раз, вечером 10-го Лев Николаевич пошел к Тане говорить о Сухотине, а я попросила Сергея Ивановича мне сыграть сонату Моцарта. Мы были одни в зале, тихо было и хорошо. Он сыграл две и прелестно! Потом сыграл прекрасный Andante из своей симфонии, я его раньше слышала в Москве и очень его люблю.

В тот же вечер, когда все собрались к чаю, он еще играл сонату Шопена. Никто в мире так не играет, как он. Это благо-

родство, добросовестность, чувство меры, иногда стремление куда-то, как будто он забываясь, отдается чему-то, и тогда захватывает слушателя. На другой день, 11-го, он опять играл: Рондо Бетховена, вариации Моцарта: „Ah! vous dirai-je, maman", потом Шуберта, из Фауста песнь Маргариты, и балладу Шопена, и полонез Шопена.

Очевидно он старался выбирать то, что любит Лев Николаевич, игра его меня истерзала. Когда он доигрывал полонез, я уже не могла сдерживать свои слезы и так меня и трясло от внутренних рыданий.—Вчера, 12-го сонату Шопена он повторил.

Сегодняшним днем лето переломилось. Мне всю неделю так было хорошо [3]. Мы ездили два раза на завод Бельгийской компании, ходили гулять по Горелой Поляне, кругом и около шоссе под мостом купались. Еще ходили на шахты, прекрасная прогулка Засекой; еще вчера гуляли к Кочаку [377], на Лимонную посадку и сделали хороший круг. Ездили всякий день вместе купаться целой компанией. Сегодня и вчера я всех фотографировала, и то же делал Н. В. Туркин. Мои фотографии почти все удались хорошо. Я много раз снимала Сергея Ивановича, и на этот раз Лев Николаевич не сердился. Он вдруг затих, стал добр, ездил вчера и верхом и на велосипеде, и на меня не сердится. Да и за что бы! Что дурного выйдет из моей дружеской привязанности к такому чистому доброму и талантливому другу? Как жаль, что ревность Льва Николаевича испортила наши отношения!

Таня получила ответ от Сухотина и он ей, очевидно, пишет ряд тех банально-нежных слов, которыми уже завлекал столько женщин! Мы с Машей сегодня плакали о безумной, слепой любви Тани. [17].

Приезжал Андрюша на один час из Москвы. Все то же! Денег дай,—слабый, нежный и жалкий. Ходили вечером купаться. Порою сожмется сердце и не хочется думать, что никогда не повторятся ни наши прогулки, ни музыка, ни тихое, милое общество этого человека. Но и тут—что бог даст! Верю в божью волю, и в добрую его волю.

Переписывала Льву Николаевичу немного, проявляла фотографии, мало видела Марью Александровну, о чем жалею.

Второй час ночи, правый глаз плохо видит.—Как страшна не смерть—я ее приветствую,—а немощная старость!

Померанцев мне посвятил свои романсы, Танеев мне привез свои дуэты. Буду опять заниматься музыкой.

Погода меняется; эту неделю была страшная жара, а сегодня тепло, но дождь маленький и ветер к вечеру.

Какая была теплая, светлая и радостная неделя, еслиб не горе с Таней.

14 июля 1897 г.

С утра и весь день проявляла фотографии, копировала и работала на всех, кто меня просил. Вот и мой портрет *, вырезанный из неудачной группы с Таней. Но говорят, что я моложавее этого портрета, это оттого, что у меня яркие краски в лице.—Ходили пешком купаться, северный ветер и ясное небо. Вечером я устала, Лев Николаевич меня позвал прогуляться, чему я была очень рада. Миша неожиданно откровенно и горячо начал мне рассказывать о том, как ему стало трудно от полового возбуждения, как он чувствует себя даже больным, желал бы остаться чист и боится, что не устоит. Бедные мои мальчики! У них нет отца, а что я могу советовать в таких делах? Я ничего не знаю из этой области мужской жизни. Таня была в Туле. Лев Николаевич весел, рассказывал, как он в Туле заехал на велосипеде в велосипедный круг, и все разговоры о гонках и о всем, что касается велосипедной езды. Его и это еще интересует!—Чувствую себя вялой, писала письмо Леве, отвечала на разные деловые, выдавала жалованье, записывала счеты, и немного переписала для Льва Николаевича его статью „Об искусстве". Бодрюсь и лихорадочно деятельна. Переписывала для Льва Николаевича до 3-х часов ночи.

15 июля.

Встала поздно, копировала фотографии, ездила купаться с Сашей и гувернантками. Опять копировала, учила Сашу, очень хорошо сегодня шел урок, задала ей сочинение о лесе и мы

* Приклеена фотография. Софья Андреевна сидит в плетеном кресле, опершись правой рукой на кресло, в котором сидит Татьяна Львовна, фигура которой видна только частью. С. А. в белом платье. Под фотографией ее рукою написано: „Мне 53 года".

перечитывали разные отрывки Тургенева и других писателей, где описывается лес. Я ей указывала на красоты подробностей описаний, взятых автором из непосредственных впечатлений, а не выдуманных. Саша как будто все понимала. Поправляла ей перевод с английского о древних философах рассказ, и спросила географию Америки.

После чая мы все пошли пешком в Овсянниково. У нас в гостях шведский студент, хороший малый. Дорогой Николай Васильевич Туркин все фотографировал разные моменты с овцами, станцией, остановкой с нашими лошадьми. Хорошо бы, еслиб вышло.—Посидели у Маши, вернулись в катках. Яркий, красный шар солнца на закате, чистое, светло-голубое небо, свежо и красиво. Лев Николаевич и швед вернулись домой верхами. Лев Николаевич меня поразил сегодня, что выпил 8 чашек чаю вечером, и это после целой кастрюли геркулесовой овсянки, целой тарелки винегрету и компоту.

Сейчас 2 часа ночи, я все переписывала. Ужасно скучная и тяжелая работа, потому что наверное то, что написано мною сегодня — завтра все перечеркнется и будет переписано Львом Николаевичем вновь. Какое у него терпение и трудолюбие— это поразительно!

Думала много сегодня о Сергее Ивановиче после разговора о нем с Николаем Васильевичем после восторженных о нем отзывов шведского студента, знавшего С. И. в Москве. Есть что-то в нем, что все любят. Думаю о нем спокойно; это всегда бывает, когда я его повидаю. Но не достает он мне в моей, особенно летней жизни — постоянно [30].

Хочется страстно музыки, хотя бы самой поиграть. Но то нет времени, то Лев Николаевич занимается, то он спит—и все ему мешает. Без личной радости, которая теперь у меня в музыке, скучно жить. Стараюсь себя уверять, что радость в исполнении долга, заставляю себя переписывать и делать все, что составляет мой долг, но иногда сламывается воля, хочется личных радостей, личной жизни, своего труда, а не труда над чужими трудами, как было всю жизнь — и тогда я слабею и мне плохо.

16 июля.

Встала поздно, вчера опять переписывала до 3-х часов ночи. С утра опять переписывала до обеда. После обеда пошла смотреть как прививают яблони, потом с садовником прошла по посадкам и сделала разные полезные распоряжения. Набрала сыроежек, шла домой, встретила из яблочного сада хозяина, снявшего наш сад и постыдно и больно кричала на него за то, что не ставят подпорки, и яблони в большом количестве поломались. Решила подать жалобу земскому начальнику, и не подала. Потом пошли купаться.—Весь день была деятельна и бодра и вдруг нахлынула волна такого болезненного отчаяния, что я ужаснулась.—Надо жить бодро и вперед, вперед, не оглядываясь, без сожаленья и с твердой верой в то, что бог делает все к лучшему. Шла по лесу домой и все молилась горячо, всей душой, отдаваясь воле и благости божьей.

Вечер весь наклеивала фотографии, завтра их все раздарю и больше так работать над фотографией не буду. Наклеила сегодня 80 штук.

Уехал Туркин, учитель Миши и очень жаль, он был прекрасный человек и педагог. Тепло, ясно, чудесное лето! Лев Николаевич все сидит в своем кабинете, пишет статью, письма; читает, ездит купаться на велосипеде. Он ко всему и всем равнодушен.

17 июля 1897 г.

Все переписываю и копирую фотографии. Сегодня все раздала и на время прекращу это занятие.—Ездили купаться, приезжали после обеда соседи из Судакова — Шеншины[378], ходили гулять вокруг посадки и на купальню. Чудесный вечер, чистый, ясный, темно-розовый закат солнца, грустная Таня, какой-то чуждый Левочка—и грусть на душе. Миша ездил крестить девочку Ивана лакея. Саша варит варенье Маше, писала сочинение, весь день хохочет, толста, красна и груба всем. Были Маша с Колей, играли в tennis.

Приехала внучка Анночка с русской учительницей. Завтра приедет Соня с 3-мя мальчиками, а в субботу Илья. Они все уезжают от именин Ильи, когда у них в доме съезжались соседи и происходило пьянство. Люблю и хвалю Соню, что она старается отклонять от Ильи и от семьи все безобразное и

безнравственное. Я рада внукам, особенно Мише. Сегодня мечтала провести день одна, писать, играть, читать—и вдруг гости, а теперь семья Илюши, и я займу свое время внучатами. Переписала длинную главу в 50 слишком листков и кончила. Трудная и скучная эта работа. Ну, да все равно! Дотягивать свою жизнь *долга* до конца. А мало мне было радостей, а теперь еще и еще меньше.

18 *июля* 1897 г.

Уже 18 июль! Не знаю, хочу ли я, чтоб шло время или чтоб стояло.—Ничего не хочу! Сегодня Таня сидит в зале на кресле и плачет горько; пришли мы с Марьей Александровной и тоже принялись плакать. Бедная! она не радостно, не смело любит, как любят молодые с верой в будущее, с чувством, что все возможно, все весело, все впереди! — Она болезненно влюблена в старого, ему 48 лет, а ей 33 будет, [1] и слабого человека! Знаю я это именно *болезненное* чувство, когда от любви не освещается, а меркнет божий мир, когда это *дурно, нельзя*—а изменить нет сил. Помоги нам бог!

Приехала невестка Соня со всеми моими внучатами. Я им очень рада, но—увы! они не наполнят моей жизни, вся моя любовь к *детям* (своим) иссякла до дна; *этим* я уже жить больше не могу [379].—Они все уехали в Овсянниково, трое маленьких мальчиков легли спать, а я упражнялась на фортепиано, но приехали Оболенский [380] с молодым графом Шереметевым [381] и помешали мне. Мне всегда мешают, и это очень досадно и тяжело.

Сегодня и Лев Николаевич и я больны желудками и потому физически просто мрачны. Занималась много делами: написала самарскому управляющему, составила объявления в газетах о выходе нового издания, написала прошение земскому начальнику о порче яблонь, послала книги Леве, деловые бумаги, паспорты в Москву, отвечала Левенфельду [190] в Берлин, записывала дела в Туле на завтра и пр., и пр. Все это нужно, но так скучно, скучно! Лев Николаевич утром писал, потом все лежит на диване в кабинете и читает. Внуки его не радуют, как и дети. Ничего и никого ему не нужно; а между тем вокруг него всякий заявляет свои права на жизнь, на движение, на свой личный интерес в жизни...

20 июля 1897 г.

Вчера не писала, провозилась с внуками, потом с неудачными фотографиями до самой ночи. Спала дурно, мало. Сегодня день неудач. Саша что-то прищемила Анночку, Таня на нее напала, и Саша до того разрыдалась, что обедать не пошла. Мне стало досадно, что она расстраивает именинный обед Илюши, я велела ей, грозно крича на нее, выйти; она пошла, но рыдала весь обед и ничего не ела. Я вспомнила, как нежный Ваничка страдал бы, глядя на горе Саши; он не мог выносить ничьего горя, и так стало грустно, грустно. Мне мало было жалко Сашу, потому что перед обедом она одевалась и все время безжалостно изводила няню, и я это слышала из третьей комнаты.

Опять все то же: ездили купаться и я много переписывала. К Льву Николаевичу у меня тихая нежность; в минуты затруднений и горя я все-таки льну к нему, ищу поддержки и утешения,—хотя знаю, что редко отзовется он, и еще реже поможет.—Боже мой, сколько трудных душевных и семейных вопросов приходилось переживать и решать самой и одной!

Вот и сегодня: телеграмма от Андрюши: „Ради бога пришли 300 рублей денег". Что делать? Посоветовавшись со всеми, решили не посылать; а Илюша вызвался съездить в Москву и к Андрюше, в лагерь, завтра. Я ему очень благодарна.

Еще неудача: наш симпатичный Мишин преподаватель, Н. В. Туркин, никак не может продолжать уроков с Мишей. Сабанеевы [382] — и муж, и жена больны, и он один остается и для семьи, и для журнала „Природа и Охота" [383]. Какая неудача для Миши! Это может повредить его экзамену в 7-й класс. Один он ничего не сделает, а какой еще попадется учитель!

Пробовали вечером дуэты и романсы Танеева, и ничего не вышло. Трудно и сложно, надо поучить сначала.

Жара страшная, на солнце 43 градуса, в тени 30. Семья Илюши мне очень приятна, и я благодарна милой Соне, что она приехала и привезла всех. Какая она хорошая, настоящая, и женщина, и мать, и жена; и характер у нее милый.

Таня и вчера, и третьего дня плакала, а сегодня как будто покойней.

Поиграла и вчера и сегодня по часу. Но это так мало! Ничего—для успехов, но что-нибудь для нерв и развлечения.

21 июля 1897 г.

Вчера видела во сне Ваничку, худенького, лежащего, протягивающего мне бледную ручку; сегодня видела во сне Сергея Ивановича тоже лежащего и с улыбкой протягивающего мне руки.

Маша говорила мне, что Илья очень огорчается, что в Киеве у сестры Тани [384], и у Философовых [291], и везде говорят о моей привязанности к Сергею Ивановичу. Как странно устроилось мнение общества! Кого-нибудь любить—это дурно. А меня не огорчают и не смущают толки эти. Я даже рада и горда, что мое имя связывают с именем такого прекрасного, нравственного, доброго и талантливого человека. Моя совесть спокойна; я чиста перед богом, мужем и детьми—как новорожденный младенец, как телом, так и душою, и даже помыслами.—Знаю, что больше, лучше, сильнее Льва Николаевича я никого не любила и не могу любить. Когда я его увижу вдруг где-нибудь неожиданно, мне станет всегда радостно, я люблю всю его фигуру, его глаза, улыбку, разговор, в котором никогда не услышишь ничего вульгарного (разве только в гневе, но забудем это), его вечное желание совершенствования.

Уехали Миша и Митя Дьяков в Полтаву, к Данилевским [385]. Уехал Илья в Москву к Андрюше, уехали Маша и Коля Оболенский к родным.

Купались, сняла опять группы в катках и в воде. Копировала вчерашние, переписывала для Льва Николаевича часа три сряду. Буря, ветер, пыль столбом, отдаленные раскаты грома и набат по случаю пожара где-то недалеко. Жара была томительная, в тени—28 градусов, на солнце—43, в комнатах—$20^1/_2$.

Таня не совсем здорова, бледна и, боже мой, как мне ее жалко, и как я ее люблю! Так взяла бы, схватила, обняла, унесла бы куда-нибудь. Ах, вы мои старшие, любимые дети, Сережа и Таня, сколько любви, забот, мечты мы вами дали—а господь не оглянулся на вас! Мало счастья было на их долю.

22 июля 1897 г.

Опять всю ночь нездоровье Льва Николаевича. У него среди ночи сделался приступ холерины; рвота и понос в пе-

ремежку непрерывно часа четыре. Болей больших не было, и к утру прекратилось. Вчера он съел невероятное количество печеного картофеля, пил квас при боли под ложкой, а третьего дня пил Эмс и съел персик. Отсутствие гигиенических сведений и невоздержание Льва Николаевича изумительны при его уме.

Приехал Сережа, играл приятно на фортепиано. Я живу как автомат: хожу, ем, сплю, купаюсь, переписываю... Своей жизни нет: ни почитать, ни поиграть, ни подумать—и так вся жизнь. Жизнь ли это? Hélas, la plus grande partie de notre vie n'est pas vie, mais durée *. Да, я не живу,—je dure.

Сережа сегодня говорит: „Мама впадает в детство, я ей подарю куклу и, так и быть, и фарфоровый сервиз". — Это смешно, его слова, но мое впадание в детство совсем не смешно, а очень трагично.—Я никогда не имела времени заняться самостоятельно чем бы то ни было, не было времени собой заняться. Приходилось подставлять свои силы и свое время на то, чего в данный момент требовала от меня семья: муж или дети. И вот подкралась старость, и я проработала на семью все свои умственные, душевные и телесные силы, и осталась, как говорит Сережа — ребенком. Отработав на семью, я и ахнула, что не образовалась лучше, что не имею в руках никакого искусства, что мало знала людей и мало от них чему научилась—но все поздно.

Переменилась погода, ветер, серое небо. Написала письмо Туркину, переписывала целую главу для Льва Николаевича „Об искусстве". Еще день из жизни. Льву Николаевичу к вечеру лучше, он сидит в зале и с сыном Сережей играет в шахматы.

23 июля 1897 г.

С утра впечатление приезда Ильи с Андрюшей и нового учителя Миши—Соболева [386], который заменит Туркина. Как жаль Туркина! Этот живой, развязный, страстный химик, много говорил с Сережей об университете и химии. Андрюша опять прокутился у цыган, занял 300 рублей денег и очень мне тяжел и неприятен своей безобразной жизнью. Что-то с ним будет в жизни! Плох уж он очень, а главное пьет, а пьяному ему

* [Большая часть нашей жизни не есть жизнь, а времяпрепровождение.]

море по колено. — Илюша пришел сегодня в мою комнату и начал мне упрекать, что я переменилась, стала меньше детей любить, стала от них отстраняться. Я стала оправдываться, вспоминая им (тут были еще Таня, Соня и Андрюша) как я проводила время в вечном труде то с детьми, то с переписыванием и служением отцу их, и вспомнила тяжелое время, когда родился Ваничка: Лева экзамен зрелости держал, мальчики остались без гувернантки, я кормила с больными грудями плохенького ребенка, и весна, и отыскиванье учителей, и укладка, и слабость после родов—а Лев Николаевич ушел в Ясную пешком, меня бросил, несмотря на мои слезы и просьбы о помощи—и так сколько, сколько трудов, бессонных ночей, слез, сомнений я пережила, сколько весен прожила в городе, чтобы не покидать экзаменующихся сыновей,—а теперь только упреки и упреки. Я слушала, оправдывалась, да и не выдержала—разрыдалась.

И как мне ни упрекай дети — я никогда уже не буду, чем была. Все изнашивается, и мое материнское, страстное отношение к семье—износилось. Не могу и не хочу больше страдать глядя на их слабости, недостатки, их неудачные жизни. Мне легче с постороннимн, мне нужны новые, более содержательные и спокойные отношения с людьми; мне так наболели все семейные отношения!

Упрекали мне и за Сергея Ивановича. Пускай! То, что дал мне этот человек — такой богатый, радостный вклад в мою жизнь; он мне открыл дверь в музыкальный мир, от которого я только после его игры стала находить радость и утешение. Он своей музыкой разбудил меня к жизни, которая после смерти Ванички совсем ушла от меня. И он мне давал своим кротким и радостным присутствием — душевное успокоение. И теперь, после того как я повидаю его—мне вдруг делается так спокойно, хорошо на душе. — А они все думают, что я влюблена! Как у нас все умеют опошлить! Я, старая уже—и такое несообразное слово и мысли.

Ходили после чая гулять с Львом Николаевичем, Сережей, Таней, Сашей и гувернантками. Лев Николаевич говорил с Сережей неприятным, раздражительным тоном о значении науки. Я отошла подальше, я не выношу этого тона, который

грозит всякую минуту перейти в тяжелый спор и даже ссору. Но Сережа был сдержан и обошлось благополучно. Пришли—темно, играли мужчины в шахматы, я немного почитала—и весь день переписывала.

Стало холодно, северный ветер, сухо, к вечеру прояснило. Мы все-таки купались. Играть совсем не приходится и очень скучно живется. Остригла внуков, повозилась с ними вечером; они очень милы, но не глубоко забирает меня это чувство бабушки. Надо опять спуститься к земле, полюбить земные интересы с детьми, а я уж ушла, меня детская жизнь перестала интересовать. Довольно ее было!

24 июля 1897 г.

Учила утром Сашу, поправила ей сочинение Лес. Потом купались. После обеда переписывала Льву Николаевичу и сейчас переписывала, кончила длинную главу. Вечером все играли в tennis: Илья, Андрюша, Лев Николаевич и Вака Философов [387]. Внуки бегали с хлыстиками, Таня, Соня и я смотрели на игру и возились с тремя внуками: Мишей, Андрюшей и Илюшей. Я долго сидеть не люблю, принесла пилку и ножницы и стригла сухие и негодные ветки по аллее. Дождь нас всех домой вогнал. Ходила раньше по саду и смотрела печальное хозяйство плохого садовника. Дома разговаривала сначала с Ильей, потом с Андрюшей и Вакой. Главное я внушала им страшный вред опьянения и горячо советовала совсем бросить вино. Все ошибки и все дурные поступки моих сыновей, главное, от употребления вина.—Таня была в Туле; приехала довольно оживленная; но мне грустно ее невеселое оживление. Она ушла, наша милая Таня, ушла от нас, от себя, от спокойной счастливой жизни, и идет к погибели. Дойдет ли? И вернется ли когда опять?—Ах, как все печально, печально!

Сейчас иду читать „Письма о музыке" А. Рубинштейна [388]. У Льва Николаевича какой то темный—Ярцев [389]. Ему, видно, невыносимо скучно с ним. Притом нездоровится, живот все у него болит и слабость. Лежит все внизу и читает, и мрачен, серьезен очень. Его Таня сильно огорчает.

25 июля.

Лев Николаевич все не совсем здоров желудком и потому мрачен, работать не может, не в духе, в чем даже у меня про-

сил извинения.—День сегодня провела довольно праздно. Переписывала романс Сергея Ивановича, который он написал по заказу Тани на слова Фета: „Какое счастье—ночь и мы одни“ [390]. Читала „Письма о музыке“ А. Рубинштейна, мечтала поиграть и не удалось. После чая, вечером, ужасно хотелось пойти далеко погулять. Таня и Соня катались на лодке, гувернантки с Сашей ездили на Козловку. У Льва Николаевича был посетитель, какой-то студент Духовной Академии, присланный Анненковой. Я позвала Льва Николаевича гулять, но уже кончился чудесный закат солнца, стало холодно, Лев Николаевич дошел до деревни, озяб и вернулся один домой, а я с Соней еще прошлась. Но какие это прогулки! Короткие, бессодержательные. И то спасибо Соне милой, она для меня пошла, и с ней всегда приятно.—Покупали с Таней у старухи русские кружева. После ужина Лев Николаевич прочел нам французскую драму в „Revue Blanche“, довольно глупую.—Завтра утром Соня с детьми уезжает, и мне очень это жаль. Они нисколько не мешали, а вносили много радости и оживления.

Сегодня сижу одна на балконе и думаю: как я хорошо обставлена: как красива Ясная Поляна, как спокойна моя жизнь, как мне предан муж,—как я независима касательно денег,— отчего же я не вполне счастлива? Виновата ли я? Я знаю все причины моей душевной боли. Я знаю, во-первых, что я скорблю о том, что дети мои не так счастливы, как бы я того желала, а что сама я, в сущности, страшно одинока. Муж мой мне не друг; он был временами и особенно к старости — мне страстным любовником. Но я с ним всю жизнь была одинока. Он не гуляет со мной, потому что любит в одиночестве обдумывать свое писание. Он не интересовался моими детьми,—это ему было и трудно, и скучно. Он никуда, никогда со мной не поехал, не переживал никакие впечатления вместе — он их пережил раньше и везде бывал. Я же покорно и молчаливо прожила с ним всю жизнь—ровную, спокойную, бессодержательную и безличную.—И теперь часто болезненно поднимается потребность впечатлений искусства, новой природы, умственного развития, желания приобрести новые сведения и знания, желание общения с людьми—и опять все надо подавлять, и молчаливо, покорно доживать жизнь без интереса

личного и без содержания. Всякому своя судьба. Моя судьба была быть служебным элементом для мужа-писателя. И то хорошо: служила по крайней мере достойному жертвы человеку.

Ходила к больному мальчику, клала компресс на живот, давала лекарство и так он мне охотно подчинялся во всем.

26 июля 1897 г.

С утра переписывала ноты, ходила купаться; очень холодно, ветер, приехали: англичанин Мод [391], Буланже, Зиновьев и Надя Ферре [342]. Мод тяжеловесен и скучен; Зиновьев способный, живой, но мало симпатичный; Буланже умный и добрый, очень предан Льву Николаевичу и всей нашей семье. Он очень занят теперь изданием книг „Посредника".

Говорили о смерти и разных отношениях людей к этому вопросу. Сама я отношусь к этому вопросу вот как: я давно чувствую свою душу вне тела, отрешившуюся от земных интересов. И это дало моему духовному я — безграничный простор,—следовательно, беспредельность и вечность. Кроме того моя несомненная связь с божественным началом так тверда, что я так и чувствую путь, по которому я вернусь к тому, откуда и изошла. У меня бывают иногда минуты такой радости, когда я подумаю о том таинственном переходе куда-то, где наверное уже не будет тех страданий, которыми я мучаюсь здесь. Я не умею выразить, но мне кажется, что когда я умру, я стряхну с себя все лишнее, всю тяжесть—и легко, легко станет,—и улечу куда-то.

Вечером много играла. С интересом и любопытством перечитывала разные места из Бетховенских сонат, учила Инвенцию Баха. Читаю и кончаю „Письма о музыке" А. Рубинштейна. Лев Николаевич все не совсем здоров. Его вегетарианская пища его не довольно питает, растягивает живот и кишки, производит изжогу и ветры. Он ездил на Козловку верхом и разговаривал много с гостями.

Рано утром уехала Соня с детьми. Андрюша ездил к Бибикову [392]. Все обещает не пить, а двух дней не может прожить без пьющего и преступного общества, как эти Бибиковы.—

Таня как-будто поспокойнее. Но как она похудела! — Саша ходила с гувернантками за орехами.—Стало холоднее. Огромное количество яблок; как красив их вид, и сбор сегодня.

27 июля 1897 г.

Ходили утром купаться: в воде 14 градусов, на воздухе 11. Очень холодно. Льву Николаевичу все нездоровится, но он ездил верхом в Ясенки; Таня и я — мы ездили тоже верхом в Овсянниково. Чистый, яркий закат, луна,—к вечеру затихло, очень было хорошо. Я теперь так живу: сейчас, в данную минуту, хорошо,—ну и славу богу.—Марью Александровну [284] застала очень утомленную и даже угнетенную. Она слишком много работает.—Опять Зиновьев, Мод и Буланже. Буланже вел со мной длинный разговор о том, что еслиб я по теории Льва Николаевича отдала бы все имущество и стала бы работать—то нам не дали бы ни работать, ни бедствовать, отовсюду явились бы и деньги, и помощь, и любовь к нам.

Какая наивность! Однако мы живем, пишем, болеем—и никогда никто кроме меня и дочерей, ни попишет, ни за больным не походит, и ни в чем не поможет.

Поиграла немного. Поучила Inventions Bach'a и разобрала увертюру Оберон, и сыграла любимые: „Мелодию“ Рубинштейна, „Песнь без слов“ Мендельсона и „Романс“ Давидова.

28 июля 1897 г.

Живу вяло и лениво, хотя внешне жизнь полна. Ходили купаться, приехали Гинсбург и И. Раевский, потом вечером Цингер, Александр Васильевич. Гинсбург хочет меня лепить во весь рост в виде маленькой статуэтки [303]. Он хвалил мой рост, фигуру; говорил, что я в 6 лет совсем не изменилась. Зачем все это? А что-то есть тщеславно-приятное в этой лести, если это лесть. Все, и Лев Николаевич, играли в lawn-tennis, а я два часа играла на фортепиано и отвела душу. После чая ходили гулять, на Горелую Поляну, перешли по жердочке речку и вышли Засекой на шоссе. Потом сидели в казенном питомнике и вернулись домой, когда взошел прекрасно месяц, светлый и почти полный. А на западе заря вечерняя разлила по чистому небу такой чудесный розовый, нежный цвет, что

глаза беспрестанно перебегали с луны на это розовое небо, и — и то и другое было прелестно.—Англичанин Мод, кажется, считал своей обязанностью меня сопровождать и разговаривать; а как мне хотелось итти одной, молчать и думать...

Вечером играла в 4 руки с новым Мишиным учителем Соболевым 8-ю симфонию Моцарта и начали Септуор Бетховена, но не кончили.

Получила письмо от Сергея Ивановича. Я все его ждала, так как послала ему фотографии, а он, учтивый человек,— должен был меня поблагодарить.

С Таней опять говорили о Сухотине и опять было мучительно больно видеть, как она далеко с ним зашла. Лев Николаевич здоров, но не весел. Играл в tennis, теперь играет в шахматы с англичанином Модом.

Досадно, что не едет домой Миша.—Андрюша опять уезжает сегодня ночью в полк.

От Левы ласковое письмо. Скучает по России и робеет за жену, что ей тут не весело без ее родных. Всего не помиришь в жизни!

29 июля 1897 г.

Еще один скучный день! Что я делала? С утра неохотно учила Сашу, потом ходила купаться, это берет много времени, но поддерживает свежесть тела, и это очень приятно. После обеда писала письма: Леве и Сергею Ивановичу. Два раза переписала письмо к нему и все выходило нескладно. Таня сегодня на меня рассердилась за то, что я о ее истории с Сухотиным написала Леве. А у меня сердце наболело тогда — я и сообщила сыну. Сама же она со всеми гувернантками и няней говорит об этом. — Еще днем я шила шапку Льву Николаевичу из черного трико.—Ходили гулять на Козловку: я отправила мои письма и послала Мише телеграмму, вызывая его. Вечером переписывала для Льва Николаевича. На фортепиано не играла и потому мне скучно.

Был весь день англичанин Мод, потом редактор „Северного Вестника“ Флетчер[394] (им нужно сотрудничество Льва Николаевича и потому мне противно). Ходили все гулять, но Лев Николаевич с ними шел далеко от нас, женщин, и разговоров их я не слыхала. Да и ничего нового или интересного и не

услышишь. Надоело это умствование, ломка всего, отрицание и искание не истин—это было бы хорошо, а искание того, чего еще не было сказано человечеству, нового чего-то, удивительного, необыкновенного,—и это скучно. Хорошо, когда люди с болью сердца ищут истины для себя, это всегда почтенно и красиво, а для удивления других—это не надо. Всякий сам для себя ее ищи.

Опять ясные дни, страшно сухо и прелестные лунные ночи. Куда-нибудь бы употребить эту красоту природы! А то буднично идут дни...

30 июля 1897 г.

Какая красавица луна сейчас светит в мое окно! Как это бывало хорошо в молодости, когда, глядя на луну, в душе переговариваешься с любимым, отсутствующим человеком, зная, что и он смотрит на ту же луну, и она притягивает своей красотой и его и мои взоры, точно через нее идет таинственная беседа.

Играла сегодня часа четыре, и музыка меня тотчас же поднимает от земли, и то, что казалось досадно и важно, сделалось менее досадно и легче переносить. А сегодня были две досады: телеграмма от Данилевской, что Миша здоров, весел, а приедет только в субботу.—Эта распущенность, отсутствие деликатности и добросовестности у Миши—меня привели в отчаяние. Живет учитель, выхлопотала я ему у директора Лицея [395] экзамены осенью, и теперь Миша гуляет в Полтаве, а я переношу стыд перед учителем за сына, и буду переносить стыд и перед директором.—Нет, не могу больше нести всю эту тяжесть воспитания слабых, плохих сыновей! Они меня измучили. Я нынче просто плакала, когда получила телеграмму. Даже равнодушный ко всему, что касается детей, Лев Николаевич и тот вознегодовал. Послала третью телеграмму Мише, но уже почти две недели пропали!

Другая досада была Саша. Она стала очень плохо со мной учиться, и я дала ей переучить урок, она опять не выучила и я ее не пустила с Таней верхом. Не люблю наказывать, но с Сашей все гувернантки потеряли терпение.

День прошел обычно: купалась, переписывала, играла. Лев Николаевич ездил верхом узнать в Мясоедове [396] о погоре-

лых. Приехал скульптор Гинсбург. Жара сегодня африканская и страшно сухо.—Сова кричит пронзительно и гадко. А ночь чудесная, и тихо как!

31 июля 1897 г.

Все то же: переписывала Льву Николаевичу очень много. Местами интересно, а местами я совсем не согласна и бессильно сержусь, так как не решаюсь вступать в разговор с Львом Николаевичем. Он так сердится, когда кто с ним не согласен, что всякий разговор немедленно должен прекратиться.—В его книге „Об искусстве“ [337] хороша та мысль, что исскусство прежде служило церкви, религии, потому что она была искренна; а когда утратилась вера, тогда искусство не знало, чему служить, и заблудилось.

Но мне кажется, что это не новая мысль. Я помню, даже я, когда мне показывали Храм Спасителя [397], сказала, что он мне не нравится, потому что видно, что весь он создан, включая главное образа и всю живопись, без религиозного чувства, и потому храм языческий; а Успенский собор, [397] *, напротив, весь дышет старинной, наивной, но настоящей верой,—и потому гораздо лучше, и это храм божий.

Ходили купаться, час я играла упражнения; вечером Лев Николаевич ездил верхом в Тулу за почтой, Таня тоже верхом в Ясенки. Приехал Гольденвейзер [398], играл мне все романсы, прелюды и все, что у меня есть переписанного из сочинений Сергея Ивановича. Отлично разбирает Гольденвейзер. Днем сегодня с меня лепил Гинсбург статуэтку. Пока очень дурно, бесвкусно и непохоже. Что дальше будет?—Миша не приехал и очень досадно. Вечером шила себе рубашку и перешила шапочку Льву Николаевичу. Потом еще и еще переписывала. Скучно и нездоровится! Вечером Лев Николаевич играл в шахматы с Гольденвейзером. Лев Николаевич здоров и весел, слава богу! Письмо от Левы, возвращается 12-го.

1 августа 1897 г.

Переписываю сегодня сочинение Льва Николаевича „Об искусстве“ и везде с негодованием говорится о слишком боль-

* После: „Успенский собор“, было написано „какой нибудь“, зачеркнутое С. А. позднее чернилами другого цвета.

шом участии любви (эротической мании) во всех произведениях искусства. А Саша мне утром говорит: „А папа какой сегодня веселый, и все оттого веселые!“ А еслиб она знала, что папа всегда веселый все от той же любви, которую он отрицает [64].

Все ясные и очень сухие дни. Везде пыль и бедствие. Ходили купаться; стояла—позировала Гинсбургу. Гуляли вечером при лунном свете. Гольденвейзер прекрасно играл сонату Шопена с похоронным маршем. Какая чудесная, прочувствованная музыкальная эпопея! Тут целый рассказ о смерти. И похоронный однообразный звон, и дикие звуки агонии, и нежные, поэтические воспоминания об умершем, и дикие крики отчаяния—так и следишь за рассказом. Надеюсь, что это настоящее искусство и с точки зрения Льва Николаевича. Еще Гольденвейзер играл прелюды Шопена, сонату Бетховена ор. 90, вариации Чайковского. Какое мне было удовольствие!

Приехали Оболенские. Таня уже начала кривляться с новым учителем. Как сильна привычка кокетства. Лев Николаевич сегодня часа три играл с азартом в lawn-tennis, потом верхом ездил на Козловку; хотел ехать на велосипеде, но он сломался. Да, сегодня он и писал много, и вообще молод, весел и здоров. Какая мощная натура! Вчера он мне с грустью говорил, что я постарела эти дни. Меня, пожалуй, не хватит для него, несмотря на 16 лет разницы, и на мою здоровую, моложавую наружность (как говорят все).—Не играла, не читала, совсем не хватает ни на что времени с огромным трудом переписыванья. Вечером опять тоска напала, и я убежала гулять. Какое бессилие иногда перед страстностью каких-нибудь желаний; какое мучительное бессилие! Так должен себя чувствовать человек, еслиб его заперли, даже замуравили и выхода нет. Так я чувствовала себя после смерти Ванички и теперь часто чувствую минутами. Как бывает больно, и как в эти минуты приветствуешь смерть!

2 августа 1897 г.

Утром вернулся Миша из Малороссии от Данилевских. Хотела его бранить за промедление, но не хватило духу: приехал счастливый от полученных им от путешествия разных впечатлений. Как это хорошо бывает в молодости: новизна впечат-

лений от природы, людей,—особенно природы. Потом хорошо ему было перебить жизнь, он последнее время волновался от своих половых, смущавших его, соблазнов.

Сегодня купалась с Надей Ивановой, далеко плавала. Потом долго и много переписывала, и Лев Николаевич сегодня мне сказал: „Как ты мне хорошо переписываешь и приводишь в порядок мои бумаги". Спасибо и за это; от него благодарности не скоро дождешься, как ни трудись. Стояла опять для статуэтки Гинсбурга; совсем непохоже, бесвкусно, уродливо, и мне жаль моего потерянного времени. Статуэтка Льва Николаевича тоже и непохожа и уродлива [399]. Не даровитый он скульптор, этот Гинсбург.—Вечером ходила с Сашей вдвоем на Козловку навстречу лошади, возившей Машу с Колей. Бедная, бедная Маша с этим ушастым лентяем! И такая она болезненная, жалкая, худая. Вся забота на ней; а он гуляет, играет, кушает на чужой счет и ни о чем не думает.

У Льва Николаевича в гостях какой-то фабричный, и хотя Лев Николаевич все повторяет, что это очень умный человек, но ему, очевидно, с ним скучно и он не знает, что с ним делать и куда его девать.—Дочитала разговоры о музыке А. Рубинштейна и рассказывала дорогой Саше.

Вечером Соболев, учитель Миши, рассказывал интересно об уральских приисках золота, платины и пр.—Тепло; тихо, лунно, хотя небо заволокло немного. Лев Николаевич сегодня огорчен: велосипед сломался и он на нем не мог доехать до купальни, ездил верхом. Удивил он меня еще тем, что играл утром в lawn-tennis. Он, который своими утрами так дорожит, он так увлекся этой игрой, что с утра пошел играть. Сколько в нем еще молодого! Я теперь только могу увлекаться музыкой или работой в саду: пилить, сажать, вычищать плохие растения, но больше ничем.

3 августа 1897 г.

Разбирала утром мои письма к Льву Николаевичу и его ко мне [400]. Надо переписать и отдать на хранение в Румянцевский музей, в Москве. Часть я уже отдала. [277] Купалась одна. Потом опять позировала; после обеда играла; только разбирала разные пьесы: Шумана, Бетховена, Чайковского. Одна внизу, тихо, хорошо. Вечером приводила в порядок и переписывала статью

об искусстве для Льва Николаевича. Я ему всецело теперь служу и он спокоен, счастлив. Он опять поглощает всю мою жизнь. Счастлива ли я этим? Увы! нет, я делаю, что должно, в этом есть доля счастья, но я часто и глубоко тоскую от других желаний.

4 августа 1897 г.

Целый день народ. Только встала, приехал к Льву Николаевичу француз, ездящий по Европе с геологическими целями; воспитанный, но мало образованный, помещик, живущий в Пиренеях в своем именьи. Потом приехал Касаткин—художник [401]; показывал нам большое количество фотографических снимков с различных картин и рисунков, которые он привез из-за границы. Это доставило мне большое эстетическое удовольствие. Опять купалась одна, опять немного позировала. Лев Николаевич тоже немного постоял для своей статуэтки, которую лепит Гинсбург—стоящую.—Вечером ходили гулять; сухо, тихо, розовое небо заката, и теперь луна. Еще приезжали на полчаса два доктора из Одессы, едут на съезд врачей в Москву: один Шмидт [402], другой Любомудров [402], военный. Оба неприятные.—Перед сном Гольденвейзер играл сонату Бетховена и „Карнавал" Шумана. Лев Николаевич жалуется на слабость, зяб, купался и пил очень много чаю. Напрасно он купается.

5 августа 1897 г.

Безостановочно летит жизнь, день за день. Сегодня пошла утром купаться, взяла Сашу и Верочку [403] в тележке. Снимали фотографии стада и девочек с тележкой и лошадью. На это ушло много времени. После обеда два часа стояла для Гинсбурга, который лепил с большим азартом, но я все выхожу совсем непохожа. После обеда Касаткин, Соболев и я снимали фотографию с Льва Николаевича верхом. Но ни у кого не вышло: лошадь шевелилась у меня и недодержано. Вечером все пошли гулять, Лев Николаевич уехал верхом в Мясоедово дать деньги погорелым. Мы шли по деревне и заходили по избам. Таня хотела непременно зайти к сыну кормилицы Льва Николаевича к Петру Осипову ,[404] мужику, читающему книги и газеты и презирающему господ и ученых, потому что считает

себя выше их всех — умом. Пренеприятный мужик. Вернулись уж темно, проявляли фотографии, ужинали. Получила письмо от Андрюши и от Гуревич, просит меня о статье Льва Николаевича для журнала. При чем я! Он все всегда делал по своему, и большей частью нарочно против меня. А я Гуревич не люблю и ничего для нее не сделаю. В настоящую минуту он читает эту статью: Касаткину, Гинсбургу, Соболеву и Гольденвейзеру. В чтении тяжел очень его язык. Сухо, ясно, тепло. Нездорова Маша, Таня все лелеет свою выдуманную мечту о посвящении своей жизни семье Сухотина, [5], но она, слава богу, спокойна и веселее.

С Сашей сегодня был урок очень хороший. Поправляла ей сочинение „Описание сада нашего", опять географию спрашивала и долго толковала ей о различных образах правления.

6 августа.

Страшно устала, переписав длинную главу для Льва Николаевича „Об искусстве". Гинсбург долго меня лепил, и тоже устала. Все притупляющие всю душу занятия; усталость и труд при чужом, хотя и интересном труде. Но насколько радостнее и легче всякий свой личный труд. — Ездила купаться с детьми: Сашей, Ленькой и Машкой. С детьми все так несомненно важно на свете, так радостно и равноправно. Вечером Гинсбург представлял портного (комическая мимика), потом речь англичанина и чтение немца. Все смеялись, некоторые себя на это нарочно подвинчивали, а я не умею смеяться и не понимаю комизма. Это мой недостаток. Гольденвейзер прекрасно играл концерт Грига: сильная, очень своеобразная вещь, мне очень понравилось. Потом играл две ноктюрны Шопена, что-то Шуберта и вальс Рубинштейна. Касаткин пишет маленький этюд с Тани. Соболев нас сегодня опять снял, а я сделала несколько копий с его хороших негативов. Хотела тоже сегодня снимать, да времени совсем нет с переписыванием и позированием.

Маша и Коля тут. Маша очень жалка, бледна и худа и так и хочется ей, бедной, помочь. О Тане не хочется писать. С ней все страшно. Миша очень взволнован сплетнями в Ясной: кто кого хочет сжить, своею поставить и т. д. Его это огорчает, а это так обычно! Лишь бы не вникать.

Лев Николаевич ездил верхом с Колей в Ясенки. Его тоже лепили, но очень непохоже. Вечером он прочел своим гостям три первые главы своей статьи „Об искусстве". Вечером, позднее, играл в шахматы с Гольденвейзером и сыном Сережей. Лев Николаевич здоров и бодр.

8 августа 1897 г.

Заболела Маша, Руднев думает тиф. С какой сильной болью сердца я приняла это известие; меня душит спазма в горле и слезы, знакомые, ужасные слезы от беспокойства и страха, всегда где-то готовые.—Маша все видела во сне Ваничку, и, может быть, он и отзовет ее к себе, чтоб избавить от тяжелой, бедной и сложной замужней жизни с этим флегмой Колей.— Хорошую, полезную и самоотверженную жизнь жила Маша до замужества,—а что впереди—еще бог знает. Но лично ее страшно жаль, она такая жалкая с тех пор как ушла из семьи. И невольно вспомнилась смерть Саши Философовой? [405], тоже от тифа, и еще страшней стало.

В доме точно чад какой-то от гостей. Приехали Маклаковы: Маша и Николай [339], две сестры Стахович [54], [121], две Наташи: Оболенская [406] и Колокольцова [407]. Потом Гинсбург, Гольденвейзер, Касаткин. За столом было 20 человек. — Все порознь очень приятны и жаль, что сразу так много. Ни прогулок, ни единения, — ни работы, ни переписыванья, а так толкотня какая-то. Опять меня лепили, опять копировала фотографии и купалась, но *дела* никакого не делаю, что-то уходит безвозвратно, что-то испортилось в жизни и приняло крутой оборот.

Вчера забыла дневник на столе: Лев Николаевич опять его читал и чему-то в нем огорчался. А чему бы *ему* огорчаться? Никого в мире не любила так, как его, и так долго!

Была телеграмма от Ламброзо [408], ученый антрополог, приехавший в Москву на съезд врачей; он хочет приехать повидать Льва Николаевича.

Льва Николаевича тоже лепит Гинсбург, а во время сеанса читают его статью „Об искусстве". Очень хорошо в статье Льва Николаевича то, что он нападает на новейшее направление декадентов. Надо остановить это бессмысленное и низкое направление искусства. И кому же как не ему.

11 августа 1897 г.

Три дня не писала. Третьего дня утром привезли из Овсянникова больную Машу. У нее брюшной тиф и уже несколько дней около 40 градусов жару. Сначала мы все очень испугались, но теперь приспособились к мысли о ее болезни. Руднев доктор был и сказал, что тиф легкий, но очень ее жаль, она томится, мечется, ночи не спит. Вчера я у ней сидела до 3-х часов ночи и переписывала статью Льва Николаевича. Написала очень много, и у Маши сделались боли в животе. Лев Николаевич встал и хотел сам ставить самовар для припарок; но нашел еще плиту довольно теплой, чтоб греть салфетки в духовом шкапу. Мне всегда смешно, когда он возьмется за какое практическое дело, как он его делает примитивно, наивно и неловко. Вчера испачкал все салфетки сажей, спалил себе бороду свечей, и когда я начала руками ее тушить—на меня же рассердился.

В 3 часа ночи меня сменила при Маше—Таня. Утром приехал Ламброзо. Маленький, очень слабый на ногах старичок, слишком дряхлый на вид по годам, ему 62 года. Говорит на очень дурном французском языке, неправильно и с сильным акцентом, и еще хуже по-немецки. Он итальянец, очень ученый, антрополог и много работал по вопросу преступности людей. Я вызывала его на разговоры, но он мало дал мне интересного. Говорил, что преступность везде прогрессирует, исключая Англии. Что он не верит статистическим сведениям России, так как у нас нет свободы печати. Еще говорил, что изучал всю жизнь женщину, и так и не мог понять ее. Про женщин, как он выразился—la femme latine *, сказал, что француженки и итальянки ни на какую работу не способны, что вся цель их жизни — наряды и желание нравиться. А что la femme slave **, и русские в том числе, способны на всякий труд и гораздо нравственнее. Про воспитание говорил, что оно почти бессильно перед врожденностью свойств,— и я с ним согласна.

---

* [Романская (латинская) женщина].

** [Славянская женщина.]

Гинсбург уехал сегодня. Он кончил и мою и Льва Николаевича статуэтки. Вчера лепили Льва Николаевича, пришли три барышни, пристали к Васе Маклакову,[339] чтоб он доставил им возможность видеть Льва Николаевича. Их и повели к нему. Он спросил их: не имеют ли они что его спросить, они сказали, что только хотят его видеть. И вот посмотрели и ушли. Потом пришел какой-то молодой человек, с тою же целью, но ему сказали, что Льва Николаевича дома нет. Затем, сидим, пьем чай, вдруг кто-то с велосипедом, весь облитый кровью идет и спрашивает Льва Николаевича. Оказалось учитель Тульской гимназии упал с велосипеда и расшибся. Его свели в павильон, промыли раны, перевязали, и он с нами ужинал.

Уехали Наташи вчера, и теперь, завтра, почти никого не останется. Я очень желаю уединения. Вчера же Миша уехал в Москву за своим учителем, которого назначили присяжным в Москве. Все дни жарко, сухо ужасно и пыльно. Мне нездоровится, ломота во всем теле, болит печень и почки. Лев Николаевич здоров, играл сегодня долго в lawn-tennis. Неужели я никогда больше не буду ни весела, ни счастлива? Мне все неудача. Для моего удовлетворения мне хотелось немного: иметь возможность играть часа два на фортепиано и иметь 5 дней свободных съездить в Киев повидать сестру Таню. Болезнь Маши помешала всему. И что она тут, в доме родительском, это еще естественно, я сама ее хотела перевезти к нам больную. Но что тут Коля проживает—это меня сердит, и мне все хочется от него отмахнуться, как от назойливой мухи. Не люблю эти флегматические, беззастенчивые в своей лени натуры приживалов.

13 августа 1897 г.

У Маши все жар, с утра и до вечера более 40 градусов. Так ее жаль, бедную, и какое бессилие перед строгим течением и упорством этой ужасной болезни. Я никогда прежде не видала такого тифа. Опять был доктор, Лев Николаевич вчера съездил за ним верхом; и доктор опасности не видит, а у меня все время тяжелый камень на сердце.

Очень много переписываю эти дни для Льва Николаевича его статью. Вчера заговорила о ней с ним, спрашивала его, как же он хочет, чтоб искусство существовало без специальных

школ? Он их отрицает. Но с ним разговаривать никогда нельзя; он страшно раздражается, кричит, и делается так неприятно, что то, чем интересовался, отодвигается на задний план и только желаешь: скорей чтоб он замолчал. Так было и вчера.

Когда были гости, он им читал эту статью и никто ни слова не сказал; ну и правы все, будто со всем согласны. А есть превосходные мысли местами. Например, что искусство должно одухотворять, а не забавлять людей. Это несомненная истина. Что во всех школах должно быть преподаваемо и рисование, и музыка, и всякое искусство, чтоб всякий талантливый человек имел возможность найти свой путь. Опять прекрасная мысль.

Страшная жара и засуха. Рожь посеяли в пыль. Трава, листья,—все засохло. Мы купаемся, и это очень облегчает. О Мише из Москвы нет известий.

14 августа.

Приехали из Швеции Лева и Дора [20], веселые и счастливые. Слава богу. И у нас веселей будет. Был доктор, нашел Машу не опасной и очень утешал. Советовалась с ним о своем здоровье. Нашел мою нервную систему совершенно расстроенной и организм здоровый; прописал бром.

Лев Николаевич ездил верхом в Бабурино по вызову какой-то петербургской учительницы. — День провела лениво, очень устала от ночи, сидела у Маши всю ночь до $4^1/_2$ часов. Очень она горела и металась, жар был 40 и 7. Ходила купаться, наклеивала фотографии, немного читала Taine'a „Philosophie de l'art“ [409] и сидела с Машей.—Все засуха страшная.

16 августа 1897 г.

Все тяжелее и тяжелее жизнь. Маше все плохо. Сегодня я встала совершенно шальная, до 5 часов утра, всю ночь я простояла над ней в ужасе. Она страшно бредила, и так все утро продолжалось. В 5 часов утра я ушла к себе и не могла заснуть. И все неприятности со всех сторон. Таня ездила на свидание с Сухотиным в Тулу и сидела с ним в гостинице и ехала с ним по железной дороге. Она ни на минуту (с моей точки зрения) не отказалась от мысли выйти за него замуж [6].—

Миша не поехал в Москву, где его ждет учитель, не занимается и, очевидно, экзамена не выдержит. Вместо этого, с ребятами и гармонией и этим молчаливым, бессодержательным Митей Дьяковым таскался до второго часа ночи по деревне. Приехал сегодня утром Андрюша и проживет тут $1^1/_2$ месяца. Собирается к Илье и в Самару, и это хорошо. Самое тяжелое—это с Львом Николаевичем. С ним ни о чем нельзя говорить, ему ничем не угодишь. Вчера был Буланже и мы с ним переговорили, что хорошо бы статью Льва Николаевича „Об искусстве" пересмотреть с точки зрения цензуры, выкинуть все нецензурное, такого немного, и напечатать одновременно и в „Посреднике" и в Полном собрании сочинений как XV том[336]. Я не решилась говорить первая, я так боюсь этого тона раздражения почти постоянного, с которым Лев Николаевич говорит со мною, да и почти со всеми теперь, кто ему осмелится возражать.

Буланже переговорил и сказал, что Лев Николаевич согласен. Но когда я заговорила, то Лев Николаевич начал сердиться и говорить, что Чертков просил не выпускать никакого сочинения Льва Николаевича до тех пор, пока оно не выйдет на английском языке.—Опять Чертков,—из Англии даже умеющий держать Льва Николаевича в своей власти.

Сегодня заговорили о Тане. Лев Николаевич говорил, что надо думать только о себе, чтоб не ошибиться относительно того, в какую сторону советовать и желать для Тани. Я же говорила, что нельзя же лгать, надо говорить непременно, что думаешь, если даже ошибаешься, и нельзя же не быть честной, ради осторожности.—Не знаю, кто из нас прав; может быть и он, но дело не в правоте, а в невозможности разговаривать без раздражения.

Сегодня же, выйдя из своего кабинета, Лев Николаевич прямо налетел на Мишу и наговорил и ему и Мите Дьякову много жестоких, хотя и справедливых слов. Но что он этим сделал? Если б он Мише твердо и спокойно сказал сегодня утром, чтоб он ехал в Москву и не ослабевал в своем решении готовиться к экзамену—насколько бы это было лучше.—Выговор же его вызвал тоже злобу в сыновьях; и они начали рассуждать, что отец только бранится, что заботы, участия,

совета они от него никогда не имеют, а только злобу.—Стали говорить, что право выговора они признают только за матерью, потому что мать одна о них заботится. Да, я заботилась, а что же я сделала, чего я достигла; я ничего не сумела! И Андрюша совершенно неудавшийся покуда, и Миша не тверд, и что-то еще из него будет!... Ох, как все печально печально...

Лева с Дорой устраиваются, разбирают вещи. Доре трудно, бедняжке, на чужой стороне и в нашей не очень-то радостной семье. Часто мне приходит мысль куда-нибудь бежать, я устала, устала страшно от жизни! Да уж, видно, надо нести тяжесть своего вечного труда и только труда—до конца.—Надо бы опять переписывать для Льва Николаевича, но не могу еще, какое-то тяжелое к нему чувство за то, что он поработил всю мою жизнь и никогда ни обо мне, ни о детях не особенно заботился, а главное продолжает порабощать меня, а у меня уже нет сил работать и служить ему всячески.

Ночь сидела у Маши, а кроме того переписала целую 5-ю главу. Я всегда работаю вдвойне.

Был маленький дождь, но тяжелый и очень теплый воздух. Читаю понемногу Taine'a. Я уже раньше начинала его читать, но Льву Николаевичу понадобились эти книги, и он их куда-то заложил, теперь я нашла, и кончу. Хорошее определение у него искусства: „L'art a pour but de manifester le caractère capital, quelque qualitè saillante et notable, un point de vue important, une manière d'être, principale de l'objet" *.

Лев Николаевич Taine'a не хвалит. А мне его советовал читать Сергей Иванович.

17 августа 1927 г.

С Львом Николаевичем совсем примирились (я кстати и не ссорилась, а огорчалась его отношением ко мне) [9]. Приехала сиделка к Маше, и Маше сегодня лучше, температура несколько раз падала до 38 и 6.—Лева и Дора что-то не совсем здоровы и вялы. Жаль ее, бедную, ей очень тяжело в России

* [Цель искусства состоит в том, чтобы обнаружить основной характер, какое-нибудь выдающееся и заметное свойство, существенную точку зрения, главную особенность бытия объекта].

и без своих родных. Опять сухо, ветер, но воздух свежей с утра. С Таней шла с купанья и говорили о Сухотине. Она говорит, что ничего еще не решила окончательно. Миша вчера вечером уехал в Москву, а Андрюша куда-то таинственно.— Переписываю опять Льва Николаевича, сижу с Машей; но в исполнении своих прямых обязанностей не нахожу уж удовлетворения, и тоскую.—Тяжелое известие о том, что у Ильи опять был пожар: сгорел весь урожай нынешнего года, сарай, инструменты и т. д. Ох, жизнь—какая тяжесть вообще!—Тут Дунаев и Митя Дьяков. Я спрашивала себя сегодня, отчего я так тягочусь работой переписыванья для Льва Николаевича? Ведь это несомненно нужно. И я нашла ответ. Всякая работа требует интереса, насколько хорошо она сделана и как и когда она будет окончена. Я шью что-нибудь, я вижу результат; меня интересует процесс работы, насколько скоро, хорошо или дурно я это делаю. Я учу—я вижу успехи; я играю сама—я двигаюсь, вдруг пойму новое, открою красоты. Я не говорю уже о сочинении чего-нибудь, о картине, хотя бы самой первобытной,—а просто о явлениях в области труда ежедневной жизни.—В переписывании же в десятый раз одной и той же статьи—ничего нет. Сделать хорошо тут ничего нельзя. Окончания не предвидишь никогда; все перестанавливается и вновь, и вновь перетасовывается все одно и то же. Интереса, как в прежнее время, к ходу какой-нибудь художественной работы тоже нет. Я помню, как я ждала в „Войне и мире“ переписки после дневной работы Льва Николаевича. Как лихорадочно спешила я писать дальше и дальше, находя все новые и новые красоты. —А теперь скучно. Надо начать мне работать что-нибудь самостоятельно, а то я совсем зачахну душой.

18 августа 1897 г.

Вчера вечером прекрасно гуляли с Львом Николаевичем и Дунаевым. Шли через Засеку, потом по полотну железной дороги к Козловке. В лесу на меня нашла такая поэтическая тишина, какой давно в себе не помню. Потом я устала слишком, мы верст 12 прошли и стало трудно и скучно. [93]

Маше лучше. Была Марья Александровна Шмидт. Шел маленький дождь. Ходили купаться. Приехала вчера фельдше-

рица (т. е. третьего дня вечером) следить за состоянием пульса и здоровья Маши. Был доктор Руднев. Ходила к Леве в тот дом. Скучно хозяйничала с тюфяками, вареньями, лампами— в доме порядок наводила. И потом переписывала для Льва Николаевича, переписывала очень много.—Нижний передний зуб совсем расшатался и я оттого не в духе. Ох, как не хочется стариться, а приходится мириться с этим. День провела бессодержательно, пойду читать Тэна.

21 августа 1897 г.

Все эти дни очень страшно за Машу. То был жар больше 40 градусов, а сегодня утром вдруг 35 и 6. Поили ее вином, шампанским. Днем ничего не могла пить, ото всего ее рвало. Посылали за доктором, к вечеру, после озноба, опять был жар 40 градусов. Все это ужасно! И жалко ее, бедную, истомилась она совсем.—Приехала Лиза Оболенская, помогает ухаживать за Машей. Взяли фельдшерицу следить за общим состоянием и помогать ночью. Был скучный кн. Накошидзе,[410] кавказский, брат той княжны Накошидзе, которая в Тифлисе передавала деньги духоборам и потом уехала в Англию, к Чертковым. Приезжает сегодня Митя Олсуфьев.

Второй день занимаюсь фотографией. Снимала цветы, сбор яблок, яблони, шалаш и т. д. Ходила с Рудневым гулять, закат солнца чистый, красивый, небо с розовыми облачками, окаймленными огненным ободком, и засуха ужасающая! Лев Николаевич ездил верхом по красивым местам Засеки. Статью свою об искусстве начал переправлять сначала. Он очень заботлив и нежен со мною, а я точно застыла, ничего не чувствую от беспокойства о Маше, и от бессонных ночей, и нервна я ужасно.

Учила утром Сашу, но недостаточно. Она вышивает мне салфеточку и завтра подарит. Завтра, 22 августа, мое рождение и мне будет 53 года.

23 августа.

Маше лучше, все повеселели. Но новый камень на сердце. Завтра приезжает Сухотин, и Таня взволнована [10],—Лева с Дорой, Коля и Андрюша ездили в Тулу; там выставка кустарная.—Вчера ходили на длинную прогулку в Засеку, на провалы, и вернулись в катках. Лев Николаевич трогательно,

верхом, искал места красивые чтобы пойти со мной гулять в день моего рождения и доставить мне удовольствие. И действительно прогулка вчерашняя и места прелестные; но я так мучительно устала, что не могла этого скрыть и выражала это, чем огорчила Льва Николаевича, и очень жалею. Впрочем мы отдыхали долго у избы работающих в лесу мужиков, у них горел яркий костер, темные вековые дубы были так величественно красивы, что я забыла свою усталость, и уже весело и бодро возвращалась назад. Толкусь с неудачными фотографиями, не переписываю эти дни и чувствую себя в этом очень виноватой.—Приехал Буланже, уезжает Лиза Оболенская.

Завтра еду в Москву, мне там много дела, да и Мишу надо навестить и пробыть его два дня экзаменов. Ужасно не хочется, трудно, а чувствуется, что нужно.

26 августа 1897 г.

Второй день в Москве. Вчера ездила по банкам, получала проценты, и внесла за залог именья Ильи 1300 рублей. И еще столько же надо вносить, а у него был пожар, и пропало 2 тысячи рублей задатку в Волынской губернии, где они с Сережей неосторожно хотели купить именье. Все это меня и сердит и огорчает. На все Илья был неспособен, как на ученье, так на управление делами и на всякое вообще *дело*.

У Мани[301], жены Сережи, родился 23-го сын[411]. Бедный Сережа и бедный этот мальчик [3].

В Москве очень спокойно, но скучно, что никого еще нет. Приходил милейший Н. В. Туркин и так хорошо мы с ним о воспитании детей беседовали. Сергея Ивановича еще нет в Москве и меня очень огорчило, что я его не увижу.

Весь день сегодня не вставала с дивана и считалась с артельщиком. Цифры, цифры без конца и страшное напряжение ничего не просчитать и ничего не забыть.

Шел дождь и стало холодно и пасмурно. Завтра у Миши экзамен, у меня дела в цензуре и дома с артельщиком.

28 августа 1897 г.

Сегодня рождение Льва Николаевича и ему 69 лет. Кажется в первый раз, с тех пор как я замужем, я не провожу этот день с ним и мне это жаль. В каком-то он сегодня настрое-

нии! Вчера все думала о его статье „Об искусстве“ и она меня мучает, потому что она могла бы быть так хороша, а в ней так много несправедливого, парадоксального и задорного.

Сегодня у Миши последние экзамены, и я жду его с нетерпением. Перейдет ли он в 7-й класс?

Усиленно занимаюсь здесь делами с артельщиком, считала, считала целых два дня. Была вчера в цензуре с книгой Спира [412] для издания „Посредника“, делала покупки, но ничего не сделала для дома, а тут очень грязно.

Жить мне здесь одной и спокойно и здорово, и я опять приеду 10 сентября. [74]. Стало холодно, т. е. свежо, и пасмурно. Была сегодня в бане.

31 августа 1897 г.

Все печально и везде неудача. Миша остался в 6-м классе; Андрюша опять мне сделал тяжелую сцену в Москве, и сам, бедный, уехал в слезах к Грузинским [413] с Мишей. Мне казалось, что он был немного выпивши, а то очень уж странно он переходил от крайней грубости к крайней нежности. Миша меня огорчил своим отношением к своей неудаче. Он нисколько не смутился, сейчас же отправился с Андрюшей, Митей Дьяковым и Борисом Нагорновым [223] в сад и они громко, нескладно, грубо пели песни.—Совсем мои дети не такие, какими бы мы желали их: я хотела от них образование, сознание долга и утонченные эстетические вкусы. Лев Николаевич желал от них труда простого, сурового, простой жизни и оба мы желали высоких нравственных правил. И ничего не удалось! Усталая, измученная и огорченная я приехала третьего дня утром домой, в Ясную Поляну. Лев Николаевич меня встретил недалеко от дома, сел ко мне на катки, и не спросил ни разу о детях. Как мне это всегда больно! Дома пропасть гостей: Дунаев, Дубенский [414] с женой (Цурикова), Ростовцев, [415] Сергеенко [416]. Все комнаты заняты, суета, разговоры. Очень мне это было утомительно. Все эти господа чего-то ждут от Льва Николаевича, и вот он надумал написать письмо и напечатать за границей. Дело в том, что шведский керосинный торговец Нобель [417], оставил завещание, что все его миллионное богатство он оставляет тому, кто больше всего сделает для мира (la paix) и, следовательно, про-

тив войны. В Швеции по этому поводу был совет и решили, что Верещагин[418] своими картинами выразил протест против войны. Но по дознаниям оказалось, что Верещагин не по принципам, а случайно выразил этот протест. Тогда сказали, что Лев Николаевич заслужил это наследство. Конечно, Лев Николаевич не взял бы денег, но он написал письмо[419], что больше всех сделали для мира—духоборы, отказавшись от военной службы и потерпевши так жестоко за это.

Я ничего не имела бы против такого письма, но оказалось, что в письме этом Лев Николаевич грубо и задорно бранит русское правительство, и некстати, не к делу, а так, из любви к задору. Меня очень расстроило это письмо, на мои слабые нервы я просто пришла в отчаяние, плакала, упрекала Льва Николаевича, что он не бережет своей головы и дразнит правительство без нужды. Я даже хотела уезжать, потому что не могу больше жить так нервно, так трудно и под такими вечными угрозами, что Лев Николаевич напишет что-нибудь отчаянное и злое против правительства и нас сошлют.

Он тронулся моим отчаянием и обещал письмо не посылать. Сегодня он опять решил, что пошлет, но смягченное. А я вдруг стала равнодушна, просто из чувства самосохранения; нельзя же не спать ночи, как я не спала вчера, нельзя же вечно плакать и вечно мучаться. И везде горе.—Был тут Илюша. У него был пожар и он, очевидно, ждал от меня помощи. А я и так завалена платежами и за него только что внесла 1300 рублей в банк и еще столько же будет нужно внести зимой. Денег он не просил, все только намекал, что ему очень плохо. Наконец он сказал Леве: „Я просил весной у мама 1000 рублей (а я уже ему передавала 2500 за зиму), она не дала, я ничего не застраховал и теперь сгорело все, а я ничего не получу". Лева ему сказал: „Ты сгорел, а мама опять виновата, это несправедливо". И ушел. Я напомнила тогда Илюше, что и Сережа и он, ввиду того, что неприятно просить всегда у матери деньги,—решили, что я определенно и молча буду платить за залог именья 2000 рублей в год, и этим Илья удовлетворился вполне.

Теперь же он мне упрекнул, что я не дала ему в руки деньги, и сказал, что лучше бы я в банк не платила, а ему

дала. Тогда я, к сожаленью, страшно рассердилась, сказала даже, что это подлость, то просить платы в банк, то за это же упрекать. Так совестно, больно и грустно, что мы поссорились из-за денег, которых мне совсем и не жаль, но у меня нет теперь.

1 сентября.

Гости все уехали, так хорошо, что мы одни. Вчера вечером недолго, но неприятно мы поговорили с Львом Николаевичем. Мне очень нездоровилось, а он придирался ко мне, вспомнили о дневниках (все я собираюсь описать эту прошлую историю), а я, главное, видела его желание, которому не хотелось отвечать по нездоровью, а это его больше всего сердит.

Сегодня мы дружны, я ему переписала две главы, убрала его комнату, поставила чудесный букет. Ходила с Сашей купаться: в воде 11 градусов, ночи холодные, ярко-лунные с мелкими облачками, проходящими по луне; дни ясные, сухие и красивые.—Таня была в Туле, на выставке. Маше лучше; Саша огорчилась, что пропал ее живой зайчик, живший в сарае. Лев Николаевич ездил верхом и принимал католического chanoine, ездящего изучать русские монастыри.

Очень скучала по музыке весь день, и живу м е ч т о й о ней; скоро поеду в Москву, возьму рояль, буду играть, и надеюсь, что Сергей Иванович придет и поиграет. Как будет это хорошо, даже от одной мысли этой оживаю.

Сегодня думала: какую местность мы больше всего любим? Ту, при которой есть такое место, куда не проникала человеческая рука, как, например: скалы, горы, море, большой лес, большая река, даже большие овраги. Опять мы любим м е ч т у и в природе. Мы не любим сплошные поля, сады, луга, где всюду прошла рука человека; мы любим нетронутость, таинственность—мечту и в природе.

2 сентября 1897 г.

Убирала книги в библиотеке и приводила ее в порядок; купалась в 11-градусной воде, ходила с Верочкой; снимала в саду фотографии яблонь, сплошь покрытых яблоками, и переписывала письмо Льва Николаевича, переделанное и смягченное, о наследстве Нобеля в пользу духоборов. Я еще его не кончила, а сначала довольно умеренно. — Мои шатающиеся два

зуба приводят меня в дурное расположение духа, и перспектива фальшивых зубов — очень несносна. Что делать, надо привыкать стареться.

Иду ложиться, буду читать философское сочинение Spir'a.— Был маленький дождь, но еще не холодно.

4 сентября 1897 г.

Надрываешься, надрываешься—и не натянешь жизни. Одиночество мы испытываем каждый член нашей семьи, хотя все дружно на вид. Лев Николаевич тоже жалуется на одиночество, на покинутость. Таня влюблена в Сухотина, Маша вышла замуж,— со мной давно уже нет полного единения — мы все устали жить, только служа Льву Николаевичу. Он чувствовал себя счастливым, поработив три женские жизни: двух дочерей и мою. Мы ему писали, ухаживали за ним, заботились усердно об очень сложном и трудном подчас при нездоровье—вегетарианском питании, никогда нигде не оставляли его одного. И теперь вдруг всякая из нас заявила свои права на личную жизнь, друзей его сослали [420], новых последователей нет — и он несчастлив.

Я напрягаю свои последние жизненные силы, чтоб помогать ему; я переписываю его статью и вчера переписала длинное письмо [419], в 15 страниц, о помощи духоборам наследством Нобеля; я ухаживаю за ним; но мне невыносима иногда жизнь без личного труда, без личных интересов, без досуга, без друзей, без музыки—и я падаю духом и тоскую.

Лев Николаевич всегда и везде говорит и пишет о любви, о служении богу и людям. Читаю и слушаю это всегда с недоумением. С утра и до поздней ночи вся жизнь Льва Николаевича проходит безо всякого личного отношения и участия к людям. Встает, пьет кофе, гуляет или купается утром, никого не повидав, садится писать; едет на велосипеде или опять купаться, или просто так; обедает или вниз читать, или на lawn-tennis. Вечер проводит у себя в комнате, после ужина только немного посидит с нами, читая газеты или разглядывая разные иллюстрации. И день за день идет эта правильная, эгоистическая жизнь без любви, без участия к семье, к интересам, радостям, горестям близких ему людей.—И эта холодность изму-

чила меня, и я стала искать чем занять свою духовную жизнь, стала любить музыку, читать в ней и, главное, угадывать все те сложные человеческие чувства, которые в нее вложены; но музыке не только не сочувствовали дома, но на меня напал за нее с ожесточением, и вот я опять очутилась без содержания жизни и, согнув спину, часами, по десяти раз переписываю скучную статью об искусстве, стараюсь найти радость в исполнении д о л г а, но моя живая натура возмущается, ищет личной жизни, и я бегу из дому в лес, бегу на Воронку и в страшный ветер бросаюсь в реку, в воде 9 градусов, и я нахожу маленькое удовлетворение в этой физической эмоции.

Лев Николаевич, не сказав мне ни слова, уехал верхом к Булыгину [421] в Хотунку, за 16 верст. Приехал какой-то американец, профессор, я еще его не видала. Сейчас с ужасом пересмотрела бумаги Льва Николаевича и взяла переписывать. Сколько там опять работы!

Утром учила Сашу $1^1/_2$ часа; поправляла ей ее сочинение „Поездка в Троице-Сергиеву Лавру“ [422]. Метила платки Миши, читала, кроила, весь день была занята, а чувство—точно ничего не делала. Вот что значит ни к чему сердце не лежит.

Сегодня шла из купальни и думала опять, что человек только жив м е ч т о й. Еслиб извозчик, проводя годами жизнь на козлах, в нелюбимом ему городе, не имел в голове мечты о деревне, о семье, о том, что происходит в его деревенском хозяйстве, как убрали сено, сколько копен ржи стало, купили ли корову или лошадь и т. д.—извозчик не выдержал бы этой жизни. А он выдерживает годами.

Так и во всем в жизни. А самая уж сладкая мечта — это царство небесное после смерти, или единение с богом, или соединение с умершими любимыми людьми.

Ах, Ваничка, сегодня случайно увидала лоскуток от его синенькой полосатой курточки и горько расплакалась. Зачем он оставил меня одинокую, без любви, на земле; я не сумела жить без него, и как часто я чувствую, что он унес мою душу, а мое грешное тело тяжело доживает свою земную жизнь.

8 сентября 1897 г.

Все суета какая-то. Наехали опять гости: Дунаев, Буланже, Сен-Джон [423], англичанин, присланный, кажется, Чертковым. — Буланже ссылают за границу [353]; его нашли вредным, потому что он пропагандирует идеи Льва Николаевича и потому что написал и напечатал в „Биржевых Ведомостях“ [424] письмо о бедственном состоянии духоборов. Вызывали его в Петербург в бывшее 3-е отделение, т. е. полиция, действующая административным порядком, иначе говоря, произволом,—и там ему высказали.

Буланже очень умный, энергический и живой человек, и его испугались. Но что за деспотическое правительство у нас! Царя как-будто нет, а какие-то тупые злючки в роде Горемыкина [425] (министра внутренних дел) и Победоносцева [426] делают поступки, навлекающие злобу на молодого царя, и это жаль.— Лев Николаевич угнетен прыщиком, вскочившим у него на щеке и много говорит о смерти. Как он боится ее, меня это пугает. Статья его „Об искусстве“ приходит к концу и у нас живет барышня, которая ее переписывает на машине Ремингтона, и хотят послать в Англию перевод и напечатать там у Черткова. [427]

Таня уехала в Москву, просто ей хотелось проехаться, и она выдумала какие-то издания картин, которые должны быть изданы даже до отъезда Буланже, т. е. до 1 октября. А у меня выпал зуб и я должна ехать вставлять, но не хочется двигаться, не хочется к зубному врачу ходить и возиться с своим ртом.

Эти дни занималась все фотографией для своей сестры Тани и для Буланже. Сегодня фотографировала яблочный сад и баб на работе в саду. Ходила купаться и совсем мне не показалось холодно.

Заботы о постелях гостям, о еде, обо всем матерьяльном очень надоели; вчера часа два поиграла на фортепиано, насилу нашла время.

Андрюша и Миша ушли на деревню, где образование Сашки Арбузовой, и Миша не поехал в Лицей и мне досадно ужасно.

9 сентября 1897 г.

Очень хотелось играть на фортепиано, читать, гулять, даже чай пить. И вместо этого я переписывала несколько часов сряду для Льва Николаевича его статью „Об искусстве“, за что он, приехав от Зюссерман [428], куда ездил верхом, мне даже

спасибо не сказал, а с досадой ушел, когда я просила его разъяснить мне неясное в его писании место.

Мне досадно, что я приношу жертвы, а этой досадой обесценивается мой труд. Я не дала его, я допустила, чтоб у меня его взяли. Как говорит Сенека [429]: qu'il s'est laissé prendre, ce qu'il n'a pas su retenir *.

Сегодня теплый день, ясно, паутина летает и блестит, и я ходила купаться, а Лев Николаевич тоже ездил на велосипеде.

Какая странная история этого старого, отставного генерала Зюссермана. Ему было за 70 лет, он на войнах был, а погиб от дерева, которое рубили в саду и оно упало ему прямо на голову и наповал его убило. Осталась вдова, дочери, сыновья. Как печально у них теперь!

Мучает меня то, что я с Сашей сегодня не занималась; много было хозяйственной суеты.

12 сентября 1897 г.

Второй день в Москве, в полном одиночестве с няней и очень мне хорошо. Миша ходит в Лицей, приходит только к обеду, Таня остановилась у Вульф [430] и я мало ее вижу. По утрам хожу к зубному врачу, который меня мучает мерками, горячей красной мастикой и прочими неприятностями вставных зубов. Настал тот тяжелый момент, что надо зубы вставлять, упал еще один передний зуб, и безобразия и неудобства я не выношу. Трудно будет и от фальшивых зубов, я уже это вижу. Хорошо мне здесь потому, что нет чуждых, тяжелых посетителей, посещающих Льва Николаевича, что нет сложных семейных и супружеских отношений ни с кем; что нет разговоров о духоборах, о правительстве, о статьях и письмах за границей, об обличении действий правительства; нет требований разных от моей личности и упреков... Как я ото всего устала, и как мне нужен отдых! — Поиграла вечером и пописала немного материалы к повести, которую очень хочется написать. — Из дому известий не было еще. Здесь еще никого не видала, но очень хочется видеть Сергея Ивановича, а, главное, слышать его игру. Очень надеюсь, что он придет в мои именины и поиграет мне.

---

* [Он допустил, что у него взяли то, что не сумел удержать].

14 сентября 1897 г.

Вчера была опять у зубного врача, день весь сидела дома, шила, читала, вечером играла на фортепиано. Учу две вещи: инвенцию Баха в 2 голоса и сонату Бетховена. — Плохо идет, долго надо учить. Вечером сговорились с Таней встретиться у Колокольцовых, чтоб там увидать Варю Нагорнову, но она не приехала еще из деревни. Там с детьми и молодежью болтали и даже плясали; я тоже с Сашей Берс прошлась вальс и глупо радовалась, когда мне говорили, что я необыкновенно легко вальсирую и хожу.

Сегодня провела день полный движенья. С раннего утра побежала по конке, с корзиной на Смоленский рынок покупать грибы. Грибов на торгу было очень много: я купила послать с Таней в Ясную Поляну, где таких белых грибов никто и не видал. Купила и винограду; все завезла к Вульф, где остановилась Таня, и потом, наняв извозчика, поехала на могилки Ванички [8] и Алеши [431] с няней. Могилки эти всегда меня и умиляют и измучают воспоминаниями и болью, неизлечимой ничем.

Страстно захотелось умереть, юркнуть в ту неизвестность, куда ушли мои мальчики. Няня вздыхала и плакала; а я, прочитав „Отче наш“ и сделав усилие соединиться духом с младенцами и попросив их о молитве перед богом за нас, грешных, убежала от терзавшего меня горя.

Желая сделать удовольствие няне, я пошла с ней и девочками из деревни в лес за грибами, но мы ничего не нашли. Вернувшись к обеду, я нашла компанию мальчиков к Мише: Митя Дьяков, Саша Берс [432], Данилевские [433]. После обеда мы с няней варили варенье, грибы, мариновали их, и кончили поздно. Конец вечера проиграла, разбирала разные, подаренные мне романсы Танеева, Померанцева и Гольденвейзера. Кстати, Танеев был сегодня без меня с Юшей Померанцевым и меня не застали. Меня так взволновал визит Танеева, страшно захотелось его видеть и не знаю теперь как я это устрою. Бог как-нибудь поможет; а не увижу—и то хорошо.

О доме ничего не знаю, Лев Николаевич не пишет, а Лева о нем не пишет, а только поручения.

15 сентября 1897 г.

Поздно встала, возилась по домашнему хозяйству. Вставляли рамы, мыли полы и двери, выколачивали мебель и тюфяки; потом наливали уксусом грибы, виноград, и пр. и пр. Ничего нельзя было делать, столько было суеты: поденные, маляры, полотеры, и во главе всех няня Анна Степановна. Потом пошла к зубному врачу, он вставил мне зубы очень удачно на вид, но мне так больно растерло губу, что придется опять пойти к нему. Как это все скучно!—Пришла домой, узнаю, что Сергей Иванович опять был у меня, и не застал. И опять меня это взволновало, захотелось общения с ним.—Ходила, было к князю Урусову [18] в „Княжий Двор", чтоб его видеть, но он, к сожалению, уже уехал в деревню. Заходила и в Конюшки, узнать приехала ли Варенька или Маша Колокольцова, но никого нет. Захотелось, вообще, общества кого-нибудь близкого. Часов в 8 вечера пришел Сергей Иванович. Мы провели вечер вдвоем, Миша обедал со мной, а вечером ушел к Дьякову. Как жаль, что Лев Николаевич меня преследует за Сергея Ивановича. Какие у нас хорошие, полные содержания отношения! Серьезные, спокойные; сегодня весь вечер, не умолкая, мы говорили об искусстве, о музыке, о писании Льва Николаевича, которого он ужасно любит; о том, как лето провели, как сложна жизнь вообще, но как к старости все суживается и бесконечность, которая перед нами в молодости—бесконечность в целях, в достижении их, в силе умственной и физической, в возможности образования, и т. д., эта бесконечность исчезает и вместо нее воздвигается стена—предел сил и жизни.

И вот тогда эту бесконечность надо перенести за предел этой жизни и вступить в область будущей жизни. Я уже это сделала, хотя еще в очень слабой степени. Помоги бог развить в себе это стремление к духовной и религиозной, загробной бесконечности (l'infini). Сергей Иванович сыграл мне свою прекрасную симфонию и очень меня ею взволновал. Прекрасное произведение, и благородного высокого стиля музыка его.

17 сентября 1897 г.

Именины мои, и весь день я глупо ими занята. Переставила мебель, купила цветов не дорогих, все убрала, украсила, как в детстве, бывало, готовишься к празднеству. Мой милый Ваничка любил справлять, как он говорил языком няни, свои именины и чужие. Получила письмо Саши и обрадовалась ему. Левочка мне не пишет, он меня, как будто игнорирует и мне это больно. Вообще нынче очень именинно в доме; я и людей угощала, делала им пирог, гусь, чай с кренделями, и они очень все довольны. Вечером пришли: дядя Костя [26], Алексей Маклаков [339], С. И. Танеев, Померанцев, Курсинский [434]; потом разные товарищи Миши: Голицын [435], Бутенев [436], Дьяков, Данилевские, Лопухин; пели хором, прыгали, боролись, ели, пили; дядя Костя просил Сергея Ивановича играть, я не решилась—и он опять сыграл свою симфонию. С музыкой Сергея Ивановича то, что бывает с некоторыми людьми: чем больше их знаешь, тем больше любишь. Я, слушая в третий раз его симфонию, открываю в ней все новые красоты, и это очень интересно.

Была у тетеньки Веры Александровны [31]. Она именинница, лежит в гриппе в постели и совершенно одна. Ее внучка, Вера Северцова [29], пока при ней, но она уезжает. Поучительно видеть, как, народив одиннадцать детей, остаешься одна на свете. К этому надо быть готовой и не роптать.

Сегодня немного читала, немного играла, покупала на рынке грибы; вообще пусто и бесплодно провела день.

18 сентября.

Встала поздно, села играть на фортепиано. Усердно учила инвенцию двухголосную Баха. Очень трудно. Потом, когда дождь перестал, пошла к зубному врачу и на фабрику Гюбнера покупать бумазей. Встретила совершенно неожиданно Сергея Ивановича. С первого взгляда я его не узнала, потом очень удивилась. Судьба со мной всегда играет в такие проделки. Он шел гулять к Девичьему монастырю, и я, разговорившись, прошла с ним до конки. На фабрику не попала, но к зубному врачу не опоздала. Сегодня он мне, кажется, устроил зубы совсем хорошо. Сергею Ивановичу напрасно рассказала

о том, как я хотела лишить себя жизни, замерзнув на Воробьевых горах. О причине и подробностях я, конечно, умолчала. Но острые и больные воспоминания вызвали потребность высказаться.

Против клиник поставили памятник Пирогову [437]. Безобразнейшее произведение искусства! Со всех сторон фигура сделана безобразно, не художественно.

Вернувшись домой, обедала с Мишей, потом играла на фортепиано четыре часа сряду и очень устала. Пришел Миша с Бутеневым; Миша сел уроки готовить, а я вышивать метки, а Бутенев мне читал, заикаясь, французские Pensées et Maximes * вслух. Получила телеграмму поздравительную, запоздавшую от своей семьи. Минутами меня тянет в Ясную; но как вспомню все сложности и трудности нашей семейной жизни, то опять не хочется ехать, а так бы сидела в тишине, одна, как сейчас.—Одни чуждые посетители уж достаточны, чтоб не желать жить в Ясной.

19 сентября 1897 г.

Талантливый человек все понимание и чуткость душевную вкладывает в свои произведения, а к жизни относится вяло и равнодушно. Вчера вникала в романсы Сергея Ивановича. Их у меня теперь много. Музыка этих романсов не только соответствует настроению, но даже почти каждому слову (и какая сильная местами), а вместе с тем его, Сергея Ивановича, характер и стиль выдержаны вполне; я его музыку узнаю везде теперь.—В жизни же он такой спокойно-несообщительный, не выражающий никаких чувств, редко высказывающий мысли свои и всегда на вид равнодушный ко всему и ко всем.

А мой еще гораздо, несравненно более талантливый муж! Какое удивительное понимание в его писаниях психологической жизни людей, и какое непонимание и равнодушие к жизни самых близких ему людей! Меня, детей, людей, друзей—он совсем не знает и не понимает.

Ветер, пасмурно и грустно. Тянет к музыке и только к музыке. Нездоровится, одиноко, хочется любви, общения с людьми—а где их взять? И всякому хочется любви, а дать

* [Мысли и изречения].

ее редко кто может. А то отдаешь ее горячо, самоотверженно, а ее не берут—не нужна любовь, а только в тягость. И большей частью так: линии любви параллельные и не сходятся ═══, а так ——— ——— не бывает почти никогда. И всегда один любит, другой позволяет себя любить.

22 сентября 1897 г.

Вернулась в Ясную Поляну. В Москве оставила Мишу и няню и пьяного Ивана. Мне жаль было лишиться моего одиночества, возможности играть, и вернуться в лихорадочную жизнь, которую мне устроил Лев Николаевич. Здесь были молокане, у которых отняли детей за их сектантство. Лев Николаевич уже раз писал об этом государю молодому, но ничего из этого не вышло. Теперь он опять написал, но, к счастью, государь за границей, и письмо, вероятно, не дойдет.[438] Я сама бы сделала все на свете, чтоб успокоить матерей и утешить детей; но раз ничего нельзя сделать, зачем рисковать своей безопасностью. Потом письмо в газеты о помощи духоборам,[439] и все ему хочется шума, гласности, риска. А не верю я его доброте и человеколюбию. Знаю я источник всей его деятельности. Слава и слава, ненасытная, безграничная, лихорадочная. Как поверить любви, когда Лев Николаевич своих детей, своих внуков—всех своих не любит, а так вдруг полюбил молоканских и духоборческих детей!—У него чирей на щеке, он такой жалкий, подвязанный платком, мнителен он ужасно.

Без меня ездил два раза к доктору и на третий его уже сюда привозили. Все твердил, что у него рак и он скоро умрет; был мрачен, плохо спал. Теперь ему лучше. Ах, бедный, как ему трудно будет расстаться с жизнью и выносить страдания! Помоги ему бог! Желала бы не видеть его конца и не переживать его.

Таня собирается в Ялту, все так же она слаба духом. Маша же слаба и телом, и духом. У Левы с Дорой все хорошо. Коля Оболенский уехал в Москву по делам.

Сейчас переписала Льву Николаевичу немного. Скопировала для Миши фотографии, скроила платьице для маленькой Веры, дочери Ильи лакея. Ужасно хочется музыки, но только что я заикнулась, что поиграю, обе дочери враждебно на меня налетели.

26 сентября 1897 г.

Суетливо идут дни за днями. Свой свадебный день 23-го провела очень приятно, хотя и без всякого особенного торжества. Было 35 лет нашего супружества, и как ни трудна под час была моя сложная жизнь, благодарю бога за то, что мы остались чисты друг перед другом, и теперь живем мирно и даже еще любовно. Приезжали мои два старших сына, и вся семья собралась, кроме Миши. Теперь и он приехал, чему я очень рада. Из посторонних был Сергеенко и Буланже с сыном 9-ти лет.[440] Буланже уезжает в Англию 28-го, ссылается за распространение идей Толстого.

Лев Николаевич написал уже заключение к своей статье „Об искусстве" и опять переправил его, и я сейчас буду его переписывать. Кроме того, только что переписала ему письмо в „Русские Ведомости". В разных газетах печатают, что немыслимо, чтобы на Казанском миссионерском съезде было предложено отнятие детей у сектантов. А так как это факт, и родители отнятых детей приезжали к Льву Николаевичу с просьбой похлопотать о их деле, то Лев Николаевич и написал обо всем этом в „Русские Ведомости". Напечатают ли—это большой вопрос.[441]

Два дня жили тихо в семье; сегодня опять посетители: приехал офицер князь Черкасский,[442] учитель гимназии Томашевич.[443] Вчера вечером приехала Лиза Оболенская, и мы ходили с ней сегодня далеко гулять—что за красота была! Шли елочками, потом вдоль посадки и речки, вышли к купальне, прошли в большие елки и кругом вернулись лесной дорогой. Эти переливы из светло-желтого, и во всех тонах, к зеленому и часто красному и темно-бурому листвы осенней—необыкновенно красивы. А там, где елки, эти темные высокие елки, случайно выросли молодые березки; редкий лист самого светлого желтого цвета сквозит на темном фоне прозрачным кружевом. Мы с Лизой все останавливались и любовались даже вслух. Закат был чудесный, светлый и чистый. К Груммонту даль виднелась.

Дорогой я, вопрошаемая Лизой, ей рассказывала о всей истории моей привязанности к Сергею Ивановичу, о ревности Левочки, о том, что я теперь к нему испытываю, и рассказы эти меня взволновали, дома с Машей все тяжелые разговоры

о ее будущей жизни и о том, что они будут жить в Покровском у его матери, [35] а я это не одобряла и говорила, что ему, т.-е. Коле, надо жить работая или служа, а не кормиться то у одной, то у другой матери. Они укладываются и едут в Крым, и Таня, и Коля и Маша.

29 сентября 1897 г.

Вчера уехали в Крым Маша с Колей Оболенским. Мне мало было жаль, хотя вообще чувствую более любви к ним обоим, чем вначале их брака. Страх смерти Маши во время ее болезни меня к ней привязал. Коля же добрый, хороший мальчик, но вялый и ленивый. Работать он не хочет, не может и не умеет, и это неприятно видеть.

Были Вера и Маша Толстые. Приезжал из Тулы к Льву Николаевичу тюремный священник, болезненный, кроткий и наивный; говорил, что находит много общего с Львом Николаевичем в своих мыслях и хотел с ним побеседовать. Но меня удивило то, что для того, чтоб поехать к нам, надо было священнику просить разрешения у архиерея. Неужели до такой степени Льва Николаевича считают еретиком? Еще были молокане, они ездили в Петербург с письмами Льва Николаевича к Кони, [444] и еще к разным лицам, которых в Петербурге не оказалось. Дело об отнятии у молокан детей теперь поступит в Сенат, и Кони надеется, что там решат детей возвратить родителям, но что дело может поступить в Государственный совет и тогда затянется года на два. Рассказывали эти молокане, что девочка 2-х лет у монашенки, которая ее очень полюбила и сама негодует, что отняли ребенка у родителей, но хорошо за ней ходит. Девочка эта говорила отцу: возьмем скорей извозчика и уедем отсюда.—Мальчики тоже в монастыре, но плохо ухожены, все в насекомых и в грязных рубашках. Просили позволения у монахов выйти за ворота лошадей посмотреть своих. Молоканам же, родителям, раньше свидания их с детьми, монахи сказали, что видеть детей можно только в церкви и повели их туда. Но когда они пришли в церковь, детей там не было, а было то, что обращали там молокан к православию, и показали этим, чтоб они взяли пример. Настоятель обнял этих приезжих молокан поцеловал их и сказал им: „вот вы огорчены, что дети ваши отошли от вас, так и мать-церковь

огорчена тем, что вы отошли от нее". Но молокане остались непоколебимы.

Сегодня все уехали: и Андрюша и Лиза Оболенская, и Толстые, и молокане, и какой-то юноша—Попов,[445] съездивший в Англию к Черткову. Идет дождь, тихо, уединенно и хорошо.

Одно горе: у Льва Николаевича его нарыв на виске не заживает; огромная гноящаяся шишка, красная, кровяная. Три недели она все болит и что-то никаких перемен не представляет.

Дождь нас всех запер дома, и это хорошо для занятий. Надо сверять по поправленным главам дальнейшие главы „Об искусстве", чтоб послать переводчикам.

Третьего дня была в Туле, по делу о вводе во владение сыновей, после смерти Ванички, Ясной Поляной. Я была как попечительница Андрюши и Миши. Много было дела самого разнообразного.

Вчера сделали чудесную прогулку по Засеке, на Горелую Поляну и кругом мимо казенного питомника домой. Закат солнца был поразительно красивый. Народ по шоссе шумно возвращался в пустых, гремящих телегах с базара из Тулы; поденные толпой шли из казенного питомника, откуда высаживали деревца; и при всем этом шуме, точно праздничное, яркое, торжественное освещение солнечного заката прямо против нас всех, возвращающихся домой.

Вечером пили чай у Левы, во флигеле. Выходили на балкон, так было тепло, и чудесная лунная ночь, прозрачные облачка так и гнал южный ветер мимо луны, то открывая, то как бы завешивая ее прозрачной тканью. Сидели поздно, глупо гадали на картах Тане, Лизе Оболенской, Вере и мне. Шили, болтали, как-то интимно и дружно. Так распускаются женщины в о - в с ю—откровенно и слабо только тогда и только те, которые с детства до настоящей минуты любят и знают друг друга до самой глубины их жизни, характеров и событий. И так ближе всего я с моей сестрой Таней.

30 сентября 1897 г.

Уехала Таня в Крым, куда она везет сына Ильи—Андрюшу.[368] Опустел мой дом, остались Саша и Лева с женой во флигеле. Мне страшно жаль Льва Николаевича. Сколько лет он проводил свои тихие осенние месяцы с своими дочерями: они слу-

жили ему, они писали ему, они вегетарианствовали, просиживали длинные, скучные осенние вечера с ним. А я в эти осенние месяцы уезжала с учащимися детьми в Москву и скучала без мужа и дочерей, и сердцем жила все-таки с ними же, так как в семье моей все-таки любимые мои были Левочка—муж и Таня—дочь. И теперь все переменилось: Маша вышла замуж, а бедная Таня влюбилась, и эта плохая любовь к недостойному ее человеку истомила ее и нас. Она едет в Крым, чтоб одуматься хорошенько. Помоги ей бог!—Через 6 дней и я уеду с Сашей в Москву. Я дотягиваю как можно позднее, но ей пора учиться, она ничего не делает почти, а ей 14-й год. Жизнь Миши тоже меня озабочивает; я постоянно боюсь его нравственной порчи, и думается мне, что семейная обстановка все-таки лучшая для мальчика. Лев Николаевич остается с Левой, но я вижу, что ни тому, ни другому это не особенно приятно. Перевезу и устрою в Москве Сашу и опять вернусь к Льву Николаевичу.—Как все это трудно и сложно! Молю бога не ослабевать в моих обязанностях, понимать, в чем они состоят и выпутываться все с той же энергией из моей все более и более сложной, и всесторонне трудной жизни.

Мелкий дождь, тепло; редкие листья все пожелтели, дуб и сирень еще зеленеют своими крепкими листьями. Убиралась сегодня по дому и хозяйству; копировала фотографию: отъезд Маши и Коли: все просили им дать и я всем разошлю. Учила немного Сашу, которая очень дурно написала изложение. Вечер буду в 5-й раз переписывать „Заключение“ к статье „Об искусстве“ и буду шить свою денную рубашку, у которой износились кружева, и я делаю мелкие складочки и кружевные прошивки, и браню себя за эту привычку к красивому и изящному.

Не позволяю себе, но очень тоскую по Тане. Это 33-летний друг, с которым связана и моя счастливая прошедшая замужняя жизнь. И горе, и радости—всему она сочувствовала, все переживала со мной. Ближе ее и нет никого.

2 октября 1897 г.

Осенняя тишина, листья желтые сплошь и золотятся на солнце; хороший провела день: утро читала Сенеку: Consolation à Marcia u Consolation à Helvini. Убирала в библиотеке

книги. После обеда пошли гулять на Козловку и обратно: грустна опустевшая дорога, по которой столько воспоминаний! Ох не надо ни воспоминаний, ни сожалений!.. И зачем у меня такой характер, что впечатления разные жизни так избороздили глубоко мою душу. — Вернувшись, узнала, что Лева уехал в Крапивну, и Дора одна. Я побежала к ней и посидела с ней.—Потом мне Левочка дал 10-ю главу своей статьи „Об искусстве", и я из одного экземпляра вносила поправки в другой. Трудная, напряженная механическая работа. Сидела три часа, радовалась, что он декадентов бранит и изобличает их обман. Дает примеры самых бессмысленных стихотворений Малларме,[446] Гриффин,[447] Ферхерен,[448] Мореас[449] и других.—Вечером меня Левочка для моциона пригласил играть в воланы, а я его просила поиграть со мной в 4 руки. И мы очень недурно сыграли септуор Бетховена. Как хорошо, как весело и как легко стало после музыки! Легли поздно, почитала в „Неделе„ „О половой любви" Меншикова.[450] Сколько не рассуждай об этом вопросе—ничего не решит никто в мире.

Самое сильное, самое лучшее, самое мучительное — это только любовь и любовь, и все остальное группируется и руководится любовью. Художнику, ученому, философу, женщине, даже ребенку—всем любовь дает подъем духа, энергии, силы работать, вдохновения, счастья.—Не говорю именно о половой любви, а о всякой любви. Я, например, в жизни любила сильнее, лучше, самоотверженнее всего своего маленького Ваничку. Затем все те привязанности к мужу и к другим лицам в моей жизни всегда были сильнее в области душевной, художественной и умственной, чем в области физического влечения. Начиная с мужа, как бы физически он не отталкивал меня своими привычками неопрятности, невоздержания в дурных наклонностях чисто физических, мне достаточно было его богатого внутреннего содержания, чтоб всю жизнь любить его, а на остальное закрывать глаза.—У... а[163] я полюбила за тот мир философии, в который он ввел меня, читая мне Марк-Аврелия, Эпиктета, Сенеку и других. Впервые открылась мне им и с ним эта область высокого человеческого мышления, в которой я нашла столько утешения в своей жизни.—К Сергею Ивановичу я привязалась тоже посредством не его личности физи-

ческой, а его удивительного, музыкального таланта. То благородство, серьезность и чистота, которая в его музыке очевидно истекает из его души.

Из детей своих любимцем был Ваничка по той же причине: бестелесный, худенький, он весь был—душа: чуткий, нежный, любящий. Это был тончайший, духовный материал, конечно не для земной жизни.

Помоги и мне бог выйти из области физической и самой духовно утончить свою душу и с очищенным сердцем перейти в ту область, где теперь мой Ваничка.

6 октября 1897 г.

Переехала с Сашей и M-lle Aubert в Москву. Вчера уезжала от Левочки с болью в сердце; давно мне не было его так жалко, как вчера. Одинокий, старый, сгорбленный (он все больше и больше сгибается, вероятно, от сидячей жизни, до того, что пишет согнувшись, почти целыми днями).

Я убрала его кабинет, привела в порядок все его вещи, белье; приготовила ему все его маленькое хозяйство: овсянку, кофе, разные кастрюлечки, посуду и пр., и пр., мед, яблоки, виноград, сухари Альберт—все, что он любит. Прощался он со мной очень ласково, как будто робко; ему не хотелось со мной расставаться, и я дней через 6 поеду к нему, и мы вместе поедем в Пирогово к его брату, Сергею Николаевичу.—Вся надежда на сына Леву и Дору, что они уходят за Львом Николаевичем. Нарыв его прошел, но теперь нос что-то заболел, Лев Николаевич ужасно струсил. Надеюсь, что ничего серьезного.

Ходила сегодня к зубному врачу, потом к Колокольцовым, потом по делам Льва Николаевича в банк к Дунаеву, чтоб он передал письмо Льва Николаевича в газету об отнятых у молокан детях, взяв в „Русских Ведомостях“, которые не согласились печатать, передать в „С.-Петербургские Ведомости“ [451] князю Ухтомскому.[452]

Устала, пишу нескладно...

10 октября 1897 г.

Четыре дня не писала, прожила лихорадочные по суете и большого количества дел—дни. Ни музыки, ни чтения, ни радости—ничего. Как я не люблю такой жизни! — Много заняло

времени писание Льва Николаевича. Вносила поправки из одного экземпляра в другой, чистый, переписала все „Заключение". Потом искала русских учительниц Саше, сегодня взяла С. Н. Кашкину,[453] дочь бывшего Сережиного учителя музыки, Николая Дмитриевича Кашкина. Миша упал и ногу зашиб, лежит 3 дня и в лицей не ходит, и ничего ровно не делает. Несносчейшее пьянство лакеев. Один спился и ушел, другой 3-й день пьян. Никогда ничего подобного не было, ужасно досадно и скучно.

Сегодня провел со мной вечер Сергей Иванович, и осталась какая-то неудовлетворенность от наших отношений, даже отчужденность. Мне не было с ним весело, а неестественно и даже минутами тяжело. Оттого ли, что я получила от Льва Николаевича хорошее письмо и перенеслась душой и мыслями в Ясную Поляну, к нему, оттого ли, что совесть меня мучила, что вмешательство Сергея Ивановича в мою жизнь столько причинило горя и может теперь еще огорчать Льва Николаевича, но что-то изменилось в моем отношении к Сергею Ивановичу, хотя я в душе все-таки бравировала недовольство Льва Николаевича и уступить свою свободу действий и чувств не хочу, пока не чувствую в себе никакой вины.

Зубы совсем плохо сделаны и придется переделывать, и целая неделя езды к дантисту прошла даром. Опять досадно и скучно!

Завтра концерт чехов, играют Бетховена, квартет Танеева и Гайдна. Очень это весело.

11 октября 1897 г.

Получила письма: Льва Николаевича, Левы и Доры, все о том, что Лев Николаевич не совсем здоров и решила ехать в Ясную Поляну сегодня же. Квартетный концерт был удивительно хорош. Бетховена квартет сыграли превосходно; квартет же С. И. Танеева был настоящим торжеством музыки. Что за прелестный квартет! Это последнее слово новой музыки; но такой серьезной, сложной, с неожиданными комбинациями гармонии, с богатством мыслей и умением. Я получила полное музыкальное наслаждение. Сергея Ивановича два раза вызывали; апплодировали и ему, и чехам, которые исполнили квартет безукоризненно. Под этим чудным впечатлением уехала я домой, уложилась и за четверть часа приехала на станцию железной дороги.

Мне было радостно и на поезде, и утром на Козловской дороге, и весь 1-й день в Ясной, под музыкальным впечатлением.

(Записано после 11-го).

20 октября 1897 г.

Прожила в Ясной Поляне с Львом Николаевичем от 12-го до 18-го. Здоровье его за эти дни совершенно поправилось. Он уже 17-го ездил верхом в Ясенки и перестал пить эмс. Жили мы с ним внизу в двух комнатках; только одеваться и раздеваться я ходила на верх, в свою холодную спальню, и совсем распростудилась и захворала: сначала невралгией в голове, потом страшной невралгической болью в руке и плече, а наконец гриппом.—Трудна и сера была жизнь этой недели в Ясной Поляне. На дворе сыро, пасмурно, темно. В доме пустынно, холодно, грязно. Сама больна, а писала целыми днями, не разгибая спины, так что были минуты, мне хотелось от усталости смеяться, кричать, плакать. Сначала я с поправленных десяти глав вносила поправки в чистые экземпляры; потом переписывала страшно много. Потом переписанное мною Лев Николаевич опять перемарал и переправил, и я должна была вносить обратно его поправки в прежний экземпляр. Пишет он путанно, неразборчиво, мелко, не дописывает слов, знаков препинания не ставит... Какого напряжения стоит разбирать всю его путаницу с выносками, разными знаками и номерами!

При невралгии и насморке это было страшно тяжело. Последние два дня приехала М. А. Шмидт и мне немного помогла, так что мы почти все кончили, что нужно было переписать и исправить.

Прислуги не было никого, кроме крестьянского малого, почти идиота, который помощник кучера и приходил топить печку и ставить самовар. А иногда я и сама ставила самовар неумело и с досадой, потому что эти принципы Льва Николаевича, делать—все самому—лишали меня возможности больше помогать и переписывать ему же. — Комнаты мела тоже я и пыль вытирала, и насилу вычистила я эти две комнаты, запущенные в мое отсутствие в высшей степени беспорядка и грязи.

Обедать и ужинать ходили в благоустроенный, чистый и светлый флигель Доры и Левы. Там сначала было непривычно и чуждо, а под конец очень приятно и хорошо.

Левочка муж был со мной ласков и добр. Трогательно завязывал на больной руке и плече компрессы, благодарил за переписыванье и на прощанье поцеловал даже мою руку, чего давно не делал.

Был еще тяжелый и неприятный переполох в Ясной Поляне во время моего там пребывания. Сосед, молодой негодяй Бибиков,[302] человек пьяный, безнравственный и глупый, отрезал у нас купленную 33 года тому назад у его отца землю, на которой посадка 30-летняя; позвал землемера, поставил столбы с казенной печатью, вырыл межевые ямы и выкопал канаву. Кроме того, увез наш хворост, срубил две березы и утверждает, что земля продана не была, а его. Приезжал земский начальник, урядник, разговоры, прошения, всякие неприятности; бедный Лев Николаевич и Лева—оба очень расстроились, и потому мне особенно это было неприятно.

Дело теперь налажено, но неизвестно еще, как окончится. У нас правосудие плохое.

В Москву вернулась 18-го. Пробегала утро по делам, мерила платье, вечером была в 1-м симфоническом концерте. Играли все Мендельсона: 4-ю симфонию, потом „Сон в летнюю ночь" с хором, потом концерт с скрипачом. Но мне казалось, вяло дирижировал Сафонов.[454]

19-го была свадьба Вани Раевского.[455] Торжественная, грустная, но трогательная по отношению матери и сына. Она чувствовала всю важность брака и первого как бы разрыва между ними, так как любовь сына разделилась еще на молодую жену. Ее я не поняла еще. Худенькая, болезненная, с робкой улыбкой. Довольно было скучно; очень я приняла к сердцу взволнованное состояние Елены Павловны. Она не могла не вспомнить покойного мужа при таком значительном для нее событии, и мы поговорили об этом и даже плакали. Давно не наряжалась я так, как вчера, и старое тщеславное чувство моей внешности на минуту меня захватило, но слабо.

Сергей Иванович упал, повредил ногу и лежит несколько дней. Не вытерпела, забежала к нему на минутку и сама испугалась, мне А. И. Маслова[341] в симфоническом концерте сказала: зайдите непременно к Сергею Ивановичу, он очень вам будет рад.

Рад ли действительно? А может быть, совсем обратное. — У него сидел А. А. Маклаков,[339] и они играли в шахматы. Сергей Иванович был бледен, жалок, как наказанный ребенок. Жаловался, что даже не работается от отсутствия движения и воздуха.

Были письма от Тани и Маши. Все то же тяжелое чувство от дочерей. Маша с своим ленивым, неразумным мальчиком-мужем; Таня с своей болезненной влюбленностью в Сухотина. Точно я сразу потеряла обеих дочерей.

Саша с новой учительницей учится хорошо и старательно.

Бегала сегодня по поручениям Доры и по делу Бибикова к нотариусу. Дора беременна. Она очень нежна, внимательна и добра с Львом Николаевичем и со мной; и так жалка и трогательна своей беременностью и тошнотой.

Сегодня вечер провела с дядей Костей[26] и с Маклаковым. Пусто и бесполезно, но они лучше многих, все-таки.

21 октября 1897 г.

Ходила навестить Сергея Ивановича. Он упал и повредил ногу, которая распухла, и теперь он лежит уже несколько дней, и я не могла не пойти к нему. Как всегда, серьезно, просто и спокойно разговаривали. Он мне рассказывал о сектантах, самосжигателях, я ему рассказывала о декадентских сочинениях, из которых делала выписки для Льва Николаевича в Ясной. Потом говорили о музыке, о Бетховене, и он мне рассказывал кое-что из его биографии и дал мне читать два тома из жизни Бетховена.[456] Как всегда, осталось * от свидания с Сергеем Ивановичем спокойное, удовлетворенное и хорошее чувство. Он очень просил опять зайти; не знаю решусь ли. Еще ходила к Наташе Ден[457]—не застала ее. Видела ее бедный уголок. Все эти дочери наши уходят в бедную жизнь, чтоб отдаться и взять любимого человека. А жили в больших домах, с большим количеством прислуги, с хорошей пищей... Видно, ничего нет дороже любви.—Была и у Елены Павловны Раевской. Она, видно,

* Вместо слова „осталось“ раньше было написано другое слово, которое С. А. выскребла, слово начиналось буквой „у“, в середине ясно видно „д“ и в окончании „ь“.

больно пережила свадьбу сына, и теперь опять подбодрилась.— Вечер провела у брата Саши с сестрой Лизой. Разговоры о хозяйстве, наживе, материализм крайний, отсутствие умственных и художественных интересов — ужасающи в моей сестре Лизе. Гости, фрукты, печенья, старательно устроенный чай, гостеприимство Анички, миленькие девочки, Колокольцовы супруги — и в конце концов бесследно и бесполезно убитый день...

Было письмо от Льва Николаевича, холодное и чуждое. Он постарался ласково отнестись ко мне—и не вышло. Ему, должно быть, досадно, что я живу в Москве, а не с ним, в Ясной, где бы с утра до ночи переписывала ему. А я не могу, не могу больше! Я устала, стара; разбита душой, и может-быть, уже избалована.—Вспомню неделю, проведенную там: грязь на дворе, грязь в тех двух комнатах, где мы теперь жили с Львом Николаевичем. Четыре мышеловки, беспрестанно щелкавшие от пойманных мышей. Мыши, мыши без конца... холодный, пустой дом, серое небо, дождь мелкий, темнота; переходы из дома в дом к обеду и ужину к Леве, с фонарем по грязи; писание, писание с утра до ночи; дымящие самовары, отсутствие людей, тишина мертвая; ужасно тяжела, сера теперь была моя жизнь в Ясной. Здесь лучше, только надо полезнее жить и содержательнее.

23 октября 1897 г.

С утра у зубного врача — опять все сначала; потом была у тетеньки В. А.,[31] болтала много и напрасно с Машей Свербеевой.[4] Дядя Костя обедал, потом пошли с ним навестить Сергея Ивановича. Было скучно и совестно, и это наверное в последний раз. Побыли там немножко, пришла туда с развязной шутливостью А. И. Маслова, еще стало скучнее и совестнее. Уехала в концерт квартетный. Играли два квинтета Брамса. очень скучно, я даже дремала.

На душе тяжело; известие о болезни, очень, повидимому, тяжелой, * Андрюши, меня очень расстроило. Думала много о Тане; сегодня с ней что-нибудь было особенное, очень уж много о ней думала. Получила письмо от М. А. Шмидт, что Лев Николаевич здоров и бодр; что у него мужики чай пили

* Вместо слов „повидимому тяжелой" ранее были написаны другие два слова, С. А. стерла их и на их месте написала эти.

и проч.—Мы легко живем врозь, а прежде этого не было. Но мне не легко без друга, без человека, который бы интересовался моей жизнью, с которым бы можно жить душой вместе.— А Лев Николаевич жил со мной вместе т е л о м и любил меня только плотской любовью. Эта сторона стала отживать, и вместе с этим отживает желание жить не разлучаясь.

Читала биографию Мендельсона[458] и взяла два тома биографии Бетховена. Но что биографии! Кто узнает душу человека? А творит он душой, и искусство живет духовной жизнью своего творца. Жизнь же материальная часто такая — или плохая, или ничтожная.

Что интересного в жизни Льва Николаевича? Что интересного в жизни Сергея Ивановича? Их любишь не за них, не за жизнь и внешность их, а за ту опять, таки м е ч т у бесконечную, глубокую, из которой вытекает их творчество, и которую любишь в них чувствовать и идеализировать.

Чувствую себя не нормальной, не уравновешенной. Сегодня так тосковала, что способна бы была убить себя или сделать что-нибудь совсем несуразное, крайнее...

24 октября.

Опять у зубного врача. Встала поздно, чувствую себя тоскливо, по-старому, по-осеннему. Точно вокруг меня какие-то нити оборвались, и я одинокая, бесцельная, ничем не связанная, не занятая, никому не нужная... Маклаков привел вечером Плевако,[459] известного адвоката. Как все люди исключительные бывают интересны, так и этот. Видно, он такой человек, которому о б ъ я с н я т ь ничего не нужно; он чуткий, все понимающий и серьезный. Голова широкая, лоб шишками выдающийся, сам широкий, некрасивый, но скорее симпатичный, хотя говорят о нем дурно.

Вечером начала первую главу повести. Я чувствую, что напишу ее хорошо. Но кому дать на суд? Мне хочется совсем секретно и написать, и напечатать ее.

Болит глаз, ложусь спать всякий день около 3-х часов. От моих ни от кого нет известий; а я всем писала вчера, посылая деньги. Стараюсь не тревожиться ни о ком, потому что слишком много на всех ушло бы тревожных сил. Ни за кого ни радостно и неспокойно...

25 октября 1897 г.

Ужасно хочется видеть Льва Николаевича и весь день по нем тоскую. Часа четыре играла на фортепиано, чтобы развлечься. Долго сидела у зубного врача, и он меня измучил, и все-таки больно от вставных зубов. Дожила я таки до этой муки, пришлось вставить несколько зубов, а как я этого боялась..

Заезжала к Маше Колокольцовой, говорили о Тане и Маше — моих дочерях, и опять растравила я свое сердце. — Вечером пришли Померанцев и Игумнов [460]. Игумнов много играл: и свою увертюру, и Скрябина сочинения, и фугу (органную) Баха, и Пабста кое-что. Разыгрывал романсы Сергея Ивановича Танеева и Юши Померанцева. Я сегодня тупа на музыку и вообще сонна. В понедельник хочу ехать к Льву Николаевичу и с ним в Пирогово.

26 октября 1897 г.

Возила Сашу и Соню Колокольцову в общедоступный концерт памяти Чайковского. Оттуда, там же, в Историческом Музее, смотрели выставку картин русских художников. Выдающихся нет. Поражает преобладание осенних пейзажей. Осень была действительно прекрасная нынешний год. Лист держался долго, много было солнечных дней и впечатление осени — золотое. Приехал Сережа. Как всегда моя сердечная нежность к нему сдерживается какой-то стыдливостью чувства. А всегда хочется его приласкать, сказать ему, как я его люблю, как мне больно его горе. Вечером пришел Гольденвейзер и Наташа Ден с мужем. [457] Гольденвейзер играл превосходно. У него такая изящная, легкая игра: с таким вкусом. Nocturne Chopin, Рахманинова мелкие вещи, Schubert'a Imporptu и проч. — Я очень наслаждалась; так много искусства было сегодня, и мне хорошо.

27 октября 1897 г.

Выпал снег, блестит белый, в саду, на солнце. Но уже нет того молодого подъема жизненной энергии и той простой непосредственной радости от первого снега.

Езда по делам, немного игры на фортепиано и отъезд в Ясную Поляну.

2 ноября 1897 г.

Была в Ясной Поляне у Льва Николаевича. Утром 28-го ехала с Козловки в санях такая бодрая и готовая на любовь, на дело, на помощь по отношению к Льву Николаевичу. Было ясное солнечное утро: снег блестел, а на небе огромная луна заходила и ясное солнце вставало; красивое, волшебное впечатление утра!

А приехав в Ясную, все сразу не повезло и отбило мне крылья. Лев Николаевич не ласковый, суровый. Потом случичилась неприятность: стала я, убирая комнату, заправлять одну из бесчисленных мышеловок, а она захлопнулась и палкой ударила мне в глаз, так что я упала и думала, что ослепну.

Вместо переписыванья Льву Николаевичу, пришлось $1^1/_2$ дня лежать с компрессом на глазу. На другой день Лев Николаевич поехал в Тулу, верхом, было 15 градусов мороза и это очень меня тревожило, и я лежала одна в большом каменном доме весь день с закрытыми глазами и с мрачными мыслями о детях своих и об отношении моем к Льву Николаевичу и детям.

Несколько раз вставала писать, глядя хоть одним глазом, переписала все-таки понемногу всю 12 главу об искусстве; ходила во флигель к Леве и Доре обедать и ужинать, и там мне было хорошо.

На другой день мы поехали с Львом Николаевичем в Пирогово, к брату Льва Николаевича — Сергею Николаевичу. Но вечером, накануне нашей поездки была между нами неприятная сцена, которая произвела тот надрез в наших отношениях, которые не проходят даром, а еще больше отдаляют людей, любивших друг друга—друг от друга. Что было? это неуловимо. Собственно ничего. Результат был тот, что я почувствовала опять тот лед сердца его, который столько раз в жизни заставлял меня содрогаться; почувствовала равнодушие полное ко мне, к детям, к нашей жизни. На вопросы мои приедет ли он в Москву и когда? Он отвечал уклончиво и неопределенно; на желание мое ближе, дружнее быть с ним, помогать ему в деле его писания, переписывать, посещать его, обставляя его и здоровой вегетарианской пищей, и заботой обо всем—он брезгливо отвечал, что ему ничего не нужно, что он наслаждается одиночеством, что он ничего не просит,

переписывать ему тоже не нужно—вообще он всячески хотел лишить меня радости думать, что я могу ему быть полезна, уж не говоря приятна. А нам, женщинам, это дороже всего: почувствовать, что мы можем быть полезны или приятны близким нам людям.

Сначала я плакала, потом со мной сделалась истерика и я дошла до того крайнего предела отчаяния, когда кроме смерти ничего не желаешь.

А главное, это ледяное отношение Льва Николаевича ко мне и порождает в сердце ту сильную потребность привязаться к кому-нибудь, заместить ту пустоту, которая остается в сердце от не принятой, отвергнутой нежности к тому, кого законно и просто можно любить. Это большой трагизм, который мужчины не понимают и не признают.

Кое-как совершилось примирение, когда я чуть не сошла с ума от напряженного горя и слез.—На другой день уже в Пирогове, я весь день писала и писала для Льва Николаевича. И все стало нужно: и теплая шапка, которую я догадалась взять, и фрукты, и финики, и мое тело, и мой труд переписыванья—все это оказалось более чем необходимо.—Боже мой! помоги мне до конца жизни Льва Николаевича—исполнять мой долг перед мужем, т.-е. служить ему терпеливо и кротко. Но не могу я заглушить в себе эту потребность дружеских, спокойно заботливых отношений друг к другу, которые должны бы быть между людьми близкими.

И несмотря на ту боль, которую мне сделал Лев Николаевич, я мучилась, что он 35 верст ехал верхом и боялась его простуды и усталости! Теперь он остался в Пирогове у брата, а я вчера уехала из Пирогова; была в симфоническом концерте; прекрасно было: Чайковского серенада C-dur для струнных инструментов и концерт Шумана. Видела много народу, но Сергея Ивановича не было; у него все нога болит.

С Сашей все хорошо, только с m-lle Aubert она не ладит. Миша сообщил мне, что все двойки получает из extemporale и я рассердилась, т.-е. скорее возволновалась, упрекала ему, а он стал возвышать голос и был неприятен.

Очень меня взволновало вчера то, что Сережа был у своей жены, она его вызывала, и видел своего сына маленького,

и когда я спросила: что именно было между ним и женой, он сказал „всего по-немножку", но отклонился от подробностей их свидания. Но мне кажется, он стал спокойнее.

Маня кашляет, едет в Cannes заграницу. [14]

Здесь в Москве мне спокойнее и лучше, но я сегодня возвращаюсь в Пирогово; послезавтра уедем в Ясную, там я пробуду один день, рождение Доры и вернусь в четверг, 6-го утром в Москву, откуда уже не уеду. Хочет Лев Николаевич жить со мною врознь—его дело. Я должна воспитывать Сашу и влиять на Мишу; да я и не могу больше жить в Ясной. Прежняя жизнь с детьми—была хороша, занята и содержательна; теперь же, быть всецело р а б о й, да еще мало любимой (он никого не любит) Льва Николаевича, без л и ч н о г о труда, без личной жизни и интереса—я уже не могу. Устала от жизни!

7 ноября 1897 г.

Планы мои не все сбылись. Я вернулась в Пирогово в понедельник утром и уехали мы оттуда только вчера, в четверг Тяжела было жизнь у брата Льва Николаевича. Это 71 года старик довольно свежий умом, но деспотичный в семье, страшный мизантроп, много читающий, всем интересующийся, но бранящий весь мир—кроме дворян.—У него с языка не сходят слова: профессора—это с... дети, прохвосты... купцы—это разбойники, мошенники; народ—уж про народ и говорить нечего, все бранные слова на народ. Музыкальный мир—это тоже дураки, мерзавцы... Ужасно было с ним тяжело. Живут бедно, сдят ужасно; бедные дочери, молчаливые перед деспотом отцом ищут в жизни общения в их глуши с живыми существами. И вот Вера показывает крестьянским ребятам волшебный фонарь, учит крестьянского мальчика по-английски; потом они беседуют с мужиками, шорниками, столярами—о религиозных и философских вопросах. Прежде отец на это сердился, а теперь мать (цыганка) [461] ужасно огорчается этому. Кроме того у этих трех девушек 2 коровы, лошадь; они сами их кормят, доят и молоко едят, потому что вегетарианки.

Лев Николаевич там продолжал свое писание, а я ему целые дни переписывала. Вечером раз играла им на расстроен-

ном рояле и все были в восторге; давно никакой музыки не слыхали.

Мы хотели уехать во вторник; но шел дождь, была гололедица—и мы остались. На другой день страшный ветер, я боялась простудить Льва Николаевича и мы опять остались. Но вчера дошла моя тоска до последних пределов и мы решили ехать в Ясную. Был опять сильный ветер, Лев Николаевич все 35 верст проехал верхом, бодро и весело, а я ехала в розвальнях и так беспокоилась о нем, как давно не беспокоилась. Так ничтожны мне показались на свете все другие интересы, привязанности, фантазии мои перед страхом простуды, болезни и возможности потерять мужа!

Доехали мы в три часа времени, и слава богу не простудились. В Ясной Лева и Дора нас ласково встретили и таким мне показалась Ясная Поляна раем перед Пироговым! Обедали у Левы, а вечером топили у себя печь; Левочка поправил еще 12-ю и 13-ю главы и дал мне вписать поправки в двойной экземпляр.

Пили весело вдвоем чай, Левочка сам постелил мне постель и после 35-верстной езды верхом был еще настолько бодр, что страстно отнесся ко мне... Пишу об этом, как о замечательной бодрости его; ведь ему 70-й год!... Сегодня утром шел мягкий, пушистый снег, без ветра; в чистом воздухе слегка морозило. Пили вдвоем кофе, убирали свои комнаты, получили письма от всех почти детей и радовались этому; просматривали газеты, а потом я поехала опять в розвальнях на Ясенковскую станцию и в Москву. С Львом Николаевичем простились дружелюбно и он благодарил меня даже, что я ему так много помогла переписывая статью об искусстве. Сегодня отправили еще 12-ю и 13-ю главы в Англию к Мооду для перевода.—С Львом Николаевичем остались опять Лева и Дора и старый его переписчик, Александр Петрович Иванов, [462] отставной поручик, 19 лет тому назад пришедший просить на бедность и оставшийся тогда еще переписывать Льву Николаевичу его статьи после его нравственного переворота.

Дорогой в вагоне я все читала биографию Бетховена, удивительно меня заинтересовавшую. Это один из тех гениев, для которых центр всего мира—это их гений, творчество—

и весь остальной мир—это обстановка, принадлежность к гению (accessoire). Через Бетховена я поняла лучше и эгоизм и равнодушие ко всему—Льва Николаевича. Для него тоже мир есть то, что окружает его гений, его творчество; он берет от всего окружающего его только то, что служит служебным элементом для его таланта, для его работы. Все остальное он отбрасывает. От меня, например, он берет мой труд переписыванья, мою заботу о его физической стороне жизни, мое тело... А вся духовная сторона моей жизни ему совсем не интересна и не нужна,—и потому он никогда не вникал в нее.—Дочери ему тоже служили, и он ими тогда интересовался; а сыновья ему совершенно чужие.—И все это нам больно,—а мир преклоняется перед такими людьми...

В Москве много дела книжного, банкового—всякого скучного. Саша и Миша мне очень обрадовались, но они плохо учатся дурно и Саша продолжает грубить гувернанткам.

Сегодня вечером успела еще поиграть немного...

10 ноября 1897 г.

Сегодня вернулась из Твери, куда ездила навестить Андрюшу. Вчера утром выехала. Андрюша встретил меня у ворот, он с утра меня ждал и всегда нежно выражает свою радость видеть меня. Он обжегся карболовой кислотой и лежал три недели; теперь все зажило. Мы провели очень хорошо день вместе. Я работала, он сидел со мной, и мы переговорили о многом интимном и его личном. Жизнь как будто отрезвила немного и развила Андрюшу. Он свеж, не пьет, не ведет беспорядочную жизнь и потому бодр и приятен. По его настоятельной просьбе хлопочу об его прикомандировке в Сумской полк в Москву.

Страшно была бы утомительна дорога еслиб не биография Бетховена, которую читаю с все большим* увлечением. Жизнь всякого человека интересна, а такого гения тем более!

Получила письмо и телеграмму от Тани. Она задержалась в Ялте по случаю нездоровья маленького Андрюши (внука). Приезжает Вера Кузминская и я ей рада.

---

* Слова „все большим" написаны другими чернилами, на месте других написанных ранее и стертых слов.

Получила письмо от Льва Николаевича. Пишет, что совсем кончает „Об искусстве“ и хочет браться за новую работу. Еще пишет: думал о тебе и понял тебя (?) и мне стало тебя жалко.—Во-первых, как он меня понял. Он никогда не трудился понять меня и совсем меня не знает. Когда я его просила указывать мне что читать, он указывал мне, что ему интересно, а не что мне может быть интересно и полезно. В этом, т.-е. чтении, мне много помог покойный князь Л. Урусов, а теперь помогает Сергей Иванович.—Когда я чему-нибудь огорчалась—он приписывал это тому, что желудок не в порядке (у меня, такой здоровой); когда я чего-нибудь желала—он или игнорировал или говорил, что я капризна или не в духе. А теперь он что-то во мне понял и пожалел. Мне оскорбительна жалость, и я не хочу ее. Если нет любви хорошей, настоящей, дружеской и чистой—мне ничего не надо я окрепла и сама найду радости и смысл жизни.

11 ноября 1897 г.

Была в Лицее узнать о Мише и выслушала тяжелые нападения на лень и дурное его поведение. Какая я несчастная, что всю жизнь я только слышу, страдая, краснея от стыда, от всех директоров и учителей брань и унижение моим сыновьям.

Есть же такие счастливые матери, которые слышут обратное. Дома опять тяжелый разговор с Мишей и я решилась сделать все возможное, чтоб отдать его совсем в Лицей. Он противится, но я постараюсь настоять на своем.

Ездила по делам, мокрый снег, ветер. Вечером без пользы, но с интересом разбирала сонаты Бетховена и поиграла. Читаю все с увлечением биографию этого величайшего гения в музыке—Бетховена. Приехала Вера Кузминская и мне не так одиноко. Впрочем я не одинока: целый мир новой жизни во мне, и мне никого и ничего не нужно для развлечения. Я рада видать своих, рада и возвращению Тани, и Льва Николаевича, но мало они мне прибавляют для моего внутреннего счастья. Увы! напротив...

12 ноября 1897 г.

Были с Сашей в Консерватории на музыкальном вечере. Не утомительно и приятно было. Отличные пианистки выучиваются там. Директор Сафонов очень был любезен, взял меня

под руку в антракте и пригласил к себе в кабинет; представил мне какого-то иностранного профессора музыки Риттера[463] и пришлось говорить по-немецки. Была у меня m-me Ден, а то никого почти не вижу. Утром была в банке. Никого и не хочется видеть.

13 ноября.

Ездила по покупкам Доры, написала ей письмо, взяла у мисс Вельш 1-й урок музыки. Сегодня тоскливо и хочется ласкового дружеского общения с кем-нибудь, кого я люблю.

Приехала Вера Толстая; Вера Кузминская несчастна своими дурными отношениями с отцом. Миша ушел в театр, Саша готовит уроки. Пойду наверх, поиграю, все легче будет, а то мутится дух.

Много играла, весь вечер, но без пользы. Что за бесконечное наслаждение в музыке Бетховена!

14 ноября 1897 г.

Целый день, с утра, скучные счеты с артельщиком. Вечером пришел Ал. Маклаков, играли в 4 руки, но он чересчур плох. Пробовали симфонии Мендельсона, Шуберта (прелестная трагическая симфония), увертюры Мендельсона—и все неудачно очень выходило; даже плакать хотелось от бессилия исполнить порядочно хоть что-нибудь.

Приехал Андрюша на два дня. Ему показалось так одиноко и скучно после моего отъезда из Твери, что он приехал, отпросившись у эскадронного командира.—Доброе письмо от Льва Николаевича.

Вера Кузминская получила письмо от матери, что женится М.,[464] которого она любила. Она очень плакала и вообще жалка. С отцом у ней отношения плохие и вчера она над его письмом плакала.

Мороз 10, потом $7^1/_2$ градусов и ветер. Я не выходила сегодня. Завтра симфонический...

15 ноября 1897 г.

Целый день музыка, а удовольствия мало. Утром была с Верой и Сашей на репетиции. Очень не хотелось вставать и ехать, но для них это сделала. Днем сама поиграла упражнения. Был Миша Олсуфьев, расспрашивал о Тане и Сухотине. Я сказала, что она ему отказала. Слово за слово, разговорились о ней намеками разными и он очень взволновался.

Думал ли он когда на ней жениться? Верно думал, но не решился.—„Ваши дочери очень страстные, талантливые и содержательные, но на них страшно жениться“—сказал он. Я тоже ужасно взволновалась.

Обедала Боратынская [465] и дядя Костя. Вечером у Миши были его друзья, а я ездила в симфонический концерт. „Карнавал“ Глазунова, „Гарольд“ Берлиоза, „Andante“ Рубинштейна, хорошая певица пела Грига песни и Генделя что-то. В общем весь концерт был скучный.—С Мишей все неприятна его слабость. А утром он с добротой трогательно раскаивался. Что-то будет! А как тяжело, как тяжело!

То, что Левочка не приезжает делается и грустно и досадно. С. И. не видаю, он с больной ногой, а я к нему не иду, потому что не хочу огорчать Левочку, хотя часто досадно, что он со мной не живет и радуется на свое одиночество без меня, а мои действия и привязанности стесняет. А на что я ему, если он не со мной?

16 ноября 1897 г.

Опять весь день музыка. С утра занялась счетами и записью, потом играла часа два с половиной и не могла справиться с VIII инвенцией Баха. После обеда просмотрела симфонии Шуберта и разобрала сонату Бетховена. Потом пришел Гольденвейзер, Дунаев и Варя Нагорнова. Дунаев прочел нам рассказ Чехова, [466] Гольденвейзер играл сонату (Apassionata) Бетховена, прелюдии и ноктюрны Шопена и играл очень хорошо; я люблю его изящную, умную игру, хотя эта же соната, когда я вспомнила, как ее играл Танеев, то это как небо от земли! Ах, это ужасное, бессильное желание послушать опять игру этого человека—неужели никогда больше оно не удовлетворится!—Когда ушел Гольденвейзер, мы с Варей попробовали сыграть „Трагическую Симфонию“ Шуберта; и как начали, так уже не оторвались. Играли мы больше вдохновением, а не умением. Откуда что бралось. Мы обе были в восторге. Милая, чуткая, талантливая и сочувствующая всему хорошему—Варичка.

Уехал Андрюша; мне его всегда жалко. Миша был на цыганском концерте. Саша бегала и играла с Соней Колокольцовой. Известий сегодня ни от кого нет. Из дому я не выходила сегодня. Снег и на точке замерзания.

19 ноября 1897 г.

Брала 2-й урок музыки у мисс Вельш и не могла оторваться от фортепиано и после урока проиграла еще 4 часа. Ужасно хотелось поиграть с кем-нибудь в 4 руки последнюю неконченную симфонию Шуберта, но не с кем было.—Вера Кузминская в истерическом состоянии была очень жалка. Сережа кашляет и все покупает какое-то имение с Степой,[467] что мне крайне не нравится. Было письмо от Льва Николаевича; он пишет, что хотя скучает без меня, но ему хочется уединения для работы, так как он стар и жить и писать осталось недолго. Для человечества эти аргументы может быть и очень важны, но для меня лично—надо делать большие усилия, чтобы думать, что писанье статей важнее моей жизни, моей любви и моего желанья жить с мужем, находить в этом счастье, а не искать его в н е этого.

Вечером посетила тетеньку Шидловскую, ей за 72 года и очень с ней скучно; но часто себя представляю в этом возрасте одинокой—и жутко делается.

Гололедица, езда по скользкой мостовой мучительна; вчера лил дождь, сегодня все замерзло и блестит днем на солнце, ночью в белом лунном свете.

Сейчас гадала на картах и два раза мне вышла с м е р т ь. И вдруг мне страшно стало умереть; а я так недавно желала смерти. Ну, да будет на все воля божья! Немного раньше или позднее, не все ли равно.

СМЕРТЬ ВАНИЧКИ [468]

За несколько дней до кончины Ваничка удивлял меня тем, что начал раздаривать свои вещи, прилагая к ним записочки своей рукой „на память Маше от Вани“ или „повару Семену Николаевичу [469] от Вани“ и проч. Потом раз снял со стены своей детской разные картиночки в рамках и снес их в комнату брата Миши, которого он страстно любил. Он взял у меня гвозди и молоток и повесил все свои картинки в Мишиной комнате. Он так любил Мишу, что был до отчаяния несчастлив и горько плакал, если, поссорившись с Мишей, тот не сразу хотел с ним мириться. Насколько Миша любил маленького Ваничку, не знаю; но со временем он назвал его именем своего первого сына.

Незадолго до своей смерти раз Ваничка смотрел в окно, вдруг задумался и спросил меня: „Мама, Алеша (умерший мой маленький сын) [431] теперь ангел?“

— Да, говорят, что дети, умершие до семи лет, бывают ангелами.

А он мне на это сказал:

— Лучше и мне, мама, умереть до семи лет. Теперь скоро мое рождение, я тоже был бы ангел. А если я не умру, мама милая, позволь мне говеть, чтобы у меня не было грехов.

Слова эти болезненно запали мне в душу. 20-го февраля дочь Маша вызвалась вместе с няней повести Ваничку в клинику к профессору Филатову, который назначил нам для приема этот день. Вернулись они веселые, бодрые. Ваничка объявил мне с восторгом, что ему позволено все есть, много гулять и даже ездить. После завтрака он пошел с Сашей гулять и потом прекрасно ел за обедом. Намучившись, глядя на болезнь

Ванички, все в доме были веселы. Таня и Маша, не имея своих семей, всю способность материнской любви перенесли на маленького брата.

Вечером 20-го Саша и Ваничка попросили сестру Машу читать им переделанный для детей рассказ Диккенса „Большие ожидания" под заглавием „Дочь каторжника".[470] Когда пришло время итти спать, Ваничка пришел ко мне прощаться и поразил меня своим грустным, усталым видом. Я спросила его о чтении.

— Ах, не говори, мама. Так все грустно, ужас. Эстелла вышла замуж не за Пипа.

Мы пошли с ним вниз в детскую, он зевал и говорил мне с такой грустью и со слезами на глазах:

— Ах, мама, опять о н а, о н а — лихорадка.

Я поставила градусник, t°—38,5. Жаловался Ваничка на боль в глазах; я думала начинается корь. Когда я убедилась, что Ваничка опять заболевает, я заплакала и, увидав мои слезы, он сказал:

— Не плачь, мама, ведь это воля божия.

Незадолго до этого, он просил меня растолковать ему молитву „Отче наш", и я особенно горячо толковала ему, что значат слова и их смысл:—„Да будет воля твоя".

Потом он попросил дочесть ему начатую нами сказку Гримма,[299] кажется что-то о вороне. Я исполнила его просьбу. Вошел в детскую сын Миша, а я вышла в спальню. Мише, как я узнала после, Ваничка сказал:

— Я знаю, что теперь умру.

Ночью он очень горел, но спал. Утром послали за доктором Филатовым, и он тотчас же определил, что у Ванички скарлатина. Жар достиг уже 40°, присоединились боли в животе и сильнейший понос, объясняемый тем, что скарлатина осложнилась дифтеритом кишек.

В 3 часа ночи Ваничка проснулся, посмотрел на меня и сказал:

— Извини, милая мама, что тебя разбудили.

Я ему говорю:

— Я выспалась, милый, мы с тобой по очереди сидим.

— А теперь чей черед будет, Танин?

— Нет, Машин.

— Позови Машу, иди спать.

Заботливо послал меня мой мальчик, и начал меня целовать крепко, крепко, нежно, вытягивая свои сухие губки и прижимаясь ко мне. Я спросила:

— Что у тебя болит?

— Ничего не болит.

— Что же, тоска?

— Да, тоска.

После этого он почти не приходил в сознание. Жар на другой день достиг 42°. Филатов обертывал его в простыни, намоченные в горчичной воде, сажал и в теплую ванну, но ничего не помогало, головка свисала беспомощно на сторону, как у покойника, потом стали холодеть ручки и ножки; он еще раз открыл свои глазки, как бы удивившись чему-то, и затих. Это было в 11 часов вечера 23 февраля.

Левочка, муж мой, увел меня в комнату Тани, сел со мной на кушетку, и я совсем потеряла сознание, положив свою голову ему на грудь. Мы точно оба замерли в отчаянии.

В самые последние минуты при Ваничке были моя дочь Маша и Мария Николаевна, монахиня,[196] все время молившаяся. Няня, обезумев, как я, от горя, лежала на кровати и изредка всхлипывала, как мне потом рассказывали. Таня то входила, то убегала из детской.

Когда Ваничку одели в белую курточку и расчесали его длинные, белокурые, кудрявые волосики, мы с Левочкой решились войти в детскую. Ваничка лежал на кушетке, я положила ему на грудку образок, кто-то зажег восковую свечку и поставил у головки.

Скоро весть о смерти всеми столь любимого Ванички распространилась среди наших родных и знакомых. Прислали множество цветов и венков, вся детская была точно сад. О заразе никто не думал. Милая, сердечная Сафо Мартынова,[290] у которой своих было четверо детей, тотчас же приехала, плакала с нами и приняла горячее участие в нашем горе. А мы все как-то особенно страстно примкнули друг к другу в любви нашей к покойному Ваничке. Мария Николаевна жила с нами

и так душевно, религиозно утешала нас. В дневнике Льва Николаевича в то время записан крик его сердца:

„26-го февраля. Похоронили Ваничку. Ужасно! Нет, не ужасно, а великое душевное событие. Благодарю тебя, отец".

На третий день, 25-го февраля, Ваничку отпели, заколотили гробик и в 12 часов дня отец с сыновьями и Павлом Ивановичем Бирюковым [303] вынесли гробик и поставили на наши четырехместные большие сани. Сели мы с мужем друг против друга, и провожаемые друзьями, тихо двинулись.

В письме к сестре Тане пишу впоследствии, описывая ей все события смерти Ванички. „И вот, Таня, все время без единой слезы, пока отпевали Ваничку, я держала его ледяную головку в руках, согревала его мертвые щечки руками и поцелуями, и я не умерла от горя, и теперь, хоть и плачу над этим письмом, но живу и буду верно долго жить с этим камнем на сердце".

Молча везли мы с Левочкой наше последнее любимое дитя, нашу светлую будущность. Когда мы стали подъезжать к Покровскому кладбищу близ с. Никольского, куда везли хоронить Ваничку рядом с его братом Алешей, Левочка начал вспоминать, как он, влюбленный в меня, часто ходил и ездил по этой самой дороге в Покровское, где мы тогда жили на даче. Он умилялся и плакал и ласкал меня и словами и воспоминаниями, и мне было так хорошо от его любви.

Похороны. В селе Никольском, близ Покровского, было много народа и местного и прибывшего на похороны. Было вескресенье, школьники гуляли по деревне, любуясь венками и цветами.

С саней сняли гробик, опять же Лев Николаевич и сыновья. Все плакали, глядя на старого сгорбленного, убитого горем отца. При похоронах, кроме семьи нашей, были еще: Маня Рачинская, [301] Соня Мамонова, [77] Коля Оболенский, [343] Сафо Мартынова, Вера Северцева, [29] Вера Толстая и многие другие. Все громко рыдали.

Когда гробик опускали в яму, я опять потеряла всякое сознание, точно и сама куда-то провалилась. Говорили потом, что сын Илюша загораживал от меня эту ужасную яму, а кто-то держал меня за руки. Мой муж Левочка, обняв меня,

прижал к своей груди, и я долго оставалась так в каком-то оцепенении.

Опомнилась я от веселых криков множества крестьянских детей, которым няня по моему поручению раздавала разные сладости и калачи. Дети смеялись, роняли и подбирали опять пряники. Я вспомнила, как Ваничка любил всех угощать и что-нибудь праздновать, и разрыдалась в первый раз после его смерти.

Тотчас же после похорон художник Касаткин[401] приехал на могилу, когда уже все разъехались и набросал два этюда со свежей могилы. Один он подарил мне, другой—Тане, написав при этом очень милое, сердечное и поэтическое письмо с любовью к Ваничке, которого называл „прозрачным".

Вернулись мы осиротелые в наш опустевший дом, и помню я, как Лев Николаевич внизу в столовой, сел на диван, принесенный раньше для больного Левы и, заплакав, сказал:

— Я думал, что Ваничка один из моих сыновей будет продолжать мое дело на земле после моей смерти.

И в другой раз—приблизительно то же.

— А я мечтал, что Ваничка будет продолжать после меня дело божие. Что делать!

И мне было еще тяжелее смотреть на его глубокую скорбь, чем страдать самой.

Пишу сестре про Льва Николаевича:

„Левочка согнулся совсем, постарел, ходит грустный с светлыми глазами, и видно, что и для него потух последний светлый луч его старости. На третий день смерти Ванички он сидел рыдая и говорил: „в первый раз в жизни я чувствую безвыходность".

Ваничка из всех детей был больше всех лицом похож на отца. Те же глубокие вдумчивые и светлые глаза, та же серьезность духовного внутреннего содержания. Как-то раз, расчесывая свои вьющиеся волосы перед зеркалом, Ваничка обернул ко мне свое личико и с улыбкой сказал: „Мама, я сам чувствую, что похож на папу".

После похорон. В первую же ночь после смерти Ванички я вскочила ночью в каком-то ужасе от галлюцинации запаха, и долго после преследовал меня этот запах, хотя

спавший тогда со мной муж мой, уверял меня, что никакого запаха нет, что мне это так кажется. А то вдруг я слышала голос Ванички, нежный и ласковый. Бывало помолюсь с ним богу, мы перекрестим друг друга, и он мне скажет:

— Поцелуй меня покрепче, положи свою головку рядом с моей, подыши мне на грудку, чтобы я заснул с твоим дыханьецем.

Нет любви чище, сильнее и лучше матери и ребенка. Со смертью Ванички кончился в нашем доме детский милый мирок. Саша осиротелая ходила одиноко и грустно по дому, не зная, куда прислониться душой. Она была дика и не общительна по характеру. Ваничка же, наоборот, любил людей, любил писать письма, угощать, праздновать, дарить, и как многие любили его!

Даже холодный Меньшиков [450] писал о нем: „Когда я видел вашего маленького сына, то думал, что он или умрет, или будет гениальнее своего отца".

Много, много писем я получила с соболезнованием о смерти Ванички и о нем самом. Н. Н. Страхов пишет Льву Николаевичу: „Он много обещал, может быть наследовал бы не одно ваше имя, но и вашу славу. А как был мил—сказать нельзя". [471]

Некто Жиркевич,[472] писатель, пишет: „Один писатель из Петербурга, не знающий ни вас, ни Льва Николаевича, ни Ваничку, пишет о последнем статью, восторженный отзыв, как о чудном существе, подававшем большие надежды. Все матери и отцы сочувствуют горю вашему и мой голос тонет в шуме всеобщих симпатий".

Вот и отзыв Мих. Ал. Стаховича: „Жалко и самого Ваничку, милого, трогательного и интересного ребенка, которого я мало видел, но который невольно запоминался своим отличием от банальных детей своим настойчивым, серьезным взглядом и содержательностью своих детских выходок и речей".

Ольга Андреевна Голохвастова [473] писала о Ваничке: „Милый, умный, чуткий, бледный Ваничка".

Софья Алексеевна Философова утешала меня, уверяя, что я стольким дорога и нужна, и прибавила: „Вы своей ясной, искренней и страдающей душой еще более внесете добра".

Анна Григорьевна Достоевская[474] мало видела Ваничку, но писала мне о нем: „Это было богато одаренное существо с нежным отзывчивым сердцем“.

Пешкова-Толиверова,[475] напечатавшая в „Игрушечке“ рассказ Ванички, писала: „Он, как живой стоит передо мной, бледненький, скромный, но с пытливыми глазами“.

Успокоительно подействовал на меня наш старый друг кн. Сергей Семенович Урусов,[18] несомненно уверяя меня о блаженном райском состоянии души Ванички. Он сам верил, такой был православно-религиозный человек, что заражал и меня этой верой.

Многие молились за Ваничку и за нас в церквах и домах и особенно сочувствовали нам отцы и матери, сами потерявшие детей, как Александра Алексеевна Чичерина, рожд. гр. Капнист,[476] потерявшая единственную девочку; как баронесса Е. И. Менгден, у которой умерли два взрослых сына и т. д.

. . . . . .

В то время писала сестре: „Я ищу утешение в том, что страданиями я перехожу в вечность, что страдания эти нужны для очищения моей души, которая должна соединиться с богом и Ваничкой, который весь был любовь и радость, и я кричу: „Да будет воля твоя! Если это нужно для перехода моего в вечность“, но несмотря на этот постоянный подъем духа и на искренний крик сердца отдаться в волю божью, нет мне в этом утешения, и ни в чем, ни в чем.

Почему то Л. Н. отрицал во мне почти всякую религиозность. Его раздражало то, что я все время ходила по церквам, монастырям и соборам. Помню, как я постом провела 9 часов сряду в Архангельском соборе, то стоя на службе, то сидя на приступках с богомолками, странниками и какой-то женщиной интеллигентной, которая, как я, потеряв раз взрослого сына, искала утешение в молитве и храме божьем.

Возвращаясь раз домой из Кремля в Хамовнический переулок, я все время шла под дождем, промокла, простудилась и надолго заболела. А до того времени мы с Сашей говели, и вероятно и это было не по сердцу Льву Николаевичу. Пишет он в дневнике:

27 марта 1895 г. „Соня все также страдает и не может подняться на религиозную высоту. Причина та, что она к животной любви к своему детищу привила все свои духовные силы".

Почему животной любви? Много у меня было детей, но именно к Ваничке в наших обоюдных чувствах преобладала духовная любовь. Мы жили с ним одной душой, понимали друг друга и постоянно уходили, несмотря на его возраст, в область духовную, отвлеченную.

ПРИМЕЧАНИЯ

Рукописи второй части дневников С. А. Толстой представляют собою две тетради размером в лист почтовой бумаги конторского формата в темно-зеленом переплете.

Первая из них в 188 ненумерованных страниц. На первой странице рукою Софьи Андреевны написано: „Книга 2-я. 1891 г. по 1895 февраль. Дневник гр. С. А. Толстой". Вторая страница чистая. Между 64-м и 65-м листом вклеено „Письмо в редакцию", на листе почтовой бумаги исписанном со всех 4 страниц чернилами того же цвета, которыми сделана вся запись 12 ноября 1891 года. На стр. с 137 по 151 запись: „Мой роман со Львом Николаевичем, написанный февраля 8-го 1893 года". Последняя 188-я страница чистая.

Вторая тетрадь в 184 ненумерованных страницы. На первой странице вверху, приклеена небольшая фотография головы Софьи Андреевны, рукою которой ниже написано: „Дневник гр. С. А. Толстой. 1 июнь 1897 г. Книга 3-я". Вторая страница чистая. Страницы 34 — 35 и 58 — 59 чистые, пропущены вероятно по ошибке. На странице 63 приклеена фотография Софьи Андреевны, под которой она написала „Мне 53 года". Последняя 184 страница чистая.

Обе тетради, как и все рукописи издаваемых дневников С. А. Толстой, хранятся в „Кабинете Л. Н. Толстого" при рукописном отделении Публичной библиотеки СССР им. Ленина (бывш. Румянцевский Музей), (папка 57).

1. Ясная Поляна находится в 14 верстах к югу от Тулы. Ее с Тулой соединяет Тульское (Киевское) шоссе и Московско-Курская железная дорога, станция Козлова Засека которой находится в $3^1/_2$ верстах от усадьбы Толстых.

2. Овсяниково, небольшое имение в 5 верстах от Ясной Поляны, купленное Толстыми в 80-х годах и находившееся у них в общем пользовании с священником с. Овсяникова Соколовым. С этим священником, а потом и с его женою, у Софьи Андреевны была длительная тяжба за землю.

Впоследствии Овсяниково принадлежало Т. Л. Сухотиной-Толстой.

3. Елена Павловна Раевская, рожд. Евреинова (1840—1907), жена приятеля Л. Н. Толстого Ивана Ивановича Раевского. Раевские были хорошими знакомыми Толстых.

4. Свербеевы—это семья Дмитрия Дмитриевича Свербеева (1845—1920), шталмейстера, тульского вице-губернатора (в 1885 — 1891 г.г.), впоследствии курляндского губернатора, состоявшая из его жены Екатерины Федоровны, рожд. Сухотиной (1849—1895), двоюродной сестры Мих. Серг. Сухотина, мужа

Татьяны Львовны Толстой, и их детей: дочерей — Марии (р. 1876 ?), Елены (р. 1877?), Любови (р. 1879) и сыновей — Сергея (1872 — 1905), погибшего при Цусиме, и Федора (р. 1878).

5. Знакомая Толстых Мария (или Матрена) Ивановна Зиновьева, жена тульского губернатора (в 1887 — 1893 г.г.) Николая Алексеевича Зиновьева. Далее в дневниках С. А. Толстой упоминаются дети Зиновьевых, их дочери: Надежда, Вера, Любовь и Мария.

6. Алексей Александрович Арсеньев (1850—1915) был тульским губернским предводителем дворянства в 1885—1905 г.г. С 1905 г. по назначению членом Государственного совета.

7. Повесть „Крейцерова соната" впервые в России была напечатана в восьмом издании „Собр. соч. Л. Н. Толстого" в 11 томах (ч.ч. XII и XIII отдельно) на стр. 521—624, XIII ч. „Произведений последних годов", изд. 1-е, М. 1890.

„Послесловие к Крейцеровой сонате" было впервые в России напечатано, в „Соч. гр. Л. Н. Толстого, ч. XIII. Произведения последних годов", изд. 1-е. М. 1891 г. стр. 369—387. См. прим. 62.

8. Иван Львович Толстой (р. 31.III. 1888 — ум. 23.II. 1895) последний ребенок Толстых. Родился и умер в Москве. Похоронен на кладбище при с. Никольском близ Покровского-Стрешнева, под Москвой.

9. Андрей Львович Толстой (р. 6. XII. 1877 — ум. 24. II. 1916), пятый сын Толстых. См. прим. 108 к I ч. Дневников.

10. Михаил Львович Толстой (р. 20.XII.1879 г.) шестой сын Толстых. Женат (с 31.I.1901) на Александре Владимировне Глебовой (р. 15.IV.1880 г.), дочери Владимира Петровича Глебова и Софьи Николаевны, рожд. кн. Трубецкой.

11. „Два Раевских" — дети приятеля Л. Н. Толстого Ивана Ивановича Раевского (1833 — 1891) — Иван Иванович Раевский (р. 1871), (См. прим. 357 к I ч. Дневников), и Петр Иванович Раевский (1873—1920). (См. прим. 323 к I ч. Дневников).

12. Бергер Сережа—Сергей Александрович Бергер, младший брат Ивана Александровича Бергер, бывшего одно время управляющим в Ясной Поляне, сын Александра Даниловича Бергер и Александры Ивановны, рожд. Раевской.

13. Иван Александрович Бергер (1867? — 1920?) сын Александра Даниловича Бергер и Александры Ивановны, рожд. Раевской, служивший в 1880—1890 г.г. управляющим Ясной Поляны.

14. Николай Николаевич Ге, „Ге—отец", „старик Ге", как называли его Толстые (1831—1894), художник, друг Льва Николаевича, бывавший в Ясной Поляне и в Москве у Толстых и переписывавшийся с Толстым. Женат на Анне Петровне, рожд. Забелло. См. прим. 273 к I ч. Дневников.

15. Николай Николаевич Ге—сын, „Ге—младший", или „Колечка Ге", как называли его Толстые (р. 1857 г.), сын художника Николая Николаевича Ге. Ге—сын был одно время последователем учения Л. Толстого.

16. Кн. Дмитрий Александрович Хилков (1858—1914), воспитанник пажеского корпуса, лейб-гусар, участвовал в Турецкой войне (1877—1878 г.г.), где отличался храбростью. Выйдя в отставку подарил крестьянам с. Павловки Харьковской губ., свое имение, оставив себе хутор с 16 десятинами, где

и поселился. Исповедуя свободное христианство, близкое к мировоззрению Л. Толстого, к которому пришел самостоятельно, он вместе с сектантами с. Павловки выступал оппонентом православных священников, за что был сослан в Закавказье.

Знакомый Толстых. Бывал у Л. Н. Толстого и был с ним в переписке

Был женат (без венчания) на Цецилии Владимировне Винер. В 1893 г. его мать увезла от него двух его детей — сына Бориса и дочь Ольгу — для воспитания их в православной вере, испросив на это повеление Александра III. Выехав за границу в конце 90-х г.г., Хилков участвовал в деле переселения духоборов с Кавказа в Канаду. Позднее примкнул к партии социалистов-революционеров, но вскоре отошел от революции и вернулся в Россию. В 1910 г. две его дочери окончили самоубийством. Последние годы своей жизни Дм. Ал. был близок к православию. В 1914 г. поступил добровольцем на военную службу и был убит под Львовом. О нем см. сб. „Свободное Слово", изд. В. Г. Черткова 1898, № 1 и „Письма Д. А. Хилкова", изд. „Религиозно-философской библиотеки", Сергиев Посад. 1915.

17. Мамоновы или Дмитриевы—Мамоновы—вдова известного художника Эммануила Дмитриевича Мамонова Ольга Александровна, рожд. Рачинская, и ее дети: Софья Эммануиловна (р. 1860) и Александр Эммануилович (р. 1867?).

18. Кн. Сергей Семенович Урусов (1827—1897), сын сенатора кн. Семена Никитича Урусова и датчанки, дочери архитектора фон-Марктиц. Женат на Татьяне Афанасьевне, рожд. Нестеровой (ум. 1881). Сослуживец по Севастопольской войне и давнишний приятель Л. Н. Толстого, бывавший у Толстых в Москве и в Ясной Поляне, крестный отец Льва Львовича и Марии Львовны Толстых.

15 писем Толстого к Урусову, 1869—1889 г.г., опубликованы А. Е. Грузинским в „Вестн. Евр." 1915 г., № 1.

19. Татьяна Львовна Толстая, (р. 4 октября 1864 г.), старшая дочь Софьи Андреевны и Льва Николаевича Толстых. С 1899 г. замужем за Михаилом Сергеевичем Сухотиным.

20. Лев Львович Толстой (р. 20 апреля 1869 г.), третий сын Л. Н. Толстого. Женат: первым браком с 1896 г. на Доре Федоровне Вестерлунд (р. 1878), дочери шведского доктора медицины Эрнста Вестерлунд и Нины рожденной Олудерус; вторым—на Марианне Сольской.

21. Иван Войтехович Гржимали (1844—1915), известный скрипач. Окончил Пражскую консерваторию, концертмейстер в Амстердаме. В 1869 году приехал в Москву и был преподавателем консерватории. С 1875 г., после Лауба, занял место профессора по скрипке. Концертмейстер Московской консерватории и основатель струнного квартета.

22. Софья Казимировна Познанская, в замужестве Рабцевич, пианистка. Окончила Петербургскую консерваторию, ученица Рубинштейна.

23. Гриневка — имение в Чернском у. Тульской губ. в 100 верстах от Ясной Поляны, соседнее с имением Л. Н. Толстого Никольским-Вяземским, купленное С. А. Толстой и затем перешедшее к Илье Львовичу Толстому.

24. Афанасий Афанасьевич Фет-Шеншин (1820—1892), знаменитый поэт, друг Толстого. См. прим. 66 к I ч. Дневников.

А. А. Фет с 1.X.1881 г. по зимам жил в Москве, на Плющихе, в собственном доме, ныне дом № 36, который он купил у вдовы корнета Елены Карауловой, за 35.000 рублей.

25. Александр Никифорович Дунаев (ум. 1919), директор Московского торгового банка, друг семьи Толстых, близкий по взглядам к Толстому.

26. Константин Александрович Ислявин (1827 — 1903), родной дядя Софьи Анереевны по матери. См. прим. 89 к I ч. Дневников.

Никаких оснований для предположения К. А. Ислявина, (о том, что Дунаев вздыхает по С. А.) не было.

27. Александр Михайлович Кузминский (1845—1917), муж сестры Софьи Андреевны Татьяны Андреевны Кузминской, рожд. Берс. См. о нем прим. 128 к I ч. Дневников.

28. Марья Александровна Кузминская (р. 1869), дочь Татьяны Андреевны и Александра Михайловича Кузминских, родная племянница С. А. Толстой Замужем с октября 1891 г. за Иваном Егоровичем Эрдели.

29. Вера Петровна Северцова (ум. 1900), двоюродная племянница С. А. Толстой, дочь Петра Петровича Северцова и Ольги Вячеславовны, рожд. Шидловской, двоюродной сестры Софьи Андреевны по матери. В 1898 г. вышла замуж за Дмитрия Владимировича Истомина.

30. „Лили Оболенская" — Елизавета Дмитриевна Оболенская, дочь давнишнего знакомого семьи Толстых кн. Дмитрия Дмитриевича Оболенского (р. 1844). См. о нем прим. 92 и 240 к I ч. Дневников.

31. Шидловские—семья Веры Александровны Шидловской (1825—1910?), родной тетки С. А. Толстой, дочери Алдр. Мих. Исленьева, бывшей в первом браке за Михаилом Петровичем Кузминским, во втором за Вячеславом Ивановичем Шидловским.

32. Северцовы—это Ольга Вячеславовна Северцова, рожд. Шидловская, двоюродная сестра С. А. Толстой по матери, дочь Вячеслава Ив. Шидловского и Веры Александровны, рожд. Ислявиной, бывшая замужем за Петром Петровичем Северцовым и в то время овдовевшая. У нее были дети: дочь Вера, о ней прим. 29, и сын Алексей, погибший в 1905 г. при Цусиме.

33. Мещериновы — Вера Вячеславовна Мещеринова, рожд. Шидловская, дочь Вячеслава Ивановича Шидловского и Веры Алдр., рожд. Ислявиной, двоюродная сестра С. А. Толстой, и ее муж (с 1889 г.) Александр Григорьевич Мещеринов.

34. Дмитрий Алексеевич Дьяков (1823—1891), друг семьи Толстых и друг Л. Н. Толстого с молодых лет, крестный отец Татьяны Львовны и Ильи Львовича Толстых. О нем см. прим. 161 к I ч. Дневников.

35. Елизавета Валерьяновна Оболенская, рожд. Толстая, (р. 1852)— племянница Л. Н. Толстого, дочь Марии Николаевны и Валерьяна Петровича Толстых. С 1871 г. замужем за кн. Леонидом Дмитриевичем Оболенским (1848 — 1888).

36. Варвара Валерьяновна Нагорнова, рожд. гр. Толстая (1850—1921), племянница Л. Н. Толстого, дочь Марии Николаевны и Валерьяна Петровича Толстых. С 1872 г. замужем за Николаем Михайловичем Нагорновым 1845 — 1896).

37. Мария Дмитриевна Колокольцова, рожд. Дьякова, (1850—1903) дочь приятеля Л. Н. Толстого Дмитрия Алексеевича Дьякова и его первой жены Дарьи Александровны, рожд. Тулубьевой. Замужем, с 1876 г. за Николаем Апполоновичем Колокольцовым (р. 1847).

38. Сын Лев Львович, его Софья Андреевна называет „Левой", а Льва Николаевича „Левочкой".

Лев Львович написал целый ряд рассказов и повестей, появившихся в печати сперва под псевдонимами „Л. Львова" и „Яши Полянова", а затем за его подписью. Позднее Л. Л. Толстой издал свои произведения отдельными книгами: „Из времени студенчества" (рассказы); „Для детей" (рассказы); Яша Полянов (воспомин. из детства для детей); „Современная Швеция". (В письмах - очерках); „В голодные годы" (Записки и статьи); „Против общины" (Три статьи); „Прелюдия Шопена и др. рассказы: Первый ребенок, — Помещик.—Сон" М. 1900 г., переводы рассказов с английского и др. В 1924 г. Из-во „Книжный угол" напечатало книгу Л. Л. Толстого (перев. с фр. А. В. Андреева) „Правда о моем отце" Л. 1924.

39. „Неделя"—еженедельная газета с приложением ежемесячных „Книжек Недели". В 1887 — 1894 г.г. ее редактором-издателем был П. А. Гайдебуров.

40. Павел Александрович Гайдебуров (1841 — 1893), писатель, публицист. Написал ряд повестей и рассказов, сотрудничал в ряде журналов: в „Современнике", „Русском Слове", „Библиотеке для Чтения", „Деле", и др. В 1869 г. вместе с Е. И. Конради и Ю. А. Росселем стал одним из издателей-сотрудников „Недели", которая с 1875 г. перешла в его собственность и выходя под его редакцией, заняла видное место среди других журналов и в русской журналистике.

41. Михаил Александрович Стахович (1861—1923), сын А. А. Стаховича и Ольги Павл., рожд. Ушаковой, близкий знакомый Толстых, впоследствии орловский губернский предводитель дворянства, член Государственного совета по выбору от земства, финляндский генерал-губернатор в 1917 году и посланник в Испании.

42. Марья Львовна Толстая (р. 12.II.1871 и ум. 27.XI.1906 в Ясной Поляне), средняя дочь Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых.

С 1897 г. замужем за кн. Николаем Леонидовичем Оболенским (р. 1872 г.).

43. Эдуард Эдуардович Керн, ученый лесовод, и его жена Глафира Доминиановна, рожд. Тимофеевская, дочь тульского купца. См. примеч. 342, к I ч. Дневников.

44. Александр Иванович Алмазов (ум. 1900—1901), единомышленник Толстого, врач-психиатр. Имел психиатрическую больницу в Москве. Под влиянием религиозно-философских идей Толстого бросил больницу и уехал в свое родовое имение Воронежской губ., где стал заниматься сельским хозяйством, пчеловодством и столярным мастерством.

45. Евланья—жена Филиппа Родионовича Егорова, кучера Толстых, служившего потом управляющим в Ясной Поляне. Митроха—их сын, бывший слугою у Льва Львовича Толстого.

46. Ясенки, ныне Щекино—ст. Моск.-Курск. ж. д. в 5 верстах от Ясной Поляны.

47. Пирогово—имение брата Л. Н. Толстого, Сергея Николаевича Толстого, находившееся в Крапивенском уезде, в 35 верстах от Ясной Поляны. См. о Пирогове прим. 168 к I ч. Дневников.

48. Miss Lidia, англичанка, гувернантка и учительница английского языка у Толстых.

49. Петр Львович Толстой, четвертый сын Толстых, родившийся 13 июня 1872 года в Ясной Поляне, умерший там же 9 ноября 1873 года и похороненный в с. Кочаках, в $2^1/_2$ верстах от Ясной Поляны.

50. Шиллер (1759—1805) великий немецкий поэт-романтик. „Дон Карлос" четвертое драматическое произведение Шиллера, первая его трагедия в стихах, оконченная им и напечатанная в 1787 году. На каком языке читал Л. Н. Толстой „Дон Карлоса", установить не удалось. В русском переводе сочинения Шиллера были изданы Гербелем в 3 томах, Спб. 1893. изд. 7.

51. „Козловка" или „Козлова-Засека", ст. Моск.-Курск. ж. д. на 12 версте к югу от Тулы, ближайшая станция (в $3^1/_2$ верстах) от Ясной Поляны. Раньше называлась „Козлова-Засека", потом, с 1904 г.,—„Засека", а с 1918 г. переименована в ст. „Ясная Поляна".

52. „Physiologie de l'amour moderne"—„Физиология современной любви", один из многих романов известного французского писателя-романиста Поля Бурже (р. 1852), написанный им в 1890 г. Бурже создал особый род психологического романа, посвященного изучению изысканной психологии общества пресыщенного культурой. „Физиология современной любви"—роман такого типа.

53. Александра Львовна Толстая (р. 18 июня 1884 г. в Ясной Поляне), младшая дочь Софьи Андреевны и Льва Николаевича Толстых.

54. Мария Александровна Стахович (1866—1923), дочь Александра Александровича Стахович и Ольги Павловны, рожд. Ушаковой. Была замужем за Константином Николаевичем Рыдзевским, товарищем министра внутренних дел и сенатором. Семья Стахович была близко знакомой Толстым.

55. Андрей Николаевич Бекетов (1825—1902), известный ботаник, профессор Петербургского университета. Его статья „О питании человека в настоящем и будущем" впервые была напечатана в № 9 „Вестника Европы" за 1878 г., отд. изд. 1879 г. Это сочинение вскоре было переведено на французский и немецкий языки, как и многочисленные другие труды Бекетова.

56. По копиям (не вполне точным и авторитетным), снятым Софьей Андреевной с дневников Толстого, под ред. В. Г. Черткова был издан только I том—„Дневник молодости"1847—1852, М. 1917. Севастопольские дневники, о которых говорит Софья Андреевна, неопубликованы, они составят второй том серии дневников. осуществляемого Госиздатом полного 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

57. В начале января 1860 года Татьяной Львовной и Марьей Львовной Толстыми в одной из изб деревни Ясная Поляна была устроена школа для крестьянских ребят, в которой они сами занимались с детьми. В зиму следующего года школа была перенесена во флигель дома Толстых. Школа эта просуществовала недолго. Обучались в ней и взрослые. Под 16 февр. 1891 г. С. А. записывает: „Маша, Андрюша и Алексей Митр. учили девок и наших горничных вечером в том доме".

58. Open Court — американский двухнедельный журнал, посвященный научным обоснованиям этики и религии. Издавался с 1887 года в Чикаго.

59. Леонила Фоминична Анненкова (1844—1914), жена помещика и видного юриста Константина Никаноровича Анненкова, единомышленница Л. Н. Толстого.

60. Александр III, разрешив Софье Андреевне напечатать в собрании сочинений запрещенную цензурой „Крейцерову сонату", не разрешил издать повесть отдельно, дабы она не получила широкого распространения. До опубликования в России в 1890 г. (см. прим. 7), „Крейцерова соната" появилась в двух заграничных изданиях: в изд. Б. Бер, Берлин 1890, и в изд. Элпидина, Genéve 1890, и ходила по рукам во многих рукописных и гектографических копиях. Успеху повести способствовало и цензурное ее запрещение, и тема, и сила, с какой была разработана эта тема. „Крейцерова соната" скоро действительно стала известной всему миру, С. А. поэтому и говорит, что Лёв Николаевич „делает ей больно перед всем миром".

61. Сергей Николаевич Толстой (р. 17.II 1826—ум. 21.VIII 1904), брат Л. Н. Толстого. См. о нем прим. 53 к I ч. Дневников.

62. „Крейцерова соната" впервые была начата Толстым в середине 1887 г. Вновь возвратившись к ней в начале апреля 1889 г., Лев Николаевич в начале декабря, после нескольких переделок и пересмотров повести, окончил ее. „Послесловие к Крейцеровой сонате" было окончено в 1890 году. См. прим. 7.

63. Гр. Александра Андреевна Толстая (1817—1904), камер-фрейлина, двоюродная тетка Л. Н. Толстого, с которой он был с молодости в дружеских отношениях. Обширная переписка между ними издана в книге „Толстовский музей", т. I, „Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой", Спб. 1911. Об А. А. Толстой подробнее см. прим. 100 к I ч. Дневников.

64. Под 14 февраля 1891 г. Л. Н. Толстой записал в своем дневнике: „Опять стал читать дневник, который переписывает С., и стало больно, Я стал говорить ей с раздражением и заразил ее злобой. И она рассердилась и говорила жестокие вещи. Продолжалось не более часа. Я перестал считаться, стал думать о ней и любовно помирились. Нагрешили мы."

65. Кн. Вадбольский и Ломоносов были гвардейскими офицерами. В состоявшейся между ними дуэли, о которой пишет Софья Андреевна, убит был Вадбольский.

66. Алексей Митрофанович Новиков, учитель Андрея и Михаила Львовичей Толстых. См. прим. 361 к I ч. Дневников.

67. Илья Львович Толстой (р. 22.V 1866 в Ясной Поляне), второй сын Л. Н. Толстого. Женат первым браком (с 1888 г.) на Софье Николаевне урожд. Философовой (р. 1867), вторым (с 1917) на Надежде Климентьевне Катульской (р. 1883). Илья Львович написал и напечатал несколько рассказов и повестей под псевдонимом Дубровский. В 1914 г. издал книгу „Мои воспоминания" (изд. Сытина. М.). Жил в своем имении Гриневке, Чернского у., Тульской губ., в 100 верстах от Ясной Поляны.

68. Татьяна Андреевна Кузминская, рожд. Берс (1846—1925), родная сестра и близкий друг Софьи Андреевны и всей семьи Толстых. С 1867 г.

замужем за Александром Михайловичем Кузминским. Автор воспоминаний „Моя жизнь дома и в Ясной Поляне", ч. I—III, изд. М. и С. Сабашниковых. М. 1925—26, второе изд. М. 1927—28 г. См. прим. 17 к I ч. Дневников.

69. О Николае Николаевиче Ге см. прим. 14 и прим. 273 к I ч. Дневников. Картину „Иуда" (Совесть) Ге написал в 1891 г. Находится в Третьяковской галлерее. Ге многие из своих картин привозил в Ясную Поляну на показ Л. Н. Толстому, под влиянием которого он находился.

70. Давыдовы — Николай Васильевич Давыдов (1848 — 1920), судебный деятель, в то время прокурор в Туле, знакомый Толстых, и его жена Екатерина Михайловна, рожд. Карпакова, сестра известной танцовщицы и сама бывшая танцовщица. В прим. 326 к I ч. Дневников ошибочно сказано, что она рожд. Милиоти. Н. В. Давыдов оставил о Толстом воспоминания. См. его книгу „Из прошлого". М. 1914, изд. 2-е и подробное 326 прим. о нем к I ч. Дневников.

71. Анатолий Степанович Буткевич, (р. 1859), последователь учения Л. Н. Толстого, ученый пчеловод. С Толстым знаком с 1886 г.

72. Иван Иванович Раевский (1835—1891), приятель Л. Н. Толстого. Его имение Бегичевка находилось в Данковском у. Рязанской губ. См. прим. 344 к I ч. Дневников.

73. Иван Иванович Горбунов-Посадов (р. 1864), друг и последователь учения Л. Н. Толстого. Познакомился с Л. Н. 19 февраля 1889 года. Вместе с П. И. Бирюковым и В. Г. Чертковым был сотрудником „Посредника". С 1897 года, когда Бирюков и Чертков были высланы за границу, стал главным редактором и руководителем „Посредника". См. книгу „Сорок лет служения людям". Сборник статей, посвященных общественно - литературной и книгоиздательской деятельности И. И. Горбунова-Посадова, под ред. Н. Н. Гусева и М. В. Муратова. М. 1925. Иван Иванович написал ряд статей о Толстом. Л. Н. записал о нем в дневнике 24 февраля 1891 г.: „очень мил мне".

74. Яков Петрович Полонский (1820—1898), известный поэт, знакомый Толстого с 50-х годов. Отношения между ними и знакомство поддерживались до 80-х г.г. Начавшиеся религиозно-философские искания Толстого и писания этого рода вызвали недоброжелательство со стороны православного Полонского. После примирения Толстого с Тургеневым (в 1878 г.), Толстой 9 — 10 июля 1881 г. посетил его в Спасском, где встретился с Полонским как со старым приятелем. Полонский рассказал об этой встрече в своих воспоминаниях „Тургенев у себя", „Нива" 1884 г., № 6, стр. 114 — 115 (Толстой у Тургенева). Перепечатано в кн. „На высотах спиритизма". Спб. 1889. Стихотворение Полонского „Вечерний звон" впервые было напечатано в „Русском Вестнике" 1890 г. № 6. Новый его вариант и первоначальный из „Русск. Вестн." напечатаны на последних 204—206 стр. сборника стихотворений Полонского, „Вечерний звон". Стихотворения 1887—1890 г.г. Спб. 1890.

75. M-r Borel, француз-гувернер Андрея и Михаила Львовичей Толстых.

76. Ольга Ершова, ясно-полянская крестьянка, ученица в школе Толстого 1859—1863 годов.

77. Софья Эммануиловна Дмитриева-Мамонова (р. 1860 г.), художница, подруга Татьяны Львовны, учившаяся с нею в училище живописи и ваяния.

78. Сыновья друга Толстого Ивана Ивановича Раевского: Иван Иванович (р. 1871) (см. прим. 357 к I ч. Дневников), Петр Иванович (1873—1920) (см. прим. 323 к I ч. Дневников) и Григорий Иванович (1875 — 1905) — Раевские.

79. Арест был наложен (25 февраля 1891 г.) на часть XIII „Сочинений гр. Л. Н. Толстого, произведения последних годов, М. 1891", за помещение в ней Софьей Андреевной „Крейцеровой сонаты".

80. Филипп Диомидович Нефедов (1848—1902), беллетрист-народник и этнограф, писавший очерки и рассказы из крестьянской жизни. Его сочинения по высочайшему повелению с 1885 по 1905 год были запрещены к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях. Нефедов помещал очерки и повести в „Русской Мысли", „Вестнике Европы", „Северном Вестнике", „Наблюдателе" и др. журналах. Издал несколько сборников своих произведений. Сочинения собраны в 4 томах, 2 т. М. 1894—95, 2 т. Спб. 1900.

81. Ровские казармы, так называлась лесная сторожка в казенном лесу Засеке, соседняя с деревней Рвы, в пяти верстах от Ясной Поляны.

82. Сергей Львович Толстой (р. 28.VI 1863 г. в Ясной Поляне), старший сын Толстых. Женат первым браком с 1895 г. на Марье Константиновне Рачинской (1865—1900), вторично, с 1906 г., на гр. Марье Николаевне Зубовой (р. 1867 г.).

Сергей Львович жил в своем имении Никольском-Вяземском.

83. Александр Александрович Цуриков (1849—1908), помещик, юрист, мировой судья Орловского уезда (в 1882—1890 г.г.), Чернский уездный член суда (в 1890—1891 г.г.), впоследствии член судебной палаты в Москве.

Женат первым браком на Е. Н. Кашкиной, вторым на В. Р. Миллер. Своеобразные взгляды Цурикова были близки к славянофилам. Про него Л. Н. записал в своем дневнике под 2 марта 1891 года: „умный и симпатичный".

84. Статья „О непротивлении", которая впоследствии разрослась в „Царство божие внутри вас".

85. Телятенки—имение в трех верстах от Ясной Поляны, принадлежавшее раньше А. Н. Бибикову (см. прим. 113 к I ч. Дневников), позднее купленное Толстыми для Александры Львовны Толстой, потом приобретенное в 1907 г. частично, а затем и все В. Г. Чертковым.

86. Сергей (прим. 82), Татьяна (прим. 19), Илья (прим. 67), Лев (20), Мария (42), Андрей (9), Михаил (10), Александра (53) и Иван (8)—Львовичи Толстые.

87. Девочка Сашка, крестьянка дер. Ясной Поляны, дочь Павла Арбузова, внучка няни Толстых Марьи Афанасьевны, ровесница Александры Львовны, жившая в то время в доме Толстых.

88. Автора „русской повести" „На закате" установить не удалось.

89. Спиноза (1632—1677), знаменитый философ. Важнейшие из сочинений Спинозы „Теолого-политический трактат" 1670 г. и „Этика" 1677 г. Софья Андреевна читала вероятно „Этику" перевод который под редакцией Н. А. Иванцова был напечатан в IV вып. 1891 г. „Трудов московского психологического общества".

90. О „Неделе“ см. прим. 39. Первый рассказ Льва Львовича Толстого, подписанный им псевдонимом „Л. Львов“,—„Любовь“, напечатан в „Книжках Недели“ 1891, № 3.

91. Виконт Эжен-Мельхиор Вогюэ (1848—1910), французский писатель. Прожив несколько лет в Петербурге и изучив русский язык, Вогюэ с конца 70-х и начала 80-х г.г. стал писать в „Revue des deux mondes“ статьи о русской литературе. В 1886 году выпустил книгу о русском романе „Le roman russe“. Стилистически блестяще написанные эта книга и статьи сильно содействовали успеху во Франции Толстого, Достоевского, Тургенева и вообще всего русского, содействуя также успеху и популярности самого Вогюэ, в 1888 г. он был избран во французскую академию.

Статья Вогюэ по поводу „Крейцеровой сонаты“, была напечатана в „Русском Обозрении“ 1890 г., № 12, стр. 511—527.

92. Игнатий Николаевич Потапенко (р. 1856 г.), плодовитый и популярный в 80-е и 90-е г.г. беллетрист. Его повесть „Генеральская дочь“ была напечатана в „Книжках Недели“ 1891 г., №№ 3—5.

93. Вячеслав Андреевич Берс (1861—1907), меньшой брат Софьи Андреевны, инженер путей сообщения, один из строителей Сибирской магистрали и Троицкого моста в Петербурге. Женат на Александре Александровне Крамер.

94. Любовь Александровна Берс, рожд. Islavina (1826—1886), мать Софьи Андреевны. См. прим. 4 к I ч. Дневников.

95. Herold, Нью-йоркская газета—издававшаяся с 1859 г. J. G. Bennett'ом, а потом его сыном. Приезжавший американец один из Bennett'ов,

96. Лев Павлович Никифоров (1844—1917), бывш. нечаевец и член партии соц.-революц. Сотрудник и переводчик изд-ва „Посредник“, под редакцией и с указаниями Толстого переводил для „Посредника“ Мопассана и самостоятельно других авторов. Переводчик Рёскина, автор его биографии, напечатанной с предисловием Л. Н. Толстого. С Львом Николаевичем знаком с восьмидесятых годов, был близок к нему по взглядам.

97. Восьмое собрание сочинений Л. Н. Толстого, изданных Софьей Андреевной: „Сочинения графа Л. Н. Толстого, ч.ч. I—XI, М. 1889“. Две части отдельно: „Сочинения Л. Н. Толстого. Произведения последних годов“, ч. XII, М. 1889, ч. XIII, М. 1891.

98. „Родник“—ежемесячный иллюстрированный журнал для детей, издававшийся с 1882 г. в Спб. Издатель-редактор Е. А. Сысоева.

Рассказ Льва Толстого „Монтекристо“ был напечатан в № 4 „Родника“ за 1891 г.

99. Двое Олсуфьевых—дети генерала Адама Васильевича Олсуфьева, Михаил (1860—1918) и Дмитрий (р. 1862)—Адамовичи Олсуфьевы, друзья и товарищи Сергея Львовича Толстого. См. прим. 256 к I ч. Дневников.

100. Михаил Владимирович Всеволожский (1860—1909), сын Владимира Александровича Всеволожского и Елены Михайловны, рожденной Обольяниновой, двоюродный брат Михаила и Дмитрия Олсуфьевых, впоследствии губернский предводитель тверского дворянства.

101. Чепыж—небольшая дубовая роща близ дома Толстых в Ясной Поляне.

102. Шопенгауэр (1788—1860), знаменитый немецкий философ.

103. Дочь Николая Васильевича Давыдова (о нем прим. 70)—Софья Николаевна (р. 1871).

104. Александр Николаевич Бухман, (р. 1877?) сын исправника многосемейного Николая Александровича Бухман, воспитанник Н. В. Давыдова.

105. Ефим Ефимович Волков (1843—1920?), художник-пейзажист, член Т-ва Передвижных выставок, академик живописи.

106. Иван Иванович Шишкин (1831 — 1898), известный художник-пейзажист, „передвижник", член Т-ва Передвижных выставок. В 1891 году была устроена ретроспективная выставка работ Шишкина за 40 лет его деятельности.

107. Софья Дмитриевна Свербеева, сестра тульского вице-губернатора (в 1885—1891 гг.) Дмитрия Дмитриевича Свербеева.

108. Андрей и Михаил Львовичи Толстые, Иван, Петр и Григорий Ивановичи Раевские.

109. Никольское-Вяземское—имение Толстых в Чернском уезде, в 100 верстах от Ясной Поляны. Принадлежало брату Л. Н. Толстого Николаю Николаевичу, после его смерти (в 860 г.) Л. Н. Толстому, а по разделу 1892 года между детьми Толстых — С. Л. Толстому.

110. Дом № 21 по Хамовническому переулку, ныне по улице Льва Толстого, купленный Л. Н. Толстым в 1882 году у И. А. Арнаутова. См. прим. 252 к I ч. Дневников.

111. В Самарской губернии, Бузулукском уезде у Толстых были два участка земли: участок, купленный у Тучкова, в 2.500 десятин, и участок, купленный у Бистром, в 4.022 десятины.

112. Раздел семьи Толстых состоялся на следующих условиях, получили:

1. Сергей Львович—около 800 десятин земли при селе Никольском-Вяземском, с условием уплатить впродолжение года Татьяне Львовне 28.000 руб., а матери, в продолжение 15 лет 55.000 руб., с уплатой 4% с этой суммы годовых.

2. Татьяна Львовна получила Овсяниково и 38.000 руб. денег.

3. Илья Львович—Гриневку и 368 десятин части имения при с. Никольском-Вяземском.

4. Лев Львович—дом в Москве (см. прим. 110), 394 десятины земли в Самарском имении при с. Бобровне и 5.000 руб. в продолжение 5 лет.

5. Михаил—2.105 десятин в Самарском имении с обязательством уплатить 5.000 руб. Льву.

6—7. Андрей и Александра — 4.022 десятины земли в Самарской губ. (пополам), с обязательством уплатить 9.000 руб. Татьяне Львовне.

8. Ивану—370 десятин Ясной Поляны.

9. Софье Андреевне—остальную часть Ясной Поляны и 55.000 руб., долю Марьи Львовны.

113. Алексей Иванович Нарышкин (ум. 1918), сын Ивана Алексеевича Нарышкина (1842—1882) и Надежды Саввишны, рожд. Абаза (1839 — 1908), поэт, офицер.

114. Сергей Львович Толстой одно время служил земским начальником в Чернском уезде, Тульской губ.

115. Няней Ванички и Саши у Толстых была Анна Степановна Суколенова (1828—1917), крестьянка из дер. Судаково, в 7 верстах от Ясной Поляны.

116. Засека—большой казенный лес, смежный с Ясно-полянским имением Толстых. См. прим. 20 к I ч. Дневников.

117. В это время (8 апреля) Толстой начал писать „Записки матери", произведение им не оконченное. Думал о романе с обширной темой на основе нового миропонимания, который и не начал. Работал с 4 июня 1890 г. над „Отцом Сергием". В 1889 г. им начата была статья „Об искусстве" и др.

118. О сестре Софьи Андреевны—Татьяне Андреевне Кузминской см. прим. 68 и прим. 17 к I ч. Дневников. Ее муж, Александр Михайлович Кузминский состоял в то время прокурором С.-Петербургской судебной палаты и участвовал в введении судебного преобразования в Прибалтийском крае.

119. Дети Кузминских, племянники Софьи Андреевны: Марья (о ней прим. 28), Вера (р. 1871), Михаил (р. 1875), Александр (р. 1880) и Василий (р. 1882) Александровичи Кузминские.

120. Гр. Елена Григорьевна Шереметева, рожд. гр. Строганова (1861—1908), внучка Николая I (в первом браке за гр. Влад. Алекс. Шереметевым, во втором за полковником Милашевичем), дочь вел. кн. Марии Николаевны (1819—1876), бывшей в замужестве за герцогом Лихтенбергским, вторично за гр. Григорием Александровичем Строгановым.

121. Софья Александровна Стахович (р. 1862), дочь Александра Александровича Стахович и Ольги Павловны, рожд. Ушаковой, близкая знакомая Толстых.

122. Николай Николаевич Страхов (1828—1896), критик и философ, находившийся в дружбе и переписке с Л. Н. Толстым. См. прим. 72 к I ч. Дневников.

123. Александр Аполлонович Скальковский (1841—1893), состоявший с 1884 года помощником начальника управления почт.

124. Гатчина—безуездный город Царскосельского уезда, Петербургск. губ., быв. царская резиденция, так называемый, дворцовый город, находившийся в ведении министра двора. Гатчина, в которой проводил большую часть года Александр III, была его любимым местопребыванием.

125. Вел. кн. Ольга Федоровна, урожд. принцесса Цецилия Баденская (1831—1891).

126. Вел. кн. Михаил Михайлович Романов (р. 1861) женился (26.II 1891) на внучке А. С. Пушкина Софье Николаевне, рожд. гр. Меренберг (р. 1868), получившей при венчании фамилию графини Торби.

127. Петропавловская крепость находится на Петербургской стороне, на острове Большой Невы. Заложена в 1703 г. Петром I. Знаменита, как место заключения политических и Петропавловским собором—усыпальницей русских императоров.

128. Вел. кн. Михаил Николаевич Романов (1832—1909).

129. Евгений Михайлович Феоктистов (1828—1898), кандидат Московского университета, сотрудничал в „Моск. Ведом." Каткова, „Русской речи",

„Отечественных записках". С 1863 г. чиновник особых поручений при министре народного просвещения А. В. Головине, затем при гр. Д. А. Толстом. С 1871 г. редактор „Журнала Министерства Народного Просвещения". С 1883 г. начальник главного управления по делам печати, которым он и оставался до 1896 г., когда был сделан сенатором. Феоктистов был женат на Софье Александровне Беклемишевой.

130. Статья „О жизни" была начата Толстым в сентябре 1886 г. 14 марта 1887 г. он читал в Московском Психологическом обществе реферат „Жизнь бесконечная", являвшийся первой редакцией статьи. В конце этого же года, под наблюдением Н. Я. Грота, „О жизни", печаталось отдельной книгой. В начале 1888 г. отпечатанная книга была уничтожена цензурою. Последние главы из книги „О жизни" (Любовь, Страх смерти, Страдания) были напечатаны в соч. Л. Н. Толстого, ч. XIII „Произведения последних годов". М. 1890, стр. 269—339. Целиком книга вышла заграницей, в изд. Элпидина, Женева 1891 и в IX т. „Полное собр. соч." запрещенных в России. Изд. „Своб. Слова". Christchurch. 1903.

131. Трактат „Так что же нам делать" Толстым был начат в январе 1884 г. Окончен в 1886 году. В апреле 1884 г. предполагалось печатание начальной редакции „Так что же нам делать" в „Русской Мысли", но в свет она не вышла. В № 1 „Русской Мысли" за 1885 г. были напечатаны первые 17 глав книги, которые цензура запретила целиком. В этом же 1885 году, в „Русском Богатстве" (№№ 3, 9 и 12) были напечатаны отрывки из „Так что же нам делать", под заглавиями: „Жизнь в городе", „Из воспоминаний о переписи", „Деревня и город". Первое полное издание „Так что же нам делать" вышло под ред. В. Г. Черткова в „Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого" запрещенных русской цензурой. Изд. „Своб. Слова" т. VIII, Christchurch, 1902.

132. „Новое Время"—газета политическая и литературная (1868—1918). С 1876 г. издатель А. С. Суворин, редактор М. П. Федоров. „Новое Время" еженедельно в виде приложения давало по субботам иллюстрированные номера (1891—1918).

133. Комедия „Плоды просвещения", или как вначале ее хотел назвать Толстой „Исхитрилась", вчерне была набросана в марте-апреле 1889 г. Обрабатывал пьесу Толстой в середине декабря этого года. 30 декабря 1889 г. комедия впервые была поставлена на домашнем спектакле в Ясной Поляне. В январе-феврале 1890 г. Толстой еще поправлял „Плоды просвещения". В апреле пьеса была поставлена в Царском Селе в присутствии Александра III.

Впервые „Плоды просвещения". Комедия в 4 действиях гр. Л. Н. Толстого" напечатана на стр. 1—95 книги: „В память С. А. Юрьева" сборник, изданный друзьями покойного. М. 1891.

134. Иван Александрович Всеволожский (1835—1909), директор императорских театров.

135. Владимир Петрович Погожев, управляющий конторою Спб. императорских театров. С 1897 г. управляющий делами дирекции.

136. Мария Федоровна, русская императрица, урожд. принцесса Вюртембергская (1759—1828), супруга Павла I, образовала целый ряд учебно-воспи-

тательных и благотворительных учреждений, для управления которыми было создано специальное „Ведомство учреждений императрицы Марии".

137. Выставки „Передвижников", Товарищества передвижных выставок, устраивавшиеся с 1870 года, года учреждения товарищества, ежегодно, сначала в Петербурге, потом в Москве, Киеве, Харькове, Одессе и других больших городах России. В Товарищество входили знаменитые русские художники: Репин, Крамской, Мясоедов, Перов, Шишкин, Ге, Маковский, Ярошенко, Куинджи, Суриков, Поленов, Серов и др. Деятельность этой организации художников составила эпоху в истории русского искусства и сыграла огромную культурную роль.

138. Ежегодная выставка Академии Художеств.

139. Александр Александрович Стахович (1830—1913), орловский помещик, старый знакомый Толстого, шталмейстер, тайный советник. Женат с 1853 г. на Ольге Павловне Ушаковой (1827—1902).

А. А. Стахович оставил о Толстом „Клочки воспоминаний", напечатаны в „Толстовском Ежегоднике" 1912 г., стр. 27—47.

140. Барон Владимир Михайлович Менгден (1826—1910). С 1889 г. член Государственного совета. Женат на Елизавете Ивановне Бибиковой (ум. 1902).

141. Дочь бар. Владимира Михайловича Менгден (см. предыдущ. прим.) Софья Владимировна (р. 1854), бывшая в первом браке за сенатором Трахимовским, во втором за начальником Главного управления по делам печати (с 1903 г.) Алексеем Валериановичем Бельгард (р. 1860).

142. Александр Андреевич Ауэрбах (р. 1844 г.), горный инженер, профессор минералогии Горного института в Петербурге, женатый на Софье Павловне Берхольц (р. 1844 г.).

143. Элеонора Дузе (1859 — 1925), знаменитая итальянская драматическая артистка, с большим успехом игравшая в Европе, Америке и России. В Москве и Петербурге Дузе гастролировала в сезон 1891—1892 года. Репертуар Дузе составляли пьесы А. Дюма-сына, Сарду, Ибсена, Шекспира.

144. Вероятно принцесса Анастасия Михайловна Мекленбургская (р.1860), дочь вел. кн. Михаила Николаевича, жена вел. герцога Фридриха-Франца III.

145. Гр. Софья Андреевна Толстая (1824—1895), дочь гр. Андрея Андреевича Толстого и Прасковьи Васильевны Барыковой, сестра двоюродной тетки Л. Н. Толстого Александры Андреевны Толстой, с которой он был в дружественной переписке.

146. Аничковский или Аничков дворец, собственность русских императоров, на углу Невского и Фонтанки. Построен в 1745 г. по проекту Растрелли. Назван Аничковским, потому что по соседству некогда находилась слобода, населенная баталионом морской рабочей команды, начальником которой был майор Аничков.

147. Вел. кн. Елисавета Федоровна (1864—1918), жена вел. кн. Сергея Александровича, сына Александра II.

148. Михаил Александрович Новоселов. Одно время был единомышленником Толстого. Был учителем гимназии в Москве. Основал тверскую Толстовскую земледельческую общину. Помогал Толстому в работе во время голода 1891—92 гг. Позднее отошел от учения Толстого, вернулся в право-

славие и издавал в Сергиевом Посаде „Религиозно-философскую библиотеку“ Опубликовал „Открытое письмо графу Толстому от бывшего единомышленника по поводу ответа синоду“, напеч. в „Миссионерск. Обозр.“ 1901 г., № 6, стр. 823—835. „Поступок“ Новоселова с „Николаем Палкиным“, называемый Софьей Андреевной воровством, конечно, таковым не был. Воровства рукописи рассказа не могло быть. Вероятно, Толстой дал, как он это часто делал, прочесть Новоселову рассказ и разрешил его переписать. Новоселов в октябре 1886 года отпечатал „Николая Палкина“ на гектографе и стал распространять, за что вскоре был арестован.

149. Рассказ „Николай Палкин“ писался Толстым в апреле—июне 1886 г. Впервые напечатан за границей в изд. Элпидина, Женева, 1891. Более точный текст издан в Англии В. Г. Чертковым: „Л. Н. Толстой. Николай Палкин. Работник Емельян и пустой барабан. Дорого стоит. Не в силе бог, а в правде“. № 18. 1899. Вошел также в X т. „Полного собр. соч.“ изд. „Свободное Слово“. 1904 г.

150. Владимир Григорьевич Чертков (р. 1854 г.), близкий друг и единомышленник Л. Н. Толстого. См. о нем прим. 279 к I ч. Дневников.

151. Григорий Иванович Чертков (1828—1884), отец В. Г. Черткова, генерал-адъютант и генерал-от-инфантерии, видный военный деятель и военный писатель, близкий ко Двору. Женат на гр. Елизавете Ивановне Чернышевой-Кругликовой (1832—1922).

152. Анна Константиновна Черткова, рожд. Дитерихс (1859—1927), жена В. Г. Черткова, друг и последовательница учения Л. Н. Толстого, деятельная и ревностная распространительница его религиозно-философских воззрений, находившаяся в переписке с Толстым.

153. Здесь С. А. Толстая рассказывает об учреждении и деятельности издательства „Посредник“, которое было основано Толстым и Чертковым с декабря 1884 года, и для которого Толстой написал целый ряд рассказов с нравственно-религиозной основой: „Где любовь, там и бог“, „Свечка“, „Два старика“, „Крестник“ и др. „Посредник“ привлек известных писателей того времени, издавал произведения классиков, понятные простому народу, сельско-хозяйственную литературу, научно-философские книги и т. п. Его исключительно дешевые издания (были книжки по полкопейке) расходились в миллионах экземпляров, проникая в самые глухие углы России через специальных книгонош. Руководили издательством: Л. Н. Толстой, В. Г. Чертков, А. К. Черткова, И. И. Горбунов-Посадов, П. И. Бирюков. Издателем первое время был И. Д. Сытин.

154. Супруга Александра III, Мария Федоровна (1847—1928).

155. Екатерина Николаевна Шостак, рожд. Исленьева (ум. 1904), двоюродная тетка С. А. Толстой, дочь одесского откупщика Николая Мих. Исленьева (1790—1840) и Софьи Алексеевны, рожд. Горяиновой (ум. 1847). С 1856 г. служила в ведомстве учреждений императрицы Марии. В 1857—60 гг. была начальницей Елизаветинского училища. С 1863 по 1897 г.—начальницей Николаевского Сиротского института. Кавалерственная дама. Замужем за Львом Антоновичем Шостак.

156. Вел. кн. Георгий Александрович. Родился в 1871, умер от чахотки в 1899 году.

157. С бывшим царем Николаем II, ездившим в 1891—92 гг. в большое путешествие на Дальний Восток (Грецию, Индию, Китай, Японию), и с вел. кн., лечившимся в Боржоме.

158. Младшие дети Александра III и Марии Федоровны: Ксения (р. 1875), Михаил (1878 — 1918), Ольга (1882 — 1928).

159. Иван Егорович Эрдели (р. 1870 г.?), жених племянницы С. А. Толстой, Марьи Александровны Кузминской, с которой он обвенчался в октябре 1891 г. Впоследствии генерал.

160. Надежда Николаевна Зиновьева, дочь тульского губернатора Николая Алексеевича и Марьи Ивановны Зиновьевых. Впоследствии была замужем за Василием Юльевичем Фере.

161. Меньшие дети С. А. Толстой: Андрей, Михаил, Александра и Иван Львовичи Толстые.

162. Под 18 апреля 1891 г. Л. Н. Толстой записал в своем дневнике: „С[оня] приехала дня три тому назад. Было неприятно ее заискиванье у гос[ударя] и рассказ ему о том, что у меня похищают рукописи. И я было не удержался, неприязненно говорил, но потом обошлось".

163. Кн. Леонид Дмитриевич Урусов (ум. 1885), в 1876—1885 гг. тульский вице-губернатор, под влиянием Л. Н. Толстого усвоивший себе свободное христианское мировоззрение, близкий знакомый Толстых. Был платонически влюблен в Софью Андреевну.

164. Художник Николай Николаевич Ге с женой Анной Петровной, который с 1875 года постоянно жил в Малороссии, в своем имении „Плиски", Борзненского уезда, Черниговской губернии.

165. Министром внутренних дел (с 1889 по 1895 г.) был Иван Николаевич Дурново (1834—1903).

166. Лев Львович был один год студентом Московского университета по медицинскому факультету, потом перешел на первый курс филологического факультета. Весной по болезни оставил университет.

167. „La Vie Eternelle"—„Вечная жизнь", сочинение профессора философии в Женевской академии Жюля Эрнеста Навилля (1816—1909), написанное им в 1861 году. Первый перевод на русский язык (свящ. Н. Сергиевского, проф. богословия в Моск. универс.) М. 1862. Софья Андреевна Навилля читала по-французски.

168. Кн. Львов—вероятно, Алексей Евгеньевич Львов, впоследствии директор Училища живописи и ваяния, или его брат Георгий Евгеньевич Львов (1861—192.), будущий премьер-министр временного правительства в 1917 году.

169. В течение 1891—1894 годов Толстой работал, параллельно с другими сочинениями, над книгою „Царство Божие внутри вас" или „Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание". Впервые напечатано за границей в издании Августа Дейбнера. Берлин [1893—1894], в 1898 году, в изд. В. Г. Черткова. Лондон.

170. Николай Васильевич Орлов (1863—1924), художник, особенно ценимый Толстым, писавший картины из крестьянской жизни, участник передвижных выставок. Альбом его картин „Русские мужики", с предисловием Л. Н. Толстого издан Голике-Вильборг. Спб. 1909.

171. Кн. Марья Сергеевна Урусова, рожд. Мальцева, дочь Сергея Ивановича Мальцева, владельца хрустальных заводов, жена кн. Леонида Дмитриевича Урусова (ум. в 1885 г.), (о нем прим. 163), которая в светском кругу была известна под прозвищем Моня Урусова. Ее дочери:—Марья Леонидовна (1867—1895), музыкантша, училась в Париже, в Сорбонне. Ее игру ценили Лист и Рубинштейн. Выступала с Ауэром и Вержбиловичем. И Ирина Леонидовна.

172. Лев Иванович Поливанов (1838—1899), педагог, директор частной („Поливановской") гимназии в Москве, находившейся на Пречистенке, ныне по ул. Кропоткина, д. 32, Государственной Академии Художественных Наук. В Поливановской гимназии учились Лев, Андрей и Михаил Львовичи Толстые.

173. Вел. кн. Сергей Александрович (1857—1905), московский генерал-губернатор в 1891—1905 гг., убитый с.-р. И. П. Каляевым.

174. Петр Семенович Алексеев (р. 1849), автор брошюр о пьянстве, помощник врачебного инспектора в Риге. Его книга „О пьянстве" с предисловием гр. Л. Н. Толстого: „Для чего люди одурманиваются?" (Стр. 1—27, дата „10 июня 1890 г."), издана редакцией журнала „Русская Мысль", М. 1891.

175. Александр Матвеевич Руднев (р. 1842), доктор медицины, хирург, главный врач Тульской губернской земской больницы, советами которого пользовались Толстые с 1886 года.

176. Аркадий Васильевич Алехин, (1885—1918), бывш. народоволец, последователь учения Льва Николаевича. На его земле была устроена Смоленская толстовская община. В 1891—1892 г.г. работал с Толстым на голоде, впоследствии был курским городским головой,

177. Об Афанасии Афанасьевиче Фете прим. 24. Женат был Фет на Марье Петровне, рожд. Боткиной (1828—1894).

178. Дочери Николая Алексеевича Философова и Софьи Алексеевны, рожд. Писаревой—Наталья и Александра Николаевны Философовы, сестры Софьи Николаевны, жены Ильи Львовича Толстого.

179. Племянницы С. А. Толстой, дочери Татьяны Андреевны,—Марья Александровна (см. прим. 28) и Вера Александровна Кузминские.

180. Газета „Курский Листок", с 1882 г. издателем-редактором которой был Н. Воротников.

181. Кучер Михаил Филиппович Егоров, крестьянин Ясной Поляны, сын Филиппа Родионовича, бывшего прежде кучером, а затем управляющим в Ясной Поляне.

182. Епифанский уезд Тульской губернии. Имение Ивана Ивановича Раевского Бегичевка — Данковского уезда, Рязанской губернии, находилось близ границы уездов.

183. Константин Никанорович Анненков (1843 — 1910), ученый-юрист и земский деятель, помещик Льговского уезда Курской губ. Женат на Леониле Фоминичне, единомышленнице Толстого.

184. Льгов—уездный город Курской губернии. О судебном следователе из Льгова—Нелюбове, приезжавшем к Толстым с Анненковым, сведений разыскать не удалось.

185. Алексей Сергеевич Суворин (1834—1912), писатель, известный журналист, публицист и книгоиздатель. С 1876 года издатель газеты „Новое Время".

186. Петр Федорович Самарин (1830—1901), брат известного славянофила Юрия Федоровича Самарина, помещик Епифанского и Ефремовского уездов, знакомый Толстых.

187. Василий Николаевич Бестужев-Рюмин (1835—1910), брат известного историка, племянник декабриста Михаила Павловича Бестужева-Рюмина, генерал-лейтенант, в 1876—1889 гг. был начальником оружейного завода в Туле. Бывал с женой Марьей Филипповной, рожд. Левдик, и с дочерью в Ясной Поляне.

188. Павел Васильевич Жуковский (1845—192.), сын поэта Василия Андреевича Жуковского, художник, считавшийся „другом" Александра III.

189. Софья Андреевна пригласила в этом году так же, как и в прошлом, башкир из Самарской губ. для выделки кумыса, обыкновенно благотворно действовавшего на здоровье Льва Николаевича. Лев Николаевич, однако, находил, что такое лечение непозволительная роскошь.

190. Рафаил Левенфельд (ум. 1910), немецкий писатель, лектор славянских языков в Бреславльском университете, директор Шиллеровского театра в Берлине. Переводчик полного собрания сочинений Толстого, в 13 томах (Берлин 1891 г. и след.), на немецкий язык, с его биографией („Leo N. Tolstoj, ч. I. Б. 1892, русск. перев. 1895). Находился в переписке с Толстым, побывал в Ясной Поляне, об этом пребывании оставил воспоминания: „Gespräche über und mit Tolstoj"—„Разговоры с Толстым и о Толстом".

191. Алексей Алексеевич Зиновьев, брат тульского губернатора Николая Алексеевича Зиновьева, инженер.

192. Александр Васильевич Цингер (р. 1870), сын известного математика Василия Яковлевича Цингер и Александры Ивановны, рожд. Раевской. Впоследствии профессор физики.

193. Тимофей Михайлович Фоканов, крестьянин дер. Ясная Поляна, бывший „бурмистром" в Ясной Поляне и позднее (в 70-х годах) управляющим Самарским имением Л. Н. Толстого.

194. Лев Николаевич записал в своем дневнике: „7 июня. Приезжают все сыновья—раздел. Очень тяжело и будет неприятно".

„8 и. приехали сыновья и вечером разговор о дележе. „Завтрак у предводителя". И не хороши были. Не ссорились, но приписывают важность столь пустому".

195. Митрофан Семенович Дудченко, (р. 1867) единомышленник Л. Н. Толстого. „Сожительницей" Дудченко Софья Андреевна назвала его жену Сарру Федоровну Симонсон.

196. Марья Николаевна Толстая (1830—1912), сестра Л. Н. Толстого, жившая в то время в женском Шамординском монастыре, близ Оптиной пустыни. См. о ней подробно прим. 14, к I ч. Дневников.

197. Амвросий, в мире Александр Михайлович Гренков (1812—1891), знаменитый старец Оптиной пустыни, прославившийся аскетизмом, смирением способностью исцелять от физических болезней и душевных страданий. В числе других его посетили: Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Владимир Соловьев и Л. Н. Толстой.

198. Иоанн Ильич Сергиев (1829—1908), протоиерей, пользовавшийся большой популярностью, как проповедник и „целитель". По окончании Спб. духовной академии был протоиереем Андреевского собора и одновременно законоучителем в учебных заведениях Кронштадта, почему и назывался „Кронштадтским". Написал „Несколько слов в обличение лжеучения графа Л. Н. Толстого". М. 1898.

199. Толстые ездили к обедне в село Кочаки, в 2½ верстах от Ясной Поляны.

200. Дмитрий Александрович Кузминский (р. 1888), племянник Софьи Андреевны, сын Татьяны Андреевны Кузминской.

201. Елена Сергеевна Толстая (р. 1863), племянница Л. Н. Толстого, дочь Марьи Николаевны Толстой от ее гражданского брака с виконтом Гектором-Виктором де-Клен (см. прим. 14 к I ч. Дневников). Замужем с 1893 г за Иваном Васильевичем Денисенко (1851—1916).

202. Филипп Родионович Егоров, кучер у Толстых, впоследствии служил управляющим в Ясной Поляне.

203. Петр Галактионович Хохлов (1863-64 — 1896), единомышленник Л. Н. Толстого. Познакомился с Л. Н. в 1889 г., участник толстовских общин, умер в больнице для душевнобольных.

204. Алексей Васильевич Алехин, лаборант химической лаборатории Московского университета, единомышленник Толстого.

205. Толстой ходил пешком с Алексеем Васильевичем Алехиным и Петром Галактионовичем Хохловым к Анатолию Степановичу Буткевичу, жившему на своем хуторе Русаново, близ г. Крапивны Тульской губернии,

206. Кто упоминаемые Лодыженские, установить трудно.

207. Четыре „Русские книги для чтения" впервые были изданы в 1875 г. (М. типогр. Т. Рис). Являясь незаменимым материалом при обучении детей чтению, они пользовались исключительным успехом и выдержали много изданий.

208. Крапивна — уездный город Тульской губ., в 30 верстах от Ясной Поляны (Ясная Поляна—Крапивенского уезда).

209. Павильоном в Ясной Поляне называлась деревянная летняя постройка с одной комнатой, между домом и флигелем.

210. Илья Ефимович Репин (р. 1844), знаменитый художник, знакомый Л. Н. Толстого, написавший с него ряд портретов.

211. Судаково—деревня в 7 верстах от Ясной Поляны. До женитьбы Толстой часто бывал у прежних владельцев Судакова, Арсеньевых, будучи влюблен в Валерию Владимировну Арсеньеву.

212. Рисунок карандашом И. Е. Репина, изображающий сидящими на траве Софью Андреевну с младшими детьми, Сашей и Ваничкой, находится в Московском Толстовском музее.

213. Царское Село, ныне Детское Село, — уездный город С.-Петербургской губ. в 22 верстах от Петербурга.

214. Под 14 июля 1891 г. Лев Николаевич записал в своем дневнике: „Разговор с женой все о том, чтобы отказаться от права собственности на сочинения... Не понимает она и не понимают дети, расходуя деньги, что ка-

ждый рубль, проживаемый ими и наживаемый книгами, есть страдание, позор мой. Позор пускай, но за что ослабление того действия, которое могла бы иметь проповедь истины. Видно так надо. И без меня истина сделает свое дело."

215. Картины И. Е. Репина, о которых пишет Софья Андреевна, это известные его „Толстой за работой в кабинете под сводами" (находится в Толстовском музее Академии Наук СССР) и „Толстой на молитве" (эскиз к ней находится в Москве в Музее иконописи и живописи (бывш. Остроуховском). Большая картина „Толстой на молитве" написана Репиным в 1901 году, хранится в Ленинграде, в Русском музее). Экземпляр бюста Толстого работы Репина имеется в Московском Толстовском музее.

216. Илья Яковлевич Гинцбург (р. 1860), скульптор, с 1911 г. академик. Знакомый Л. Н. Толстого, бывавший в Ясной Поляне. Толстого Гинцбург лепил несколько раз. Известны его статуэтки: „Толстой за работой"—Л. Н. сидит за столом на скамеечке, подложив под себя ногу, и пишет,—об этой статуэтке и говорит Софья Андреевна; „Толстой с палочкой и книгой в руке"—во весь рост; „Толстой за чтением"—сидит откинувшись в кресле, и большие скульптуры: „Бюст Толстого" почти в натуральную величину и статуя Толстого больше натуральной величины—Л. Н. сидит в кресле, заложив ногу на ногу. Все названные скульптуры Гинцбурга, за исключением бюста, имеются в Московском Толстовском музее. Большая статуя приобретена у автора в 1928 году.

217. Племянницы Л. Н. Толстого, дочери его брата Сергея Николаевича: Вера Сергеевна (1865—1923) и Варвара Сергеевна (1871—1923)—Толстые.

218. Дочь и сын Надежды Дмитриевны Гельбиг, рожд. кн. Шаховской. О ней см. прим. 313 к I ч. Дневников.

219. Яков Федорович Белобородов, нотариус в Туле. 7 июля 1892 года у него в конторе был подписан акт раздела имений и имущества Л. Н. Толстого между его женой и детьми.

220. Николай Николаевич Фигнер (1857—1919), известный русский певец-тенор, артист русской оперы, солист его величества, с успехом выступавший сначала за границей, а затем (с 1887 г.) в России.

Женою Фигнер была Медея Ивановна, рожд. Мей (р. 1860 г.), тоже известная певица-сопрано, солистка его величества, артистка оперы.

Фигнер с женой в то время жили в недавно купленном им имении в Тульском уезде, в 6 верстах от Ясной Поляны и не раз приезжали к Толстым. Бывали они у них и в Москве.

221. „Странный человек"—романтическая драма М. Ю. Лермонтова 1831 г. См. ее в академическом „Полном собр. соч." Лермонтова, т. III. Спб. 1910, стр. 147—207.

222. Л. Н. Толстой в этом же 1891 году 16 сентября отказался от прав литературной собственности на сочинения, написанные им после 1881 года. Письмо Толстого об отказе было напечатано в № 258 „Русских Ведомостей" от 19.IX 1891 г. На издание сочинений, написанных до 1881 года, и на управление имениями он выдал осенью 1884 года полную доверенность Софье Андреевне, которая и издавала их в пользу семьи.

223. Борис Николаевич Нагорнов (1877 — 1899), внучатый племянник Л. Н. Толстого, сын Николая Михайловича Нагорнова и Варвары Валерьяновны, рожд. гр. Толстой, дочери Марьи Николаевны Толстой, сестры Л. Н., застрелившийся летом 1899 года.

224. Софья Андреевна правила корректуры знаменитой „Новой азбуки" Толстого, впервые изданной в 1875 году, позднее выдержавшей много изданий.

225. Роман Поля Бурже „Un coeur de femme" „Сердце женщины", написанный им в 1890 году. О Бурже прим. 52.

226. „Липунюшка"—сказка Л. Н. Толстого. Впервые напечатана в „Первой русской книге для чтения". М. 1875.

227. Базилевич, молодой человек, тульский помещик.

228. Шарль Рише (р. 1850), французский физиолог, профессор физиологии в Парижской медицинской школе. Написал целый ряд трудов по физиологии, физиологической психологии, терапии и др. Принимал деятельное участие в работах лондонского общества психических исследований. Редактор журнала „Revue Scientifique". Автор нескольких романов в стихах.

Кто был родственник Рише—установить не удалось.

229. Николай Яковлевич Грот (1852—1899), сын академика Грота, профессор философии (с 1886 г.) в Московском университете. Оставил ряд трудов по философии и психологии. С 1889 г. был редактором журнала „Вопросы Философии и Психологии". Памяти Грота издана книга „Н. Я. Грот в очерках, воспоминаниях и письмах товарищей, учеников, друзей и почитателей", Спб. 1911.

230. Брат С. А. Толстой—Александр Андреевич Берс (1845—1918). См. о нем прим. 6 к I ч. Дневников.

231. Михаил Фомич Крюков служил буфетчиком у Толстых, ранее служил слугою у кн. Леонида Дмитриевича Урусова. Был женат на Прасковье Николаевне Румянцевой, дочери старого повара Николая Румянцева, бывшего дворового Толстых.

232. Николай Семенович Лесков (1839—1895), известный писатель, находившийся (с 1887 г.) с Толстым в переписке.

На вопрос Лескова о голоде, Толстой в конце июня—самом начале июля 1891 г. написал ему письмо, из которого А. И. Фаресов без ведома Лескова в № 244 газеты „Новости и Биржевая Газета" от 4.IX 1891 г. напечатал выдержку, в заметке „Л. Н. Толстой о голоде". В № 5574 „Нового Времени" от 5.IX 1891 г. появилась ее перепечатка. 6.IX 1891 года Лесков написал Толстому письмо с объяснением истории с напечатанием отрывка из его письма. Приводим выдержку из него: „Лев Николаевич. Вероятно, Вы видели напечатанное в „Нов. Вр-ни" извлечение из письма вашего ко мне „о голоде". Я этого печатанья не устраивал и им смущен. Дело вышло так: я прочитал Ваше письмо Ивану Ив. Горбунову, а он попросил у меня с него копию и при этом сказал, что его вообще не надо скрывать, а надо сообщать людям, которые дорожат Вашими суждениями. Мы усмотрели и в самом письме Вашем как бы разрешение на это, выраженное в словах: „пишу это не для Вас, но для людей" и т. д. После этого я списал собственноручно копию с Вашего письма для Ив. И. Горбунова, но прежде чем успел его послать, был застигнут

неким Фаресовым (амнистированным Лорисовцем), который очень дорожит всем, что от Вас к нам доходит. Я ему прочел о голоде, а он попросил у меня „списать" копию для себя. Я и дал, а через два дня увидел в „Нов. Врем." уже перепечатку из „Новостей"...". См. Толстовский юбилейный Сборник Публичной Библиотеки СССР им. Ленина, „Письма Толстого и к Толстому". ГИЗ. М.-Л. 1928, стр. 115—116.

233. Эдуард Род (р. 1857). французский писатель-романист и критик. Его роман, который прочла Софья Андреевна,—„Три сердца".

234. Толстые: Лев Львович, учившийся в Московском университете и Андрей и Михаил Львовичи, учившиеся в Поливановской гимназии.

235. Мария Леонидовна Оболенская (р. 1874), внучатая племянница Л. Н. Толстого, дочь кн. Леонида Дмитриевича Оболенского и Елизаветы Валерьяновны, рожд. гр. Толстой, внучка сестры Л. Н.—Марии Николаевны Толстой. С 1893 г. была замужем за Николаем Алексеевичем Маклаковым (1871—1918), бывшим в 1912—1915 гг. министром внутренних дел.

236. Гр. Елизавета Адамовна Олсуфьева (1857—1898), друг Татьяны Львовны Толстой, и Михаил Адамович Олсуфьев (1860—1918). О семье Олсуфьевых прим. 256 к. I ч. Дневников.

237. Евгений Иванович Попов (р. 1864), единомышленник Л. Н. Толстого. См. о нем прим. 340 к I ч. Дневников.

238. Василий Петрович Золотарев, единомышленник Л. Н. Толстого. Письма Толстого к нему не опубликованы.

239. Толстовские общины стали возникать с середины 80-х годов. Известностью из них пользовались следующие: Тверская община, в Дугине, основанная Михаилом Александровичем Новоселовым; Харьковская (1890—1892)—хутор Байрачный, организованная Митрофаном Васильевичем Алехиным; Смоленская община (1888 — 1891), в Шевелеве Дорогобужск. у., организованная Аркадием Васильевичем Алехиным; Херсонская (с 1890 г.) в Гладоссах, основанная Исааком Борисовичем Фейнерманом и Анатолием Степановичем Буткевичем; Самарская община, основанная Сибиряковым, и др.

С. А. Толстая имеет в виду, вероятно, Смоленскую общину, распавшуюся в 1891 году.

240. Под 9 октября 1891 года Лев Николаевич записал в своем дневнике: „... Очень тяжелый разговор с С[оней]".

241. Василий Николаевич Бибиков (1830—1899), тульский помещик, владелец имения Успенское Богородицкого уезда, знакомый Толстых.

242. Федор Александрович Свечин (1844—1894), помещик Ефремовского уезда, владелец имения Ситово, знакомый Толстых, был ефремовским уездным и тульским губернским (в 1880—1885 гг.) предводителем дворянства и управляющим государственным коннозаводством в Москве. У Свечина был конский завод.

243. Рафаил Алексеевич Писарев (1850—1906), помещик Епифанского уезда Тульской губ., знакомый Толстых.

244. „Вопросы Философии и Психологии"—журнал, издававшийся в 1889—1917 г.г. Московским Психологическим Обществом. Редакторы: проф. Николай Яковлевич Грот, о нем прим. 229, и Лев Михайлович Лопатин (1855—1920).

Статья Толстого „О голоде". в „Вопр. Филос. и Псих." напечатана не была.

245. Внук Толстого, сын Ильи Львовича Толстого—Николай, родившийся 20.XII 1890 г. и умерший 2.XII 1892.

246. Анна Ильинична Толстая (р. 24.XII 1888), внучка Толстого, старшая дочь Ильи Львовича. Замужем в первом браке с 1908 г. за Николаем Андреевичем Хольмберг (р. 1887), во втором, с 1926 г.,—за Павлом Сергеевичем Поповым (р. 1892).

247. Граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков (1837—1916), в 1881—1897 г.г. министр двора и уделов и главноуправляющий государственным коннозаводством; с 1905 г. наместник на Кавказе, главнокомандующий кавказским военным округом, член Государственного совета.

248. Василий Кириллович Сютаев (1819(?)—1892), крестьянин деревни Шевелино, Новоторжского уезда, Тверской губернии, сектант, философ, пришедший самостоятельным путем к близкому учению Толстого миросозерцанию и влиявший на мировоззрение Льва Николаевича.

Толстой с Сютаевым познакомился осенью 1881 г., посетив его на родине. В 1882 и в конце 80-х г.г. Сютаев неоднократно бывал у Толстого в Москве. См. в „Толстовском Ежегоднике 1913 г.", стр. 1—25, статью К. С. Шохор-Троцкого „Сютаев и Бондарев".

249. „Русские Ведомости"—газета, издававшаяся в Москве в 1863—1918 г.г. С 1891 г. редакторы-издатели В. М. Соболевский и А. С. Посников.

Письмо Софьи Андреевны в редакцию „Русск. Ведом." с воззванием о помощи голодающим было напечатано в № 303 от 3.XI 1891 г.

250. „Московские Ведомости"—газета, издававшаяся в Москве в 1756—1918 г.г. Московским Университетом. В 1850—1887 г.г. редактором, а потом и арендатором „Моск. Вед." был М. Н. Катков. С 1887 г.—С. А. Петровский. Газета была ретроградного, консервативного направления.

Статьи „Московских Ведомостей", о которых пишет Софья Андреевна, были направлены против Толстого и его деятельности помощи голодающим. Это—в № 303 „Моск. Ведом." от 7.XI 1891 г., заметка „Семейство его сиятельства графа Л. Н. Толстого", в № 310 „Моск. Ведом." от 9.XI 1891 г., передовая статья „План гр. Л. Толстого" по поводу фельетона в № 306 „Русских Ведомостей" „Страшный вопрос" (см. след. 251 прим.), и две статьи в № 312 от 11.XI 1891, передовая „Слово общественным смутьянам" и „Пойманные на месте. (Письмо к издателю)".

251. Статья Л. Н. Толстого „Страшный вопрос" была напечатана в № 306 „Русских Ведомостей" от 6.XI 1891 г., с датой „1-го ноября 1891".

252. Владимир Сергеевич Соловьев (1853—1900), знаменитый философ, поэт и публицист.

253. Письмо Толстого от 22 февраля 1892 года „По поводу статьи „Моск. Ведом." против Толстого" (напечатанной в № 22 „Моск. Ведом." 1892 г.) было напечатано в № 66 „С.-Петербургских Ведомостей" от 8 марта 1892 г. и перепечатано другими газетами.

254. Марья Кирилловна Кузнецова (р. 1867), домашняя портниха Софьи Андреевны, дочь повара, бывшего крепостным в Калужской губ. У Толстых с 6.XII 1888 года. В 1891—1892 г. со Львом Николаевичем и Марьей Львов-

ной жила в Бегичевке. После женитьбы Льва Львовича перешла служить к нему. В 1899 году, выйдя замуж за никкелировщика Щеголева, уехала из Ясной Поляны.

255. Петр Николаевич Гастев, последователь учения Л. Н. Толстого, семинарист; в конце 1880 г. поселился и жил в Тверской Толстовской общине, основанной Новоселовым. В 1891—1892 г.г. работал с Толстым на голоде.

256. Елена Михайловна Персидская, курсистка, работавшая в 1891—1892 г.г. с Л. Н. Толстым на голоде.

257. Вера Михайловна Величкина (1870—1918), дочь священника, врач, работавшая с Л. Н. Толстым в 1891—1892 г.г. по оказанию помощи голодающим. Сопровождала в Канаду духоборов; переводчица; перевела роман Поленца „Крестьянин" с предисловием Толстого. Автор воспоминаний „В голодный год с Львом Толстым". ГИЗ М—Л. 1928. Была замужем за Влад. Дм. Бонч-Бруевич.

258. Вячеслав Константинович фон-Плеве (1846—1904), сенатор, в 1884—1894 г.г. товарищ министра внутренних дел, государственный секретарь и в 1902—1904 г.г. министр внутренних дел, убитый с.-р. Егором Сазоновым.

259. „Правительственный Вестник"—официальная газета для всех министерств и гл. управлений, издававшаяся в Спб. в 1869—1917 г.г. С 1891 г. редактор К. К. Случевский.

260. Письмо Толстого, посланное Софьей Андреевной в „Правительственный Вестник" редакция не напечатала.

261. Семья Толстых состояла из отца гр. Николая Ильича Толстого (1795—1837), матери гр. Марьи Николаевны, рожд. кн. Волконской (1790—1830) и их детей: Николая (1823—1860), Сергея (1826—1904), Дмитрия (1827—1857), Льва (1828—1910) и Марии (1830—1912).

262. Александр Михайлович Исленьев (1794—1882), дед С. А. Толстой по матери. См. о нем прим. 12 к I ч. Дневников.

263. Лев Николаевич перед переводом своим с Кавказа в Дунайскую армию в 1854 году приезжал в Ясную Поляну и ездил в Москву. 2 февраля он приехал в Ясную Поляну, во второй половине февраля приехал в Москву и в конце февраля уехал в Дунайскую армию. В дневнике Толстого есть записи об этом его приезде. Был ли он у Берсов, из дневника не видно.

264. Елизавета Андреевна Берс (1843—1919), сестра Софьи Андреевны. См. прим. 5 к I ч. Дневников.

265. „Детство" Л. Н. Толстого написано им в 1851—1852 г.г. По плану оно должно было составлять первую часть задуманного Толстым романа „Четыре эпохи развития" — „Детство", „Отрочество", „Юность", „Молодость". Впервые было напечатано Н. А. Некрасовым в № 9 „Современника" за 1852 г.

266. Чарльз Диккенс (1812—1870), знаменитый английский писатель. Роман Диккенса „Давид Копперфильд" вышел в свет в 1849—50 г.

267. Владимир Андреевич Берс (1853—1874), младший брат С. А. Толстой.

268. Татьяна Александровна Ергольская (1792—1874), троюродная сестра Николая Ильича, отца Толстого, воспитательница детей Толстых. См. о ней прим. 21 к I ч. Дневников.

269. Наталья Петров Онахотницкая, бедная дворянка, жившая в Ясной Поляне у Толстых в качестве не то подруги, не то приживалки Тат. Алдр. Ергольской.

270. Евдокия Николаевна, горничная Толстых, и ее муж лакей Толстого, Алексей Степанович Ореховы. См. прим. 25 и 26 к I ч. Дневников.

271. Кн. Софья Петровна Козловская, рожд гр. Завадовская (ум. в 1830), бабка С. А. Толстой по матери. Была замужем за кн. Влад. Ник. Козловским (р. 1790), которого, не разведясь с ним, оставила и сошлась с Александром Мих. Исленьевым. От этого сожительства у нее было 6 человек детей, в том числе мать Софьи Андреевны Любовь Александровна. Все дети, как незаконнорожденные, носили вымышленную фамилию Ислявиных.

272. Дети Марьи Николаевны Толстой, племянницы Толстого: Варвара Валерьяновна (о ней прим. 36) и Елизавета Валерьяновна (см. прим. 35) Толстые, жившие заграницей.

273. Андрей Евстафьевич Берс (1808—1868), врач, отец С. А. Толстой. См. о нем подробное прим. 40 к I ч. Дневников.

274. Нил Александрович Попов (1833—1891), профессор русской истории в Московском университете, в 1882 г. декан филологического факультета, знакомый Берсов.

275. Софья Михайловна Горсткина, рожд. Кузминская (ум. 1891), двоюродная сестра Софьи Андреевны, дочь Михаила Петровича Кузминского (1811—1847?) и Веры Александровны Ислявиной (1825—1910?), бывшая замужем за Львом Ивановичем Горсткиным.

276. Это письмо Л. Н. Толстого напечатано в его „Письмах к жене", М. 1915, изд. 2-е, стр. 1—2.

277. Румянцовский музей—ныне Публичная библиотека СССР им. В. И. Ленина, основан государственным канцлером Ник. Петр. Румянцовым в Петербурге. В 1828 году передан правительству, в 1861 г. переведен в Москву. Главные отделы—библиотека и отделение рукописей и славянских старопечатных книг.

Софья Андреевна, желая сохранить рукописи Толстого, в 1888—1889 г. вместе со Львом Николаевичем привезла и поместила их на хранение в отделение рукописей Румянцовского музея. 12 января 1904 г. она переместила их на хранение в Исторический музей в Москве, где было „Отделение им. Л. Н. Толстого". 28 и 29 января 1915 г. рукописи Толстого Софьей Андреевной снова были переданы на хранение в Румянцовский музей, где они хранятся в рукописном отделении и в настоящее время. С 1924 г. при отделении рукописей основан „Кабинет им. Л. Н. Толстого".

Рукописи Толстого, собранные Софьей Андреевной, за исключением писем, большей частью принадлежат к первому периоду его творчества. См. прим. 281.

278. Митрофан Андреевич Поливанов (1842—1913), брат известного военного министра, товарищ Александра Андреевича Берс. См. о нем прим. 58 к I ч. Дневников.

279. Петр Андреевич Берс (1849—1910), брат С. А. Толстой. См. прим. 41 к I ч. Дневников.

280. Дмитрий Федорович Трепов (1855—1906), полковник, впоследствии генерал-майор, в 1896—1905 г.г.—московский обер-полицеймейстер; в 1905 г.

недолго был петербургским генерал-губернатором и затем тов. министра внутрен. дел. Сослуживец В. Г. Черткова по лейб-гвардии конному полку, его друг, у которого он одно время хранил часть рукописей Толстого.

281. Лев Николаевич многие свои рукописи передавал на хранение В. Г. Черткову, который сначала хранил их в Петербурге, а после того, как в 1897 г. был выслан из России, перевез их в Англию, где близ Лондона в Christchurch выстроил для рукописей специальное бетонное хранилище. Это собрание пополнялось новыми рукописями, передаваемыми и пересылаемыми Толстым Черткову. После революции чертковское собрание рукописей из Англии было перевезено в Россию и хранилось в Академии Наук СССР. В настоящее время огромный чертковский архив рукописей Льва Николаевича хранится в Московском Толстовском музее. Он заключает в себе большею частью произведения Толстого второго периода его творчества.

282. Григорий Антонович Захарьин (1829—1896, а не 1897, как напечатано по ошибке в прим. 101 к I ч. Дневников), знаменитый московский врач-терапевт. С 1867 года неоднократно лечил Толстого.

283. Потемкино—село в 14 верстах от Ясной Поляны. Там в то время случился пожар, уничтоживший несколько дворов. „Благотворительные деньги", которыми Толстой хотел помочь погорелым—гонорар, получавшийся Львом Николаевичем за постановки его пьес.

284. Марья Александровна Шмидт (1813?—1911), друг Л. Н. Толстого, последовательница его религиозно-философского учения. Жила в дер. Овсянниково в 5 верстах от Ясной Поляны. Подробно см. о ней прим. 309 к I ч. Дневников.

285. Леонид Осипович Пастернак (р. 1862), живописец-жанрист. Нарисовал ряд иллюстраций к „Войне и миру" и „Воскресению" Толстого (находятся в Московском Толстовском музее) и портретов, картин и рисунков с Толстого и его семьи. Знакомый Толстых. Женат на Розалии Исидоровне, рожд. Кауфман (р. 1867). Пастернак жили в Москве на Мясницкой ул., в доме Училища живописи и ваяния.

286. Анатолий Андреевич Брандуков (р. 1858), известный виртуоз-виолончелист, с успехом концертировавший в России и за границей. С 1890 г. жил в Москве, с 1906 г. был директором музыкального училища Московского Филармонического общества.

287. С. А. Толстая печатала 9-е издание произведений Толстого „Сочинения гр. Л. Н. Толстого", т.т. I—XIII, М. 1893.

288. Marcella—роман английской писательницы Mr-s Humphry Ward—Гумфри Уорд (р. 1851).

289. Олсуфьевы—это семья отставного свитского генерала гр. Адама Васильевича Олсуфьева (1833—1901), состоявшая из его жены Анны Михайловны, рожд. Обольяниновой (1835 — 1899) и детей: дочери Елизаветы (1857 — 1898) и сыновей—Михаила (1860—1918) и Дмитрия (р. 1862). Имение Олсуфьевых Н. кольское-Обольяново находилось в Дмитровском уезде Московской губ., в 20 верстах от ст. Подсолнечной, б. Николаевской ж. д. См. прим. 256 к I ч. Дневников.

290. Мартыновы—это, московские знакомые Толстых Виктор Николаевич Мартынов (р. 1858), сын убийцы Лермонтова, инспектор удельного винодел-

лия, и его жена Софья Михайловна, рожд. Катенина. У них была дочь Надя, подруга Александры Львовны.

291. Софья Алексеевна Философова, рожд. Писарева, мать жены Ильи Львовича Толстого.

292. Жюль Верн (1828—1905), французский писатель, создавший особый род авантюрно-утопического романа на основе научных открытий. Его „20.000 миль под водой“ и „Дети капитана Гранта“—романы такого типа.

293. Вероятно, Марья Михайловна Сухотина, рожд. бар. Боде-Колычева (1856—1897), первая жена Михаила Сергеевича Сухотина, женившегося вторым браком (14 XI 1899 г.) на Татьяне Львовне Толстой.

294. Ольга Дмитриевна Зайковская, дочь инспектора студентов Московского университета, подруга Софьи Андреевны в молодости.

295. Екатерина Федоровна Юнге, рожд. гр. Толстая (1843—1913), художница, троюродная сестра Л. Н. Толстого, дочь известного художника-медальера и вице-президента Академии Художеств гр. Федора Петровича Толстого. Была замужем за известным окулистом Эдуардом Андреевичем Юнге (1838—1898).

296. Сергей Иванович фон-Визин (р. 1860), писатель, внук брата известного писателя Д. И. фон-Визина, служивший в Клинском уезде земским начальником, впоследствии женился на племяннице Софьи Андреевны, Вере Петровне Берс (р. 1881), дочери ее брата Петра Андреевича Берс.

Повесть фон-Визина „Силетня“ была напечатана в „Вестнике Европы“ за 1895 г. №№ 1, 2.

297. Толстые—брат Льва Николаевича, Сергей Николаевич Толстой с женой и детьми, жившие в то время в Москве.

298. Глебовы — многочисленная семья Владимира Петровича Глебова (1850—1926) и его жены Софьи Николаевны, рожд. кн. Трубецкой (р. 1854). Знакомые Толстых. Их старшая дочь Александра Владимировна (р. 1880) в 1907 году вышла замуж за Михаила Львовича Толстого.

299. Гримм, братья Якоб (1785—1863) и Вильгельм (1786—1859), знаменитые ученые, основатели германской филологии и собиратели немецких сказок, собрание которых „Kinder- und Hausmärchen“ вышло в 1812 году. Сказки эти пользуются мировой известностью, переведены на иностранные языки и выдержали множество изданий.

300. Лидия Ивановна Веселитская-Божидарович, псевдоним „В. Микулич“ (р. 1857), писательница. Знакомая Толстых, бывавшая у них в Москве и в Ясной Поляне. Оставила воспоминания о Толстом „Тени прошлого“. Спб. 1914 г.

301. Марья Константиновна Рачинская (1865—1900), дочь директора сельско-хозяйственной академии в Петровском-Разумовском, ныне Тимирязевской с.-х. Академии в Москве, Константина Александровича Рачинского (1838—1909) и Марьи Александровны Дараган (1844—1877). В этом же 1895 г. 10 июля она вышла замуж за Сергея Львовича Толстого.

302. Николай Ильич Стороженко (1836 — 1906), профессор западноевропейских литератур в Московском ун-те. Дети Стороженко, его сыновья: Николай (1883—1909) и Александр (р. 1885).

303. Павел Иванович Бирюков (р. 1860), биограф Толстого, близкий друг его и семьи Толстых, последователь учения Льва Николаевича. Толстые называли его „Пошей".

304. Альберт, Иванович Мей (1840—1913), известный фотограф в Москве. Его фотография находилась на Дмитровке.

305. Михаил Адамович Олсуфьев (1850—1918), см. прим. 289.

306. Марья Николаевна Зубова (р. 1867), дочь Ковенского губернского предводителя дворянства гр. Николая Николаевича Зубова и Александры Васильевны, рожд. гр. Олсуфьевой. С 1906 года жена Сергея Львовича Толстого.

307. Николай Андреевич Белоголовый (1834—1895), врач и писатель, друг Сергея Петр. Боткина. Лечил Некрасова, Тургенева, Салтыкова. Оставил „Воспоминания и статьи". М. 1897. Зимой 1894—1895 г. лечил Льва Львовича Толстого. См. в его восп. „Свидания с гр. Л. Н. Толстым".

308. Валерия Владимировна Арсеньева (1836—1909), в которую в 1856—1857 г.г. Толстой был влюблен, собираясь на ней жениться. Известны 18 писем Льва Николаевича к Арсеньевой, оригиналы которых находятся в Отделении рукописей Публичной библиотеки СССР им. Ленина. Письма эти приведены П. И. Бирюковым и Н. Н. Гусевым в их биографиях Толстого. См. прим. 131 к I ч. Дневников.

309. Борис Николаевич Чичерин (1828—1904), известный ученый, юрист и философ, профессор государственного права в Московском университете, знакомый Льва Николаевича с 1856 г. Находился в переписке с Толстым. Сохранившиеся 14 писем Толстого к Чичерину и 30 писем Чичерина к Толстому напечатаны в толстовском юбилейном сборнике Публичн. библ. СССР им. Ленина „Письма Толстого и к Толстому", ГИЗ. М.—Л. 1928.

Статья Чичерина „Пространство и время", которую читала Софья Андреевна (см. запись 1 февр. 1895 г, стр. 104), была напечатана в „Вопросах Философии и Психологии" за 1896 г., кн. XXVI.

310. Лев Михайлович Лопатин (1855—1920), известный философ и психолог, профессор Московского университета, председатель Московского Психологического общества. С 1894 года редактор издававшегося обществом журнала „Вопросы Философии и Психологии" (1889—1917). Знакомый Толстых.

311. Дарья Николаевна Петровская, рожд. Маринина (р. 1862), бывшая замужем за врачом Александром Григорьевичем Петровским (1854—1908).

312. Варвара Александрова Цурикова (1851—1922), писательница, знакомая Толстых, сестра Алдр. Алдр. Цурикова, приятеля Сергея Львовича Толстого.

313. Лидия Алексеевна Лопухина, сестра гр. Эмилии Алексеевны Капнист, жены попечителя Московского учебного округа, гр. Павла Алексеевича Капнист, скончавшаяся 11 января.

314. Александра Дмитриевна Бугаева (ум. 1922), жена Николая Васильевича Бугаева, известного профессора математики Московского университета, мать писателя Андрея Белого.

315. Надежда Вячеславовна Литвинова, рожд. Шидловская, двоюродная сестра Софьи Андреевны, дочь Веры Александровны, рожд. Исламиной, бывшая замужем за Николаем Михайловичем Литвиновым.

316. Нил Федорович Филатов (1847—1902), известный детский врач, профессор Московского университета, лечивший детей Толстых.

317. „Les rois en exil—Короли в изгнании", роман известного французского писателя Альфонса Додэ (1840—1897), написанный им в 1879 году.

318 Алексей Львович Толстой, сын Толстых, родившийся в Москве 31 октября 1881 г. и умерший 18 января 1886 г. Похоронен на кладбище при селе Никольском, близ Покровского-Стрешнева под Москвой.

319. Виктор Александрович Гольцев (1850—1906), известный публицист и журналист, с 1885 года фактический редактор „Русской Мысли".

320. Рассказ „Хозяин и работник" писался Толстым в Москве с сентября 1894 г. по 15 февраля 1895 г. Впервые напечатан в „Северном Вестнике" 1895 г. № 3 (Ценз. разр. 26 февр. 1895 г.).

321. Кн. Дмитрий Иванович Шаховской (р. 1861), известный общественный деятель, секретарь I Государственной думы.

322. Павел Петрович Кандидов—учитель Андрея и Михаила Львовичей Толстых, секретарь Софьи Андреевны по делам издания сочинений Л. Н. Толстого.

323. Любовь Яковлевна Гуревич (р. 1866), писательница. С 1891 по 1898 г. издавала и редактировала вместе с Волынским журнал „Северный Вестник".

324. „Смерть Ивана Ильича" написана Толстым в 1884—1886 г.г. Впервые напечатана в „Сочинениях гр. Л. Н. Толстого. Часть XII. Произведения последних годов", М. 1886, с датою „25 марта 1886 г.".

325. Алексей Яковлевич Кожевников (1836—1902), известный психиатр, профессор по нервным и душевным болезням в Московском университете.

326. Николай Владимирович Клейнмихель, (р. 1877), сын Владимира Петровича Клейнмихель и Екатерины Петровны, рожд. Мещерской, товарищ Михаила Львовича Толстого.

327. Алексей Петрович Северцов (ум. 1905), брат известного зоолога, сын Петра Петровича Северцова и Ольги Вячеславовны Шидловской, двоюродной сестры Софьи Андреевны.

328. Александр Эммануилович Дмитриев-Мамонов, сын художника Эммануила Александровича Дмитриева-Мамонова (1823—1888) и Ольги Александровны рожд. Рачинской, сестры известного педагога Сергея Александровича Рачинского.

329. Гр. Эмилия Алексеевна Каннист, рожд. Лопухина (р. 1848), жена писателя, в 1880—1895 г г. попечителя Московского учебного округа, гр. Павла Алексеевича Каннист (1842—1904).

330. Рассказ И. С. Тургенева „Фауст", впервые напечатан в „Современнике" 1856 г. № 10.

Софья Андреевна вспоминает о двух последних посещениях Тургеневым Ясной Поляны—в 1880 году 3 мая и в 1881 году между 5—12 июня. Об этих пребываниях Тургенева у Толстых Софья Андреевна писала в своих воспоминаниях 10/VIII 1903 г., первоначально напечатанных в „Орловском Вестнике" 1903 г., № 224, (перепечатаны Н. Л. Бродским в кн. „Тургенев в воспоминаниях современников и в его письмах", ч. I, М. 1924). Но в них

она путает приезд Тургенева к Толстому в первых числах июня 1881 года с приездом 8—9 августа 1878 года. (О последнем см. на стр. 47—48 I ч. Дневников, запись 12/VIII 1878 г. „Примирение гр. Л. Н. Толстого с И. С. Тургеневым").

331. Две статьи Л. Н. Толстого, данные им. Л. Я. Гуревич в „Северный Вестник" в один год это—рассказ „Карма", напечатанный в № 12 „С. В." за 1894 г., и „Противоречия эмпирической нравственности", первоначальное заглавие статьи „Религия и нравственность", „С. В." 1895, № 1.

332. Владимир Федорович Снегирев, известный врач-гинеколог, с 1884 г. профессор Московского университета.

333. В дневнике Л. Н. Толстого об „истории" с „Хозяином и работником" записано:

„7 февраля . . . Несчастный рассказ. Он был причиной вчера разразившейся страшной бури со стороны С[они]. Она была нездорова, ослабла, измучилась после болезни милого Ванички, и я был нездоров последние дни. Началось с того, что она начала переписывать с корректур... Помоги не отходить от тебя, не забывать, кто я, что я и зачем я. Помоги...

15 февраля. Бог помог мне; помог тем, что хотя слабо, но проявился во мне любовью, любовью к тем, которые делают нам зло, т.-е. единственной истинной любовью. И стоило только проявиться этому чувству, как сначала оно покорило, зажгло меня, а потом и близких мне, и все прошло, т.-е. прошли страдания.

Следующие дни были еще хуже. Она положительно близка была и к сумасшествию и к самоубийству. Дети ходили и ездили за ней и возвращали ее домой. Она страдала ужасно. Это был бес ревности, безумной, ни на чем не основанной ревности. Стоило мне полюбить ее опять, и я понял ее мотивы, а поняв ее мотивы, не то что простил ее, а сделалось то, что нечего было прощать. Послал в Северный и здесь печатают у ней и в Посреднике...

21 февраля. Здоровье С[они] совсем установилось."

334. „Санитарная колония Огрsuperновича"—это гигиеническая лечебница для неврастеников, Аляухово, основанная доктором Огрsuperновичем с зимы 1888 года и находившаяся близ Звенигорода, верстах в 60 от Москвы. В ней применялись гигиенические и физические способы лечения: воздух, правильное питание, обтирания и обливания, ванны, массаж, гимнастика, электризация.

335. Рассказ „Хозяин и работник" одновременно вышел в следующих изданиях: „Северном Вестнике" 1895 г., № 2; „Книжках Недели" 1895, № 3; изд. „Посредника", Л. Н. Толстой „Хозяин и работник, рассказ". М. 1895 (ценз. разр. 17 февраля 1895) и в „Сочинениях гр. Л. Н. Толстого", М. 1895, которые Софья Андреевна называет „приложением XIII тома" (девятого издания). В этом же году вышли „Сочин. гр. Л. Н. Толстого" ч. XIV. Ходите в свете пока есть свет. Хозяин и работник и др. (М. 1895).

336. Это „Сочинения гр. Л. Н. Толстого", т.т. I—XIV. Издание десятое. М. 1897.

337. Статья Льва Николаевича об искусстве — это статья „Что такое искусство?" Она была начата Толстым 2 марта 1889 г. и окончена 17 декабря 1897 г. Первая часть статьи впервые была напечатана в „Вопросах

Философии и Психологии" за 1897 г., № 5 (кн. 40), 1898 г., № 1 (кн. 41). Отд. изд. „Посредника", М. 1898.

338. Софья Николаевна Колокольцова, внучка друга молодости Льва Николаевича, Дмитрия Алексеевича Дьякова, дочь Николая Аполлоновича Колокольцова и Марьи Дмитриевны, рожд. Дьяковой.

339. Маклаковы — это дети известного окулиста Алексея Николаевича Маклакова (1838 — 1905), профессора глазных болезней в Московском университете: сыновья Василий Ал. (р. 1870), впоследствии известный адвокат, в 1917 г., при временном правительстве, посол в Париже; Николай Ал. (1871—1918), в 1912—1915 г.г. министр внутренних дел; и Алексей Ал., окулист, профессор Московского университета, и дочь Мария Алексеевна.

Николай Алексеевич Маклаков был женат с 1893 г. на внучатой племяннице Л. Н. Толстого, Марье Леонидовне Оболенской, дочери Елизаветы Валерьяновны, рожд. гр. Толстой, внучке Марьи Ник. Толстой, сестры Л. Н. У Толстых, вероятно, был Василий Алексеевич Маклаков.

340. Сергей Иванович Танеев (1856—1915), известный композитор, музыкальный теоретик и выдающийся пианист. В 1885—1889 г.г. директор Московской Консерватории. Два лета, 1895 и 1896 года, по приглашению Толстых, провел в Ясной Поляне и бывал у Толстых в Москве. В. А. Жданов в своей книге „Любовь в жизни Льва Толстого" пишет: „свое возбужденно-восторженное отношение к музыке Софья Андреевна перенесла на Танеева... Отношения Софьи Андреевны к Танееву не были теми отношениями, которые могли бы поставить вопрос о достоинстве замужней женщины, о ее супружеской верности, но в то же время они неприятны семейным, приносят огорчения мужу, вызывают в нем ревность и чувство незаслуженного оскорбления. Единодушные свидетельства современников, тщательное изучение семейных архивов Толстых, а также архива С. И. Танеева, приводят к убеждению, что эта страница жизни Софьи Андреевны не бросает никакой тени на ее имя, что Танеев, вообще равнодушный к женщинам, вероятно, мало подозревал о степени произведенного им впечатления, и что этот эпизод является следствием истерического состояния больной женщины, которая по женски перенесла свое увлечение музыкой на представителя этого искусства." В. А. Жданов „Любовь в жизни Льва Толстого", книга вторая, М. 1928, изд. М. и С. Сабашниковых, стр. 146—147.

341. Семейство Масловых состояло из двух братьев—Федора Ивановича, председателя Московской судебной палаты, и Николая Ивановича, товарища председателя Окружного Суда в Рязани, и трех сестер: Анны Ивановны, Софьи Ивановны, Варвары Ивановны, и родственницы Масловых Юлии Афанасьевны Юрасовой. Вся семья Масловых была в дружественных отношениях с Серг. Ив. Танеевым, проводившем летние месяцы, в продолжение нескольких лет, в их имении Селище, Орловской губ.

Варвара Ивановна Маслова была товаркой Татьяны Львовны Толстой по училищу живописи и ваяния.

342. Василий Юльевич Фере (р. 1864), вице-губернатор в Смоленске, зять тульского губернатора Ник. Ал. Зиновьева, с женой Надеждой Николаевной Фере, рожд. Зиновьевой.

343. Оболенские—Марья Львовна и кн. Николай Леонидович (сын кн. Леонида Дмитр. Оболенского и Елизаветы Валерьяновны, рожд. гр. Толстой), поженившиеся 2 июня 1897 г.

344. Николай Васильевич Туркин был воспитателем у Сабанеевых, а потом учителем Михаила Львовича у Толстых. С 1892 г., вместе с Л. П. Сабанеевым,—редактором-издателем журнала „Природа и Охота".

345. Драма „Власть тьмы" написана Толстым в 1886 г. Впервые напечатана в „Соч. гр. Л. Н. Толстого", изд. 6-е. М. 1886. Корректуры „Власти тьмы" Софья Андреевна правила для 10-го издания „Собрания сочинений" М. 1897.

346. Иосиф Гофман (р. 1876), знаменитый пианист, с 1895 г. концертировавший по Европе и Америке и в 1896 г. выступавший с большим успехом в России (впервые в Петербурге).

347. „Salon"—французский журнал со снимками с выставок Salon в Париже.

348. Лев Дмитриевич Кулешов (ум. 1921), сын поручика Дмитрия Алексеевича Кулешова, крапивенский помещик, почетный мировой судья Крапивенского уезда. Его имение Костомарово находилось близ ст. Лазарево Моск. Курск. ж. д., верстах в 40 от Ясной Поляны. Кулешов был товарищем Михаила Львовича Толстого.

349. Семен Иванович Якушкин (р. 1828?), брат известного собирателя песен Павла Ивановича Якушкина, разорившийся помещик, живший то у Сергея, то у Ильи Львовичей Толстых в Чернском уезде. Он приехал из Чернского уезда, сделав 100 верст на тележке, которую доставил в Ясную Поляну.

350. Михаил Сергеевич Сухотин (1850—1914), сын Сергея Мих. Сухотина (1888—1886) и Марьи Алексеевны, рожд. Дьяковой (ум. 1889). Был женат первым браком с 1877 г. на Марье Михайловне, рожд. бар. Боде (1856—23/VI 1897), вторым с 14/XI 1899 на Татьяне Львовне Толстой.

351. В 1891 г., когда Л. Н. Толстой разделил свои имения между своими детьми (раздельный акт подписан Л. Н. и утвержден нотариусом 7/VII 1892 г.), Марья Львовна отказалась от своей части, состоявшей из 57.000 руб. Эти деньги по проекту раздела должен был выплатить ей залогом имения Никольского-Вяземского Сергей Львович Толстой. Софья Андреевна, предполагая, что Марья Львовна со временем возьмет свою долю, приняла на себя ее долю, и Сергей Львович дал обязательство выплатить эти деньги матери. Марья Львовна, выйдя замуж, передумала и решилась принять выделенную ей отцом долю. „Машины денежные дела" и состояли в том, чтобы часть денег, выплаченных Сергеем Львовичем, и обязательство на остальную сумму его долга были переведены на Марью Львовну.

352. Бар. Ольга Владимировна Фредерикс, рожд. бар. Менгден, дочь Влад. Мих. Менгден и Елизаветы Ив., рожд. Бибиковой, бывшая замужем за бар. Константином Платоновичем Фредерикс, нижегородским вице-губернатором, позднее губернатором.

353. Павел Александрович Буланже (1864—1925), инженер, разделявший одно время взгляды Толстого. См. о нем прим. 322 к I ч. Дневников.

354. Сестра Софьи Андреевны—Елизавета Андреевна Берс с дочерью от ее второго брака с двоюродным братом Александром Александровичем Берс (1844—1921), Елизаветой Александровной (р. 1884), впоследствии вышедшей замуж за Владимира Николаевича Мясоедова (р. 1877). В дальнейших записях С. А. свою племянницу называет „Веточкой".

355. Вероятно Константин Михайлович Орехов (Ромашкин), крестьянин Ясной Поляны.

356. Анна Серон, француженка, гувернантка Татьяны Львовны и Марьи Львовны, жившая у Толстых.

357. „Ходынская катастрофа" произошла 18 мая 1896 г. на Ходынском поле в Москве, в день народного празднества по случаю коронации Николая II. В собравшейся за подарками полумиллионной толпе произошла свалка, во время которой погибло около 8 тысяч человек.

358. Мария Михайловна Холевинская (р. 1856), дочь Михаила Людвиговича Холевинского, Богородицкого помещика, старшего смотрителя Арсенала при Тульском оружейном заводе; служила земским врачем в Крапивенском уезде. Была близка по взглядам к Толстому. В 1896 г. по просьбе Льва Николаевича дала рабочему сочинения Толстого, запрещенные цензурою, за это была арестована и выслана в Астрахань.

359. „Revue blanche"—Белый журнал, издававшийся в Париже.

360. Владимир Васильевич Стасов (1824—1906), известный искусствовед, знакомый Л. Н. Толстого с 1878 г., находившийся с ним в переписке и бывавший в Ясной Поляне у Толстых, служил библиотекарем Спб. Публичной Библиотеки. См. о нем книгу Влад. Каренина „Владимир Стасов. Очерк его жизни и деятельности", ч. I—II, Л. 1927, в которой (II ч.) рассказано о знакомстве Стасова с Толстым. Переписка Толстого с Стасовым, заключающая в себе 97 писем первого и 121 ответное письмо второго, издана в книге: „Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка 1878—1906", редакция и примеч. В. Д. Комаровой и Б. Л. Модзалевского, Л. „Прибой" 1929.

361. Николай Сергеевич Лопухин (р. 1879), сын Сергея Алексеевича Лопухина и Александры Павловны, рожд. гр. Барановой.

362. Сын книгоиздателя и типографа Ивана Николаевича Кушнерева (ум. 1896), владельца большой типографии в Москве на Пименовской ул (ныне 3-я Государственная типография), основанной в 1869 году.

В типографии „Т-ва И. Н. Кушнерев и К°" Софья Андреевна печатала девятое, М. 1893, десятое, М. 1897, одиннадцатое, М. 1903, и двенадцатое, М. 1911—издания Собрания сочинений Л. Н. Толстого.

363. Александр Иганович Герцен (1812 — 1870), знаменитый писатель и публицист. Статья „о последних днях Герцена", которую читал Толстой, это воспоминания Н. А. Белоголового „Три встречи с Герценом", напечатанные в „Русских Ведомостях" 1897 г., № 167 от 19. VI и № 171 от 23. VI. (Перепечатаны в кн. „Н. А. Белоголовый. Воспоминания и другие статьи", М. 1897, стр. 621—641). Третья встреча Белоголового с Герценом была за 4 месяца до смерти последнего.

364. О Николае Николаевиче Ге (1831—1894) см. прим. 273 к I ч. Дневников. Картина „Распятие" написана Ге в 1892 году. Один вариант

ее хранится в Люксембургском музее в Париже, другой в Женевской городской галлерее. В то время вокруг „Распятия" Ге разгорелась полемика, картина возбудила много толков и шума, была снята с выставки, смотрели ее на частной квартире и вскоре она была увезена в Лондон.

365. Надежда Ивановна Иванова, знакомая Толстых, дочь Тульской купчихи, давнишней поставщицы Толстых.

366. Aphrodite—роман из античной жизни французского поэта и романиста Пьера Луи (р. 1870), написанный им в 1896 году и имевший большой успех.

367. Шамордино—Калужской губ., Козельского уезда, в 16 верстах от Оптиной Пустыни, где находилась известная Казанская женская Амвросиева пустынь. В Шамординском монастыре жила, постригшись в монахини, сестра Льва Николаевича, Мария Николаевна Толстая.

368. „Четверо детей" Ильи Львовича Толстого это — Анна (р. 1888), Михаил (1893—1919), Андрей (1895—1920), и Илья (р. 1896) Ильичи Толстые.

369. „Les Demi-Vierges"—Полудевы, роман французского писателя Эжен-Марселя Прево (р. 1862), написанный им в 1894 году, русский перевод 1898 г.

370. Жан-Жак Руссо (1712 — 1778), знаменитый французский философ и писатель. Его педагогический роман „Эмиль" написан им в 1762 году, русские переводы с 1867 г. Этот роман Руссо, развивавший систему воспитания детей сообразно с их природой, задатками, возрастом, имел огромное влияние. Им Руссо реформировал педагогию.

371. Эпиктет—греческий философ-стоик, живший в конце I—начале II века нашего летоисчисления.

372. Платон (V—IV в. до нашей эры)—величайший древне-греческий философ и поэт.

373. Марк Аврелий (жил от 121—180 г. наш. эры), римский император и философ.

374. Юрий Николаевич Померанцев, ученик С. И. Танеева, впоследствии композитор и дирижер.

375. Марья Николаевна Муромцева, рожд. Климентова, певица, выступавшая в Большом театре, первая Татьяна в „Евгении Онегине", жена председателя Первой государственной думы Сергея Андреевича Муромцева.

376. Дмитрий Дмитриевич Дьяков (р. 1880), сын друга Льва Николаевича, Дмитрия Алексеевича Дьякова и Софьи Робертовны Войткевич, приятель Михаила и Андрея Львовичей Толстых.

377. Кочак — ручей, протекающий по имению Толстых. У его истоков находятся Кочаковская церковь и кладбище, где похоронены отец, мать, тетки и жена Л. Н. Толстого. Лимоновская посадка—березы, посаженные Львом Николаевичем на участке земли, прикупленном им к Яснополянскому имению и раньше принадлежавшем купцу Лимонову.

378. Шеншины—помещики, соседи Толстых, купившие имение Судаково, в 7 верстах от Ясной Поляны.

379. Лев Николаевич записал в своем дневнике 1897 г. „21 июля. Окружающая жизнь очень мизерна. Дети не радуют.

„22 июля. Были дети, Илюшина семья. Милые внуки, особенно Андрей".

380. Кн. Дмитрий Дмитриевич Оболенский (р. 1844), сын Дмитрия Николаевича Оболенского и Елизаветы Ивановны Бибиковой, помещик, владелец имения Шаховское, старый знакомый Толстых, женат на Елизавете Петровне Вырубовой.

381. Павел Сергеевич Шереметев, сын полковника гр. Сергея Васильевича Шереметева, бывший в дореволюционное время заведующим музеем-усадьбой Астафьево.

382. Леонид Павлович Сабанеев (р. 1844 — 1898), известный зоолог редактор-издатель журнала „Природа и Охота“ (см. след. прим.), и его жена.

Николай Васильевич Туркин был воспитателем их сыновей Бориса и Леонида Леонидовичей, с 1892 г. сделался соредактором-издателем Л. П. Сабанеева по журналу „Природа и Охота“.

383. Журнал „Природа и Охота“, образовавшийся из слияния журналов „Природа“ и „Охота“,—ежемесячный иллюстрированный журнал, издававшийся с 1878 года в Спб., с 1880 г. в Москве. Издатель - редактор Леонид Павлович Сабанеев, с 1892 он же и Ник. Вас. Туркин.

384. Муж Татьяны Андреевны сестры С. А. Толстой, Александр Михайлович Кузминский (о нем прим. 128 к I ч. Дн.) с 1894 г. был старшим председателем киевской Судебной палаты, и семья Кузминских жила в Киеве.

385. Кто были Данилевские, жившие в Полтаве, установить не удалось. Вероятно, это семья Веры Михайловны Данилевской, рожд. Катениной, знакомой Толстых по Москве.

386. Соболев окончил Московский университет, был учителем у Сабанеевых, потом у Толстых репетитором Михаила Львовича.

387. Владимир Николаевич Философов (р. 1874), сын Николая Алексеевича Философова и Софьи Алексеевны, рожд. Писаревой, брат жены Ильи Львовича Толстого.

388. Антон Григорьевич Рубинштейн (1829—1894), знаменитый композитор и пианист. Его книга, которую читала Софья Андреевна, не „Письма о музыке“, как она ее называет, а „Музыка и ее представители. Разговор о музыке“, Спб. 1891.

389. Александр Викторович Ярцев, или как его называл Лев Николаевич—Ярцов (1850—1919 - 1920), отставной подпоручик из мелкопоместных дворян Тверской губ. Принадлежал к кружку Чайковского. Привлекался по процессу 193-х. Отбыл 4 года заключения в крепости и 4 года надзора. Бывал у Толстого, в дневниках которого есть о нем упоминания.

390. О Фете см. прим. 24 и подробное прим. к I ч. Дн. Элегия Фета „Какое счастие: и ночь, и мы одни!“ впервые напечатана в „Современнике“ 1854 г. № 2, стр. 145.

391. Aylmer Maude, — по-русски: Алексей Францевич Моод, англичанин, переводчик произведений Толстого на английский язык, автор его биографии на английском языке в 2 т.т. „The life of Tolstoy“, Лондон 1908, 1910, живший в то время в Москве, зять владельца английского магазина Шанкс.

Бывал в Ясной Поляне у Толстого, находился с ним в переписке. Оставил воспоминания.

392. Владимир Александрович Бибиков, сын соседа Толстых Александра Николаевича Бибикова, владельца имения Телятенки, от его второго брака с Ольгой Адольфовной Фирекель.

393. Об И. Я. Гинцбурге см. прим. 216. Статуэтка Софьи Андреевны во весь рост Гинцбургом была вылеплена. Единственный экземпляр ее в гипсе находится в Московском Толстовском Музее.

394. Аким Львович Флексер, а не Флетчер, как его называет Софья Андреевна, писатель, известный под псевдонимом А. Волынский (1863—1926). С 1889 г. принимал участие в „Северном Вестнике", а с начала 1890-х г.г. был членом его редакции и главным сотрудником.

395. Михаил Львович Толстой после Поливановской гимназии учился в Москве в Катковском лицее им. цесаревича Николая (с 1868 г.). Директором лицея в то время был Лев Александрович Георгиевский (р. 1860), с 1908 г. товарищ министра народного просвещения, с 1910 г. сенатор.

396. Мясоедово—деревня верстах в 5—6 от Ясной Поляны.

397. „Храм Христа Спасителя" в Москве на улице Волхонке, на берегу Москвы-реки, построенный по проекту архитектора Константина Андреевича Тона (1794—1881) в 1880 году (заложен в 1839 г.).

Успенский собор в Москве, в Кремле. Построен в 1326 г., заново перестроен в 1479 г. архитектором Аристотелем Фиоравенти.

398. Александр Борисович Гольденвейзер (р. 1875), известный пианист, ныне профессор Московской консерватории. Знакомый Толстых. Часто бывал в Ясной Поляне и живал на даче около станции „Засека" и в Телятенках. Написал обширные воспоминания—дневник о Л. Н. Толстом „Вблизи Толстого", т.т. I—II, М.—Пгр. 1923.

399. Статуэтка Гинцбурга с Льва Николаевича—это статуэтка Толстого во весь рост: Толстой стоит с книгой и палочкой в руке. Экземпляр из бронзы есть в Московском Толстовском Музее.

400. Письма Льва Николаевича к Софье Андреевне были напечатаны ею в 1913 году: „Письма гр. Л. Н. Толстого к жене. 1862—1910 г.". Втор. изд. 1915. Письма Софьи Андреевны хранятся в „Кабинете Л. Н. Толстого" при рукописном отделении Всесоюзной Публичной библиотеки СССР им. Ленина (бывш. Румянцевский Музей). Часть их в выдержках опубликована В. А. Ждановым в его книгах „Любовь в жизни Льва Толстого", М. 1928, изд. М. и С. Сабашниковых, ч. I и II.

401. Николай Алексеевич Касаткин (р. 1859), художник-жанрист. С 1898 г. академик, ныне народный художник. Участник передвижных выставок.

402. Карл Максимилианович Шмидт (р. 1857), доктор медицины, сверхштатный врач института благородных девиц им. Николая I. Одесса, ушные, горловые и носовые болезни. Петр Васильевич Любомудров (р. 1859), старший врач 57-го пехотного Модлинского полка и врач Студзовской общины сестер милосердия. Одесса, детские, внутренние и нервные болезни.

403. Вера Ильинишна Сидоркова (р. 1891), дочь Ильи Васильевича Сидоркова, слуги в доме Толстых, в 1921 г. вышедшая замуж за внука Льва Николаевича — Илью Андреевича Толстого (р. 1903) и разведенная с ним в 1923 году.

404. Петр Осипов Зябрев, крестьянин деревни Ясная Поляна, сын Осипа Наумова и Авдотьи Никитишны, кормилицы Л. Н. Толстого. Петр Осипов был хорошо грамотен, много читал и имел небольшую библиотеку. По своим взглядам был скептик. Когда Лев Николаевич написал „Власть тьмы", эта драма была прочтена А. А. Стаховичем некоторым крестьянам Ясной Поляны. Петр Осипов, прослушав ее, сказал: „Дурак Микитка, зачем повинился". Это мнение Петра Осипова очень огорчило Толстого.

405. Александра Николаевна Философова (1878—1897), дочь Николая Алексеевича Философова и Софьи Алексеевны, рожд. Писаревой, сестра жены Ильи Львовича Толстого, умершая от тифа 24 января 1897 г. в Москве.

406. Наталья Леонидовна Оболенская (р. 1881), внучатая племянница Л. Н. Толстого, дочь его племянницы Елизаветы Валерьяновны, рожд. Толстой. С 1905 г. замужем за Хрисанфом Николаевичем Абрикосовым.

407. Наталья Николаевна Колокольцова, дочь Николая Аполлоновича Колокольцова и Марьи Дмитриевны, рожд. Дьяковой, дочери друга молодости Льва Николаевича Дмитрия Алексеевича Дьякова.

408. Цезарь Ломброзо (р. 1836), знаменитый психиатр и криминалист.

409. Ипполит Тэн (1828—1893), известный французский философ и историк литературы. Книга, которую читала Софья Андреевна,—это пять отдельных монографий Тэна по философии искусства („Философия искусства" 1865 г., „Философия искусства в Италии" 1866, „Об идеале в искусстве" 1867, „Философия искусства в Нидерландах" 1868 и „Философия искусства в Греции" 1869), изданные под общим заглавием „Philosophie de l'Art".

410. Кн. Илья Петрович Накашидзе, грузинский писатель, единомышленник и друг Л. Н. Толстого.

411. Сергей Сергеевич Толстой (р. 23/VIII. 1897). Софья Андреевна высказывает сожаление о Сергее Львовиче и его сыне потому, что жена Сергея Львовича жила врозь от него.

412. Африкан Александрович Шпир или Спир (1837—1890), известный русский философ, живший в Германии и писавший свои сочинения на немецком языке. Книга Шпира в издании „Посредника"—„Очерки критической философии", М. 1901, изданная по указанию Л. Н. Толстого.

413. Грузинские—семья кн. Николая Ильича Грузинского, его жены Марии Михайловны, рожденной Катениной, и их детей. Толстые были знакомы с семьями трех сестер Катениных, Софьи Михайловны Мартыновой, Веры Михайловны Даниловской и Марии Михайловны Грузинской. Дети этих семей были ровесниками младших детей С. А.

414. Иван Иванович Дубенский (1854—1917), главный врач Калужской губернской больницы. Его жена, знакомая Толстых, Марья Александровна Цурикова (1854—1924).

415. Николай Дмитриевич Ростовцев (1846?—1922—23?) мелкий воронежский помещик, сосед по имению с В. Г. Чертковым, его друг, земский деятель, старый единомышленник Л. Н. Толстого.

416. Петр Алексеевич Сергеенко (р. 1854), знакомый Толстых с 1892 года, бывавший у них в Москве и в Ясной Поляне. Автор книги „Как живет

и работает гр. Л. Н. Толстой", М. 1898. Впервые собрал письма Толстого к разным лицам в 3 т.т.

417. Альфред Нобель (1833—1896), шведский инженер, изобретатель динамита. Свое огромное состояние (около 29 милл. шведск. крон) Нобель завещал на учреждение премий его имени, ежегодно присуждаемых в сумме около 140.000 крон. 1-я—за важнейшие открытия в области физики, 2-я—за открытия в химии, 3-я—в медицине и физиологии, 4-я—за лучшее художественное произведение в мировой литературе и 5-я—за труды, способствующие всеобщему миру. Первое присуждение премий состоялось в 1901 году.

Софья Андреевна Альфреда Нобеля спутала с Людвигом Эммануиловичем Нобелем, известным нефтепромышленником.

418. Василий Васильевич Верещагин (1812—1904), известный и плодовитый художник-баталист, участник передвижных выставок.

419. Письмо в шведские газеты о Нобелевской премии написано Толстым 29 августа 1897 г. Впервые напечатано в „Свободн. Мысли" 1899 г., № 4.

420. В 1897 году за воззвание о помощи духоборам близкие друзья и единомышленники Толстого—В. Г. Чертков, П. И. Бирюков и И. М. Трегубов были высланы—первый в Англию, второй и третий в Курляндскую губернию, откуда Бирюков вскоре переехал в Швейцарию.

421. Михаил Васильевич Булыгин (р. 1864), единомышленник Толстого, жил в своем имении Хотунка, в 15 верстах от Ясной Поляны.

422. Троице-Сергиева Лавра — знаменитая русская обитель Моск. губ., Дмитровск. у., в 68 верстах от Москвы. См. прим. 1 к I ч. Дневников.

423. Артур Карлович Сен-Джон или Синджон (St. John), англичанин приезжавший в Россию, чтобы передать деньги, пожертвованные английскими квакерами на переселение духоборов в Америку. Ездил на Кавказ к духоборам, где был арестован и выслан из России.

424. „Биржевые Ведомости"—газета финансов, торговли, политики и общественной жизни, издававшаяся в Спб., с 1880 года, издатель С. М. Проппер.

425. Иван Логинович Горемыкин (1839—1920?) в 1895—1899 г.г. был министром внутренних дел, в 1906 г. председателем совета министров.

426. Константин Петрович Победоносцев (1827—1907) в 1880—1905 г.г. был обер-прокурором Синода.

427. В. Г. Чертков, высланный заграницу в 1898 г., основал в Англии издательство „Свободное Слово", где издавал все сочинения Л. Н. Толстого, запрещенные цензурою в России. „Свободным Словом" издавались „Свободная Мысль", журнал и „Листки Свободного Слова", Отделение „Свободной Мысли" находилось в Швейцарии, им руководил П. И. Бирюков.

428. Зиссерман, а не Зюссерман, как пишет Софья Андреевна, — это семья служившего на Кавказе в гражданской службе военного писателя Арнольда Львовича Зиссерман (1824—1897), тульского помещика, соседа Толстых.

429. Сенека—римский философ, живший от 4 по 65 г. до нашего летоисчисления.

430. Кто были Вульф, у которых остановилась Татьяна Львовна, установить не удалось.

431. Алексей Львович Толстой, один из младших сыновей Толстых, родившийся 31/X 1881 г. в Москве, в доме кн. Волконского в Денежном пер. и умерший 18/I 1886 г. в Москве, в д. Толстых в Хамовническом пер. Похоронен на кладбище при с. Никольском, близ Покровского-Стрешнева.

432. Александр Александрович Берс (1883—1907), племянник Софьи Андреевны, сын Александра Андреевича Берс, поручик Преображенского полка, застрелившийся в 1907 году.

433. Семья Веры Михайловны Данилевской, рожд. Катениной, состояла из трех сыновей и одной дочери.

434. Александр Антонович Курсинский, поэт. Его сборники стихов: „Полутени", М. 1896 и „Сквозь призму души", М. 1904. В 1895 году был учителем Михаила Львовича Толстого.

435. Кн. Николай Мануилович Голицын (р. 1879), сын полковника кн. Мануила Васильевича Голицына и его второй жены Екатерины Николаевны Гордеевой, товарищ Михаила Львовича Толстого по Катковскому лицею.

436. Павел Константинович Бутенев, сын Константина Аполлоновича Бутенева—гр. Хребтовича, владельца майората в Западном крае, и гр. Барановой, товарищ Михаила Львовича Толстого.

437. Николай Иванович Пирогов (1810—1881), знаменитый врач и педагог, профессор Дерптского университета и профессор медико-хирургической Академии в Петербурге. Памятник Пирогову воздвигнут в 1897 году на Девичьем поле в Москве, на Царицынской, ныне Клинической улице, у клиник Первого Московского Университета, работы Шервуда.

438. Первое письмо Л. Н. Толстого Николаю II об отнятых у молокан детях написано им 10/V 1897 года. Второе—от 19/IX 1897 г. Письмо это дошло до царя и его результатом явилось распоряжение о возвращении молоканам их детей. См. эти письма в книге „Лев Толстой и русские цари. Письма Л. Н. Толстого 1862—1905", под ред. В. Г. Черткова, М. 1918.

439. Где было напечатано письмо Толстого о денежной помощи духоборам, разыскать не удалось.

440. Сын Павла Александровича Буланже—Николай (р. 1888).

441. Письмо Толстого в „Русские Ведомости" было написано (6/X 1897 г.) по поводу отобранных у самарских молокан детей. Редакция „Русск. Ведом." его не напечатала.

442. Вероятно, кн. Александр Алексеевич Черкасский (р. 1873), сын кн. Алексея Михайловича Черкасского и Натальи Евгеньевны Вонлярлярской, поручик Преображенского полка.

443. Евгений Станиславович Томашевич, учитель Тульской классической гимназии, знакомый Толстых, бывавший у них в Ясной Поляне.

444. Анатолий Федорович Кони (1844—1927), прокурор петербургского Окружного Суда, тайный советник, сенатор уголовного кассационного департамента Сената, писатель, академик, знакомый и друг Л. Н. Толстого с 1887 г., давший ему сюжет для „Воскресения". Находился в переписке с Львом Николаевичем, который часто обращался к нему с просьбами ходатайствовать по делам осужденных его единомышленников.

445. Юноша Попов, вероятно, Иван Иванович Попов, брат единомышленника Толстого Евгения Ивановича Попова.

446. Стефан Малларме (1842—1898), известный французский поэт, создатель символистского движения.

447. Франсис-Вьеле Гриффен (р. 1864), известный французский поэт-символист.

448. Эмиль Верхарн (Verhaeren) (1855—1916), знаменитый бельгийский поэт конца XIX и начала XX века, один из представителей символизма.

449. Жан Мореас (1856 — 1910), известный французский поэт, бывший вместе с Верленом и Малларме основоположником французского символизма.

О Малларме, Гриффене, Верхарне и Мореасе Толстой говорит в X главе своей книги „Что такое искусство".

450. Михаил Осипович Меньшиков (1859—1919), известный публицист, главный сотрудник журнала „Недели", а после его прекращения „Нового Времени". Знакомый Л. Н. Толстого, одно время близкий к нему по взглядам. Находился в переписке с Львом Николаевичем. Письма Толстого к Меньшикову печатаются в толстовском сборнике Пушкинского Дома Академии Наук СССР.

Статья Меньшикова о „Половой любви"—это часть его большой статьи „Элементы романа", напечатанной в „Книжках Недели" 1897 г., №№ 6—12. „О половой любви" напечатано в № 9, „О суевериях и правде любви" в № 10, „О любви святой" в № 11. Отд. изд. „О любви", Спб. 1899.

451. „С.-Петербургские Ведомости" — ежедневная газета, издававшаяся с 1728—1875 г.г. Академией Наук, а затем с 1875—1918 г.г. министерством народного просвещения.

Письмо Толстого об отнятии детей у самарских молокан написано им 6/X 1897 г. Напечатано в „Спб. Ведом." 1897 г., № 282 от 15/X.

452. Кн. Эспер Эсперович Ухтомский (1861—1921), публицист и поэт, с 1896 года редактор-арендатор „С.-Петербургских Ведомостей".

453. Софья Николаевна Кашкина, дочь Николая Дмитриевича Кашкина (р. 1839), музыкального педагога и писателя, бывшего учителя музыки Сергея Львовича Толстого.

454. Василий Ильич Сафонов (1852—1918), известный пианист и дирижер, профессор, а с 1889 г. директор Московской Консерватории. В 1-м симфоническом концерте консерватории 18 октября 1897 г., в котором была Софья Андреевна, солистом выступал знаменитый скрипач Бронислав Губерман.

455. Иван Иванович Раевский (р. 1871), сын друга Толстого Ив. Ив. Раевского, женившийся на Анне Дмитриевне Философовой (1877—1919).

456. „Два тома из жизни Бетховена", которые дал читать С. И. Танеев Софье Андреевне, это Nohl'я „Beethovens Leben" B. и Лейпц.-1864—77, русский перевод „Бетховен, его жизнь и творения" 1892, 3 т.т.

457. Наталья Николаевна Ден, рожд. Философова, дочь Николая Алексеевича Философова и Софьи Алексеевны, рожд. Писаревой, сестра жены Ильи Львовича Толстого. Замужем за Владимиром Эдуардовичем Ден, профессором политической экономии Политехнического института в Петербурге.

458. Чью биографию Мендельсона, читала Софья Андреевна, установить трудно

459. Федор Никифорович Плевако (1843—1908), известный московский адвокат.

460. Константин Николаевич Игумнов (р. 1873), известный пианист, профессор Московской Консерватории, знакомый Толстых. Бывал у них в Москве и в Ясной Поляне.

461. Брат Льва Николаевича, Сергей Николаевич Толстой, был женат с 1867 г. на цыганке Марье Михайловне Шишкиной, с которой жил 18 лет до венчания.

462. Александр Петрович Иванов (1836—1912), отставной артиллерийский поручик, переписчик Толстого, живший в Ясной Поляне с 1878 года. См. о нем прим. к I ч. Дневников.

463. Риттер, немецкий профессор музыки.

464. Кто был М., которого любила Вера Кузминская, установить не удалось.

465. Елизавета Сергеевна Боратынская, рожд. Сухотина (1851—1902), дочь Сергея Михайловича Сухотина и Марьи Алексеевны, рожд. Дьяковой, бывшая замужем во втором браке за Львом Андреевичем Боратынским (1848—1907).

466. Антон Павлович Чехов (1860—1904), известный писатель.

467. Степан Андреевич Берс (1855—1909), статский советник, судебный следователь, брат Софьи Андреевны. Женат первым браком на Марье Петровне Романовой, вторым—на Варваре Евгеньевне Голумбиевской, быв. в первом браке за Поздняковым. Написал „Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом", в 1866—1878 г.г., Смоленск, 1894.

468. Запись С. А. Толстой „Смерть Ванички" взята из обширных ее записок „Моя жизнь", в 7 книгах, писавшихся ею с 1906 года и хранящихся в архиве Софьи Андреевны в Ясной Поляне.

Как отнесся Л. Н. к смерти своего последнего ребенка, видно из его дневника.

„12 марта 1895 г. Москва. Смерть Вани было для меня как смерть Николиньки, нет, в гораздо большей степени, проявление бога, привлечение к нему. И потому не только не могу сказать, чтобы это было грустное, тяжелое событие, но прямо говорю, что это не радостное, это дурное слово, но милосердное от бога, распутывающее ложь жизни, приближающее к нему событие.—Соня не может так смотреть на это. Ей больно. Для нее боль почти физическая—разрыва—скрывает духовную важность события. Но она поразила меня. Боль разрыва сразу освободила ее от всего того, что затемняло ее душу. Как будто раздвинулись двери и обнажилась та божественная сущность любви, которая составляет нашу душу... Она поражала меня первые дни своей удивительной любовностью: все, что только чем-нибудь нарушало любовь, что было осуждением кого-нибудь, чего-нибудь, даже недоброжелательностью,—все это оскорбляло, заставляло страдать ее, заставляло болезненно сжиматься обнажившийся росток любви.—Но время проходит, и росток этот закрывается опять, и страдание ее перестает находить удовлетворение—vent (отдушины)

в всеобщей любви, и становится неразрешимо мучительно. Она страдает в особенности потому, что предмет любви ее ушел от нее, и ей кажется, что благо ее было в этом предмете, а не в самой любви. Она не может отделять одно от другого; не может религиозно посмотреть на жизнь вообще и на свою". (Дневник Л. Н. Толстого, рукопись).

Отвечая на сочувственное письмо А. А. Толстой, Л. Н. писал ей следующее:

„Горе, постигшее нас, гораздо больше, чем можно себе представить. Как ни беспредельна была наша любовь к Ваничке, но мы сами не сознавали, какое огромное место занял в жизни всей нашей семьи этот семилетний нежный, любящий мальчик"...

„Горе ее (т. е. Софьи Андреевны) огромно. Она от всего, что было для нее тяжелого, неразъясненного, смутно тревожащего ее в жизни, спасалась в этой любви, любви страстной и взаимной к действительно особенно духовно любовно одаренному мальчику. (Он был один из тех детей, которых бог посылает преждевременно в мир, еще не готовый для них, один из передовых, как ласточки, прилетающие слишком рано и замерзающие). И вдруг он взят был у нее, и в жизни мирской, несмотря на ее материнство, у нее как будто ничего не осталось. И она невольно приведена к необходимости подняться в другой духовный мир, в котором она не жила до сих пор. И удивительно, как ее материнство сохранило ее чистой и способной к восприятию духовных истин. Она поражает меня своей духовной чистотой — смирением, особенно. Она еще ищет, но так искренне, всем сердцем, что я уверен, что найдет". (Письмо Л. Н. Толстого к А. А. Толстой от 31 марта 1895 г.).

Многие посетители дома Толстых отзывались о Ваничке, как о необыкновенно привлекательном ребенке. Так, например, В. Микулич в „Тенях прошлого" не раз тепло отзывается о нем. Описывая свое посещение Ясной Поляны в октябре 1893 г., он пишет: „Ваничка был очарователен в своем тулупике, шапочке и рукавицах. Он был очень похож на Марью Львовну и лицом и взглядом. Такой же хрупкий, чистый, нежный, добренький и точно готовый развернуть крылья, чтобы уйти из грешного мира".

469. Семен Николаевич Румянцев, повар Толстых, проживший у них 25 лет.

470. Рассказ Чарльза Диккенса „Большие ожидания", переделанный для детей, который читала Марья Львовна Саше и Ваничке, это „Дочь каторжника или из кузницы в богатство. Роман в трех частях", М. 1895 г. № 185, Изд. „Посредника", составленный по Диккенсу Верой Сергеевной Толстой, племянницей Льва Николаевича, дочерью Сергея Николаевича Толстого.

471. О Н. Н. Страхове, см. прим. 122 и 72 к I ч. Дневников. Его письмо Л. Н. Толстому о смерти Ванички не опубликовано.

472. Александр Васильевич Жиркевич (р. 1867), военный юрист, поэт, беллетрист и археолог. Знакомый Л. Н. Толстого с 1887 года, находившийся с ним в переписке.

473. Ольга Андреевна Голохвастова, рожд. гр. Ростопчина, жена Павла Дмитриевича Голохвастова. См. прим. 305 к I ч. Дневников. Знакомая Толстых, бывавшая у них в Москве и в Ясной Поляне.

474. Анна Григорьевна Достоевская, рожд. Сниткина (1846—1918), с 1867 г. жена знаменитого писателя Федора Михайловича Достоевского (1821—1881).

475. Александра Николаевна Пешкова-Толиверова с 1894 г. издательница-редактор детского иллюстрированного журнала для младшего возраста „Игрушечка", издававшегося в Спб. с 1884 года. В 1889—1900 г.г. издавала и редактировала ежемесячный литературный журнал „Женское Дело", Спб. Рассказ Ванички, о котором говорит Софья Андреевна, „Спасенный такс. Рассказ Вани" напечатан в особом отделе журнала „Игрушечка" „Для малюток", № 3, 1895 г., стр. 39—43.

476. Анна Алексеевна Чичерина, урожд. гр. Капнист (р. 1845), жена Бориса Николаевича Чичерина, известного философа (о нем прим. 309), знакомая Толстых.

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

Предисловие М. А. Цявловского . . . . . V—VI

Дневник 1891 — 1897 г.г. . . . . 1—198

Моя поездка в Петербург 27

Мой роман с Львом Николаевичем, написанный февраля 8-го 1893 г. 83

Смерть Ванички 199

Примечания 207

Бруханский, Н.—Судебная психиатрия. Пред. Проф. П. Б. Ганнушкина. Книга премирована ЦЕКУБУ. 6 р. 75 к.
Переплет 75 к.

Гуревич, М. О., проф.—Психопатология детского возраста. 2 р. 85 к.

Зиновьев, П. М.—Душевные болезни в картинах и образах. Психозы, их сущность и формы проявления. Под редакц. и с предисловием проф. П. Б. Ганнушкина. 2 р. 50 к.

Игнатьев, В. Е., проф.—Исследование физического развития человека дошкольного, школьного и призывного возрастов. 2-е дополненное издание для врачей, студентов и руководителей физического воспитания. 2 р.

Кончаловский, М. П., проф.—Грипп, его клиническая картина, диагноз, лечение и профилактика. 35 к.

Кузьмин, С. С.—Руководство по уходу за оперированными больными. Под ред. проф. Э. Р. Гессе. 4 р.
Переплет 35 к.

Лейтман, Я. С.—Туберкулез бронхиальных желез и клиническое их исследование. К ранней диагностике туберкулеза у детей. С предисловием проф. Г. Н. Сперанского. 75 к.

Марфан, А. Б., проф. — Рахит. Перевод Ф. О. Маневич, под редакц. проф. А. А. Киселя. 55 к.

Молчанов, В. И., проф.— Расстройства роста и развития у детей. 1 р. 25 к.

Палладин, А. В., проф.—Основы питания. Физиологические очерки. С рисунками и таблицами. 2 р. 25 к.

Петрова, А. Е.—Психологическая классификация личностей. Элементарная методика психологического исследования. Для психологов, психиатров, криминологов и педагогов. С предисловием проф. П. Б. Ганнушкина. 3 р. 50 к.

Стевенен, А.—Коклюш. Перевод с франц., под ред. и с пред. проф. А. А. Киселя. 1 р. 10 к.

Цапперт, И., проф.—Сифилис у детей (врожденный и приобретенный). Перев. с немецкого Н. М. Фришмана, под редакцией, с предисловием и примечаниями проф. А. А. Киселя. 1 р. 50 к.

Шидловская, Л.,—Очерки по уходу за душевно-больными. На основании личного опыта работы в психиатрических учреждениях. Под редакцией Ю. А. Флоренской, с предисловием проф. П. Б. Ганнушкина. 1 р. 60 к.

Юдин, Т. И., проф.—Евгеника. Учение об улучшении природных свойств человека. Конституциональная гигиена и профилактика. 2 переработанное и дополненное издание. 3 р.

Юдин, Т. И., проф.—Психопатические конституции. Выделение типов характера (типов сложных психических реакций) на основании наследственно-биологического и клинического анализа психозов. 2 р.

БАХРУШИН, С. В., проф.

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ КОЛОНИЗАЦИИ СИБИРИ в XVI и XVII вв.

С приложением историческ. карты Сибири

Цена 3 р.

БОРОВОЙ, С. Я.

ЕВРЕЙСКАЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ В СТАРОЙ РОССИИ

Цена 2 р.

ДОЛГОРУКИЙ, Ив.

ИЗБОРНИК 1764 — 1823 гг.

Стихотворения. Журнал путешествия из Москвы в Нижний в 1813 г.

Цена 1 р.

ЖДАНОВ, В.

ЛЮБОВЬ В ЖИЗНИ ЛЬВА ТОЛСТОГО

Книга II. Семейный разлад

Цена 3 р.

ЗИГФРИД, АНДРЭ

АНГЛИЯ НАШИХ ДНЕЙ

Перевод с французского

Цена 2 р. 50 к.

Склад у издателей М. и С. САБАШНИКОВЫХ

МОСКВА, Никитский бульв., д. № 8, кв. № 7.

Цена 3 руб.